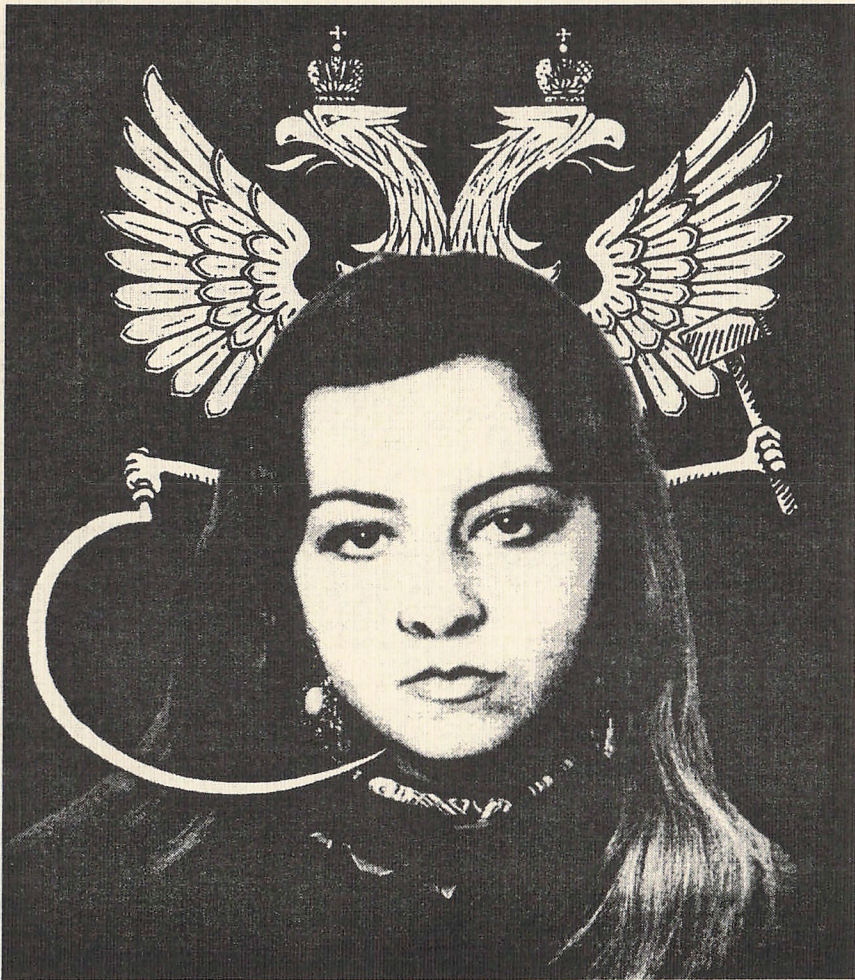


ОСТРОВ

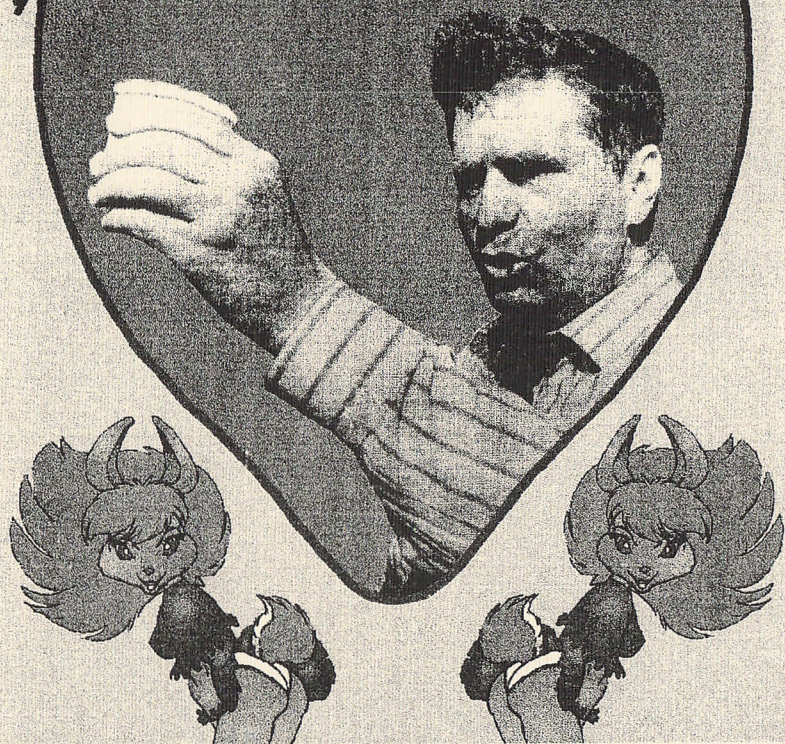
Литературно-художественный альманах
№4



Берлин 1995

ВЫБОРЫ 95-96

*Щит я любви,
но не любви щит я*



**ВЛАДИМИРА ВОЛЬФОВИЧА -
В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ !**

Остров 4

**Независимый
публицистический
и литературно-
художественный
альманах**

Выходит с июня 1994 года

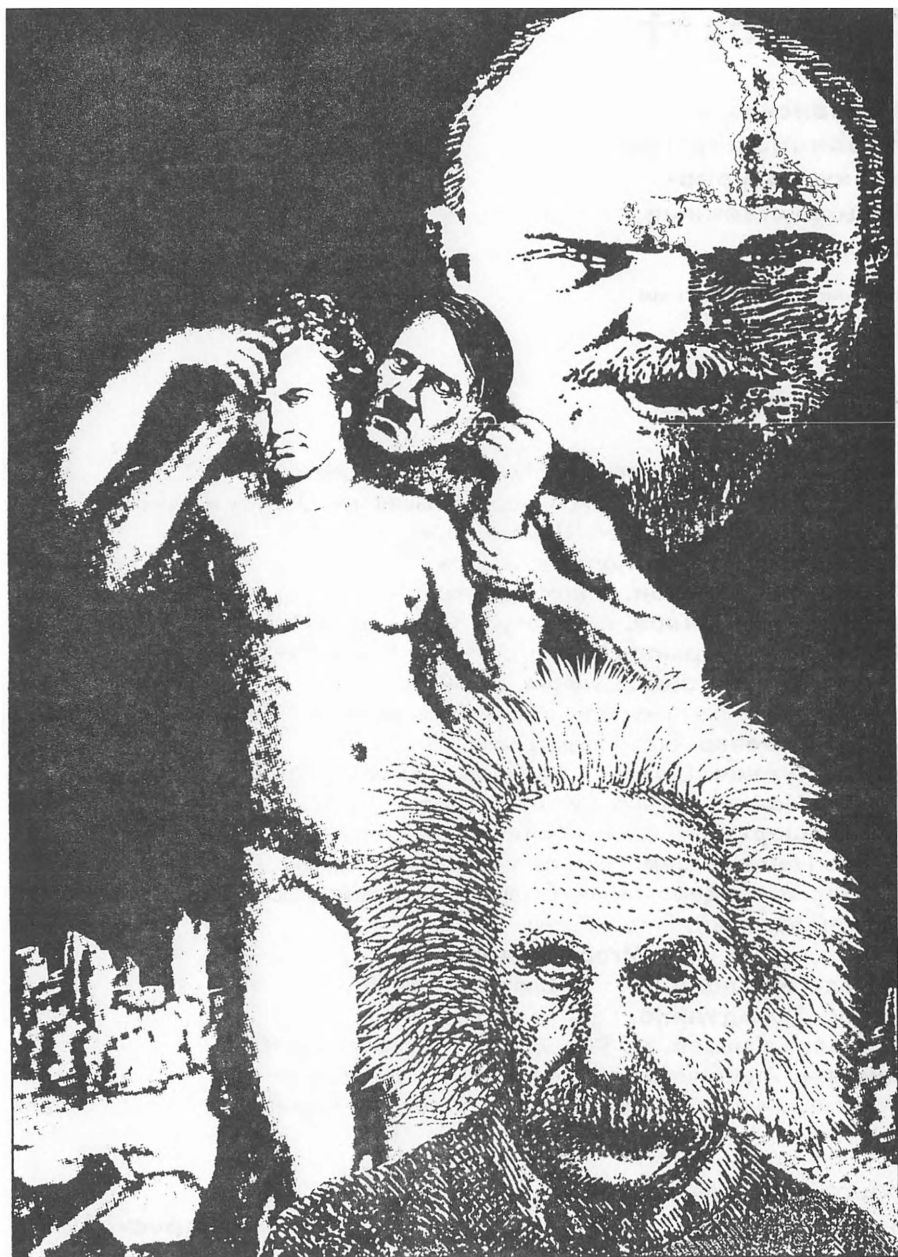


Содержание

Людмила Петрушевская. Мужская зона. <i>Кабаре</i>	3
Василий А. Димов. Записки наотдыхавшегося. <i>Отрывок из романа</i>	13
Михаил Сухотин. Гибель Помпеи. <i>Стихи</i>	63
Алексей Милюков. Портнов. <i>Повесть</i>	67
Владимир Салимон. Стихотворения.	124
Анатолий Гаврилов. К приезду Н. Скользко. В Италии. <i>Рассказы</i>	128
Александр Шарыпов. Ворота. Бревна. В раю <i>Рассказы</i>	132
Ольга Завадовская. Сумерки <i>Стихи</i>	140
Лев Таран. Алик плюс Алена. <i>Отрывок из романа</i>	145
Юлия Михеева. Быть никем <i>Стихи</i>	160
Юрий Кудлач. Саксофон. Магический квадрат. <i>Рассказы</i>	164
Таисия Чайко. Доллар Дуська <i>Рассказы</i>	172
Яна Лешерт. Гимн бытию <i>Стихи</i>	185
Игорь Генгенредер. Грозная птица галка. <i>Новелла.</i>	187
Виктор Шнейдер. Письмо Онегина в деревню. <i>Ироническая поэзия.</i>	216
Сергей Юрский. Ритмы <i>Рассказы</i>	224
Вернисаж «Острова»: Игорь Мухин.	
Вильям Мейланд. «Вот и молот, вот и серп...»	234
Белла Ахмадулина. Речь на церемонии..	243
Вячеслав Сысоев. К 78-й годовщине Великого Октября.	253
Аноним. Анатомия лжи. <i>Журналистское расследование</i>	259
Радиовещание на русском языке в центральной Европе	274

ISBN 3-931639-00-2
Buchhandlung «RADUGA»

© «Остров», 1995



ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ

МУЖСКАЯ ЗОНА

Кабаре

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Надсмотрщик

Ленин

Гитлер

Бетховен

Эйнштейн

ДЕЙСТВИЕ ПРОИСХОДИТ В АНТИЧНОМ ТЕАТРЕ.

Надсмотрщик (*сидит за столиком как режиссер*). Так. Как всем, нам тут уже известно, пьесы Шекспира написала одна графиня, кличка „Голубка“. Ну, и Бог с ней. Играем наш мужской вариант. Начинаем. Где у меня Ромео, где Джульетта.

Гитлер. Я... Джульетта.

Надсмотрщик. Был же Бетховен.

Гитлер. Он же не слышит ни кляпа. Глухой.

Надсмотрщик. Бетховен!

Ленин толкает Бетховена.

Бетховен. Я! (*вдевает слуховой аппарат*).

Надсмотрщик. Ты Джульетта.

Бетховен. Я лес. Нет, я луна.

Надсмотрщик. А кто Гитлера назначил?

Гитлер. Вы сами вчера.

Надсмотрщик. (*читает список*). Ничего подобного.

Ленин. Было, было.

Надсмотрщик. Я пока не с ума соскочил. Гитлер не может быть Джульеттой.

Гитлер (*складывая ручки, женским голосом*). Могу! Ромео! Поди суда!

Надсмотрщик. Ромео... Ромео у нас Эйнштейн. А ты, Гитлер... Ты будешь у нас кормилицей. Так. Джульетта Бетховен. Так. Репетируем с цифры пять, Джульетта с кормилицей.

Бетховен (*беспокойно*). Что он сказал?

Ленин. Джульетта с кормилицей.

Бетховен. А роль?

Ленин. А ты не выучил?

Бетховен. Ась?

Ленин. Глухой, что ли? Как глухой оборотень сидит.

Надсмотрщик. С пятой цифры.

Бетховен. А.

Гитлер. Что-то я, Джульетта, беспокоюсь.

Бетховен. А что.

Гитлер. Мне не нравится твое состояние.

Бетховен. А что.

Гитлер. Я сдаю в стирку твои простыни...

Бетховен. И что.

Гитлер. И уже два месяца они чистые.

Бетховен. Ну, и что.

Гитлер. Я не поверю ни за что, что ты стала такая аккуратная девица.

Бетховен (*беспокойно*). И что дальше?

Гитлер. Раньше одну неделю в месяц я меняла тебе простыни каждый день.

Бетховен. А в чем дело?

Гитлер. Я знаю тебя, ты сильная по своей натуре, у тебя приходят обильные месячные, ты вся заливаешься по ночам...

Бетховен. И что теперь?

Гитлер. А теперь уже два месяца все чисто.

Бетховен. И что из этого?

Гитлер. Надо выйти замуж как можно скорее, сегодня или завтра.

Бетховен. Зачем?

Гитлер. Семимесячные, видишь ли, рождаются крепкие, но уже шестимесячные... шестимесячные выживают плохо, это может вызвать ажиотаж, если шестимесячный родится четыре кило весом. Надо выйти замуж сегодня.

Бетховен (*искренне*). Почему это?

Гитлер. Тогда хотя бы твой ребенок родится через семь месяцев.

Бетховен. Кто сказал?

Гитлер. Господи, она совершенно невинна! Ничего не понимает, что с ней.

Бетховен (*угрюмо*). Что бормочет, не знает. (*Трясет слуховой аппарат*).

Гитлер. Так. Сегодня бал, сегодня приведешь прямо сюда отца этого ребенка.

Бетховен. Я слушаю, алё. Я не могу отца ребенка привести сюда, алё.

Гитлер. Могла с ним переспать, теперь выйди за него.

Бетховен. Нет.

Гитлер. Ну, не упрямясь.

Бетховен. Я не могу, алё.

Гитлер. Ну, почему?

Бетховен. Нас никто не обвенчает.

Гитлер. Я договорюсь с братом Лоренцо, по-моему, я с ним спала.

Бетховен. Нет! Нет, алё.

Гитлер. А в чем дело, алё?

Бетховен. Так. *(Смотрит в сторону, бьет носком об пол. Стесняется.)*

Гитлер. А кто он? Кто отец?

Бетховен. А?

Гитлер. Алё!

Бетховен. Отца не выдам, алё.

Гитлер. Повторите, плохо слышно. Перезвоните.

Бетховен. Как слышите, прием. Я Ромашка!

Гитлер. Ромашка, вас слышу хорошо. Диктую по буквам, к-т-о о-т-е-ц! Ольга Тимур Еремей Цецилия кто?

Бетховен. Отец?

Гитлер. Константин Тимур Огульберды! К т о!

Бетховен. В.И.Ленин. Вася Ира Ленин.

Ленин. Нет.

Гитлер. Так... Я же с тебя глаз не спускала с тех пор, как ты начала путаться с братом... Это что, от него?

Ленин. Если он про вчерашнее, то я просто потрепал его по руке.

Гитлер. Это будет у тебя племянник от брата?

Бетховен. Нет. *(Пинает носком пол. Стесняется.)*

Гитлер. А кто?

Бетховен. Я ничего и никогда тебе про отца не скажу. Запомни. Ничего про отца, про папу ни слова.

Гитлер *(ахает)*. Ах, он сволочь! Мало, что он спит со своими сыновьями, теперь и на дочь перешел! Так... Ничего себе: ты родишь от отца, тебе это будет брат, а ему внук, и сам себе этот ребенок будет дядя! Сам себе дядя.

Ленин. Но не от меня дядя.

Надсмотрщик *(просыпаясь)*. Пятая цифра!

Бетховен. Оставь меня, кормилица, ты дура.

Гитлер. Меня несчастной сделал, а жену// толкает вообще на пакости какие...// Ах, мы пропащие, алё, а вообще // какой хороший человек твой папа, // когда он вне семьи или, алё, // когда он спит зубами к стенке.

Бетховен. Я папку люблю.

Гитлер *(горячо)*. Его все любят, окромя Монтекки. / Слу-

шай, а за кого тебе выйти-то? Все кругом ходят обрученные с семи лет! А твой жених — такая гадость!

Бетховен. Фу. Потный, жирный, от него пахнет рыбой. Засыпает сразу, и храпеть, храпеть!

Гитлер. А я и не подумала. Придется тебе за него выходить. Он у тебя часто бывает? Каждый день как на дежурство. Но я его не хочу.

Гитлер. Уж придется. Может быть, это его ребенок.

Бетховен. Нет, я что, дуручка! Я ему не разрешаю. Обходится сам. Противный!..

Гитлер. Ну, мало ли... Припишешь... Он не понимает, небось.

Бетховен. Я его больше не хочу, слышишь? Найди мне кого-нибудь.

Гитлер. Ну, все, вот звуки музыки, начинается бал. Переоденься во все белое, я тебе сейчас кого-нибудь приведу.

Надсмотрщик (*просыпаясь*). Так. Где у нас Луна? Ленин, ты Луна?

Ленин. Я — Луна. (*Сворачивает рот на сторону.*)

Надсмотрщик (*зевая*). Кто у нас Ромео? Эйнштейн!

Эйнштейн. Я. (*Вытаскивает скрипку.*)

Надсмотрщик. А вот этого не надо. Ты что, начнешь играть на скрипке, вас с Джульеттой сразу застукают. Танцуй пока на балу с кормилицей. Гитлер! Танцуешь с Эйнштейном. Ромео танцует с кормилицей. Джульетта вся в белом!

Гитлер и Кормилица танцуют, Бетховен тем временем переодевается во все белое, т.е. остается в кальсонах и майке. Эйнштейн с Гитлером танцуют „Кумпарситу“ с резкими поворотами головы. Гитлер прячет скрипку за кулисами.

Гитлер (*прижимая Эйнштейна*). Такой молоденький! Первоходка, небось?

Эйнштейн (*хрипло*). Ты ошибаешься, тетка! Мне далеко уже не четырнадцать!

Гитлер. Пойдем ко мне?

Эйнштейн. А если меня с тобой увидят?

Гитлер. Ну, и увидят, алё. А я тебя зато познакомлю с Джульеттой.

Идут к Бетховену.

Бетховен. Ох! (*Стоит в подиштанниках, дрожа.*)

Гитлер. Джульетта, ты так хотела познакомиться с Ромео!

Бетховен. Ох.

Эйнштейн. Это... Джульетта?

Гитлер. А кто же еще?

Эйнштейн. Я ее себе представлял не такой.

Гитлер. Что, оказалась много лучше?

Эйнштейн. Ой, я скрипку позабыл. Щас вернусь. (*Поворачивается уходить.*)

Гитлер. Ты, еврейская морда! Стой здесь. Скрипка вам двоим ни к чему сейчас.

Эйнштейн. Я больше ни секунды здесь не останусь, меня давно звали в Америку!

Гитлер. А в Освенцим не хо? А по ха не хо?

Эйнштейн. Ты дикая, некультурная женщина, я не желаю иметь с вами ничего общего, ты настоящий Гитлер в юбке!

Гитлер. Я ща приду. (*Выходит, крадучись.*)

Джульетта. Вы что, играете на скрипке?

Эйнштейн. Да, с семи лет. Я еще не умел говорить, думали, что идиот, и решили хотя бы научить меня играть на скрипке, мало ли, можно на улице заработать... Что еще возьмешь с идиота.

Бетховен (*загораясь*). А меня, знаешь, учил играть... знаешь такого Сальери? Композитора такого?

Эйнштейн (*осторожно*). В седьмом бараке?

Бетховен (*туманно*). Нет, он не здесь.

Эйнштейн. Это та история с Моцартом?

Бетховен. Там много клеветы. У Моцарта всегда было плохо со стулом.

Эйнштейн. Принесу скрипку, сыграем?

Бетховен. У меня есть скрипичный концерт, ля-ля-ля. (*Поет.*)

Эйнштейн. Скрипку Гитлер у меня спрятал, олух.
Бетховен. А меня он любит. Гитлер любил Бетховена.
Эйнштейн. И Ленин тебя любит, соната Аппассионата.

Ленин отрицательно трясет головой, потом спохватывается и снова кривится.

Бетховен. Меня многие любят.

Эйнштейн. Пока этот (*в сторону Надсмотрщика*) спит, я скажу: меня тут никто не может оценить, а зарабатывать я скрипкой, начну играть, они сразу суют мне кубок с амброзией и просят: здесь больше не играй. А в остальном — ну, кто здесь знает, кто я и что такое е равно мц квадрат!

Бетховен. А че это?

Эйнштейн. Долго объяснять.

Ленин (*внезапно*). Да, здесь, в этих условиях, никто не обращает внимания. Как в эмиграции. Идешь — никто не узнает, даже в твою сторону не глядят. А дома, в России, приходилось натягивать парик, брить все лицо, так на меня кидались. Из-за этого мы и совершили переворот, чтобы все узнавали, кидались, но при этом не ссылали опять в Шушенское. Там тоже всем все равно, Ленин, Ульянов, фигляюнов... Ходят крестьяне, они не въезжают, кто я.

Надсмотрщик (*просыпаясь*). Луна! Едрит твою в ноздрю.

Ленин. Я — Луна (бессмысленно кривится).

Входит Гитлер.

Бетховен (*Гитлеру*). А ты вообще что сюда затесался, блин! Мы еще не кончили.

Надсмотрщик. С пятой цифры! Луна плывет по небесам!

Ленин, кривясь, загребает саженками.

Бетховен. Ромео, ты как мороженный окунь, глаза с поволокой, а сам фригидный такой.

Гитлер (*Эйнштейну*). Надо, Алик, надо.

Бетховен. Ну, его. Няня! Нам вдвоем лучше. Открой окно да ляг ко мне.

Эйнштейн (с постели). Такая себе невеста, подштанники несвежие.

Гитлер. Ты думаешь только о том, Джульетта, с кем бы переспать, а о деле забыла. Я могу, конечно, я всегда мою доцу люблю, но замуж я тебя не возьму, ребенка на себя не запишу. Тут мужчина нужен.

Бетховен. С ним не спится, няня, здесь так душно. Какой-то неказистый мужчина, а я ведь четырнадцатилетняя и в белом.

Ромео (вставая с постели). Мне пора, луна вроде заходит.

Ленин делает попытку зайти, т.е. опускается, крутя туловищем как в твисте.

Надсмотрщик (просыпаясь). Еще не зашла!

Ленин подымается, улыбается, рот на сторону, делает пасы руками.

Бетховен. Держите руки при себе, нахал!

Надсмотрщик. Ну, не ожидал я от вас такой халтуры. Как будем вечность проводить? Бездарно будем проводить?

Эйнштейн. Потому что играют одни мужчины.

Надсмотрщик. Да ну... в женской зоне Ромео тоже играет какая-нибудь... Голда Меир.

Гитлер. Бабы бездарный состав. И жиды. И инвалиды.

Эйнштейн хочет уехать в Америку.

Бетховен (Эйнштейну). Я сам, Алик. (Гитлеру.) Я инвалид второй группы со слуховым аппаратом, ща, блин, кровянкой умоешься!

Надсмотрщик. Гитлер сейчас пойдет на общак, если так будет играть.

Эйнштейн. Что такой общак, не пойму юмора.

Надсмотрщик. Он у нас вообще кипит в котле, берем его играть как первоклассного актера.

Гитлер. Не верю!

Джульетта, доца, чем тебе не муж
Сей отпрыск рода знатного Ромео?
Признайся, согласишься, что будет лучше уж.

Бетховен. Я боюсь ужей.

Ленин. Уж полночь близится,
а все луна проходит
Свой вечный путь,
как смена караула
у мавзолея Ленина меня.

Надсмотрщик. Луна заходит. Утро.

Ленин уходит как часовой, печатая шаг под звон курантов.

Бетховен. Ромео, никогда мне не было так хорошо ни с родителями, ни с братом, ни с папой.

Эйнштейн (*смущен*). Чего там! Моя мамочка тоже мной довольна, недавно родила мне сестренку с двумя рожками и хвостом. Папа ее хорошенечко заспиртовал, на Новый год будет настойка.

Надсмотрщик. Ленин, так луна не заходит!

Ленин, семеня, танцует танец маленьких лебедей.

Гитлер. Сейчас сыграем свадьбу, у Джульетты родится дочь с рогами!

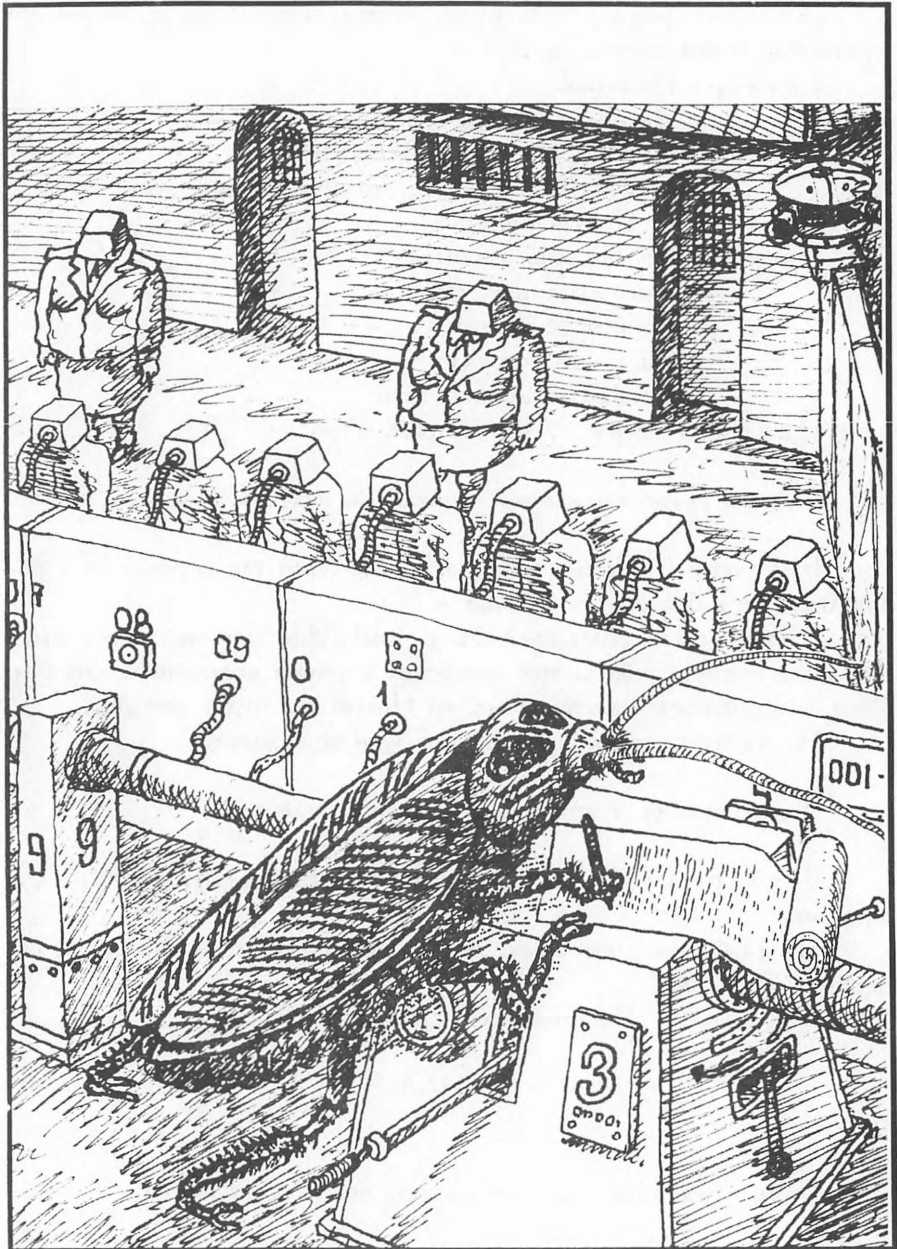
Надсмотрщик. Так, Ленин, Гитлер обратно на общак, остальные свободны!

Бетховен. Кипяток только рака красит!

ФИНАЛ.

Примечание. Без согласия автора пьесу не ставить.





ВАСИЛИЙ ДИМОВ

Записки наотдыхавшегося

Глава из романа «Аллюзии святого Поссекеля»

Я — трус. И этим горжусь.

Да, человек человеку брат...
Если человек человеку человек.

«Arbeit macht frei.»

Принципиальность — это когда тебя
ведут на виселицу и ты убеждаешься в тор-
жестве справедливости.

Совпадение дня Вашей смерти с днем
Ваших похорон говорит о повышенном вни-
мании к Вашей персоне.

Колючая проволока никогда не отде-
ляет человека от мира. Напротив, она на-
крепко привязывает их друг к другу.

Хочу смотреть во все глаза,
Закрыв свои от сглаза зла.

23 ИЮНЯ.

Я никогда не задумывался над тем, сколько у таракана ног. И как правильно их называть — ногами или лапами? Какую форму они имеют? Есть ли у них, например, пальцы? Насколько устойчиво они чувствуют себя в движении? Как быстро устают? С какой максимальной скоростью могут передвигаться? Все эти детальные зоологические вопросы поочередно возникали в моем отдохнувшем до сих пор мозгу в то время, когда невидимые тараканьи ноги сантиметр за сантиметром измеряли расстояние между зеленой, в траурную полоску, тумбочкой, где лежал оставшийся от обеда кусок хлеба, и скрипевшей под моим скомканным телом ржавой кровати. Я подложил под голову кулак, чтобы взять под свой зрительный контроль весь выскобленный пол. Всю территорию, на которую мог посягнуть пришелец. От скрежета деформированной железной сетки таракан резко остановился. Испуганно жестикулируя прогнувшимися золотистыми усами. Просчитывая вероятность скрытой угрозы. Но на несколько робких тараканьих шагов тараканьей смелости еще хватало. Расстояние между нами осторожно сокращалось. Понимал ли он, что я за ним внимательно наблюдаю? Чувствовал ли, что в эту минуту у меня появляется к нему дополнительный интерес? Что направляло его в мою сторону? Может быть, всего лишь случайное совпадение направлений? А может, насытился сыровато-подгоревшим хлебом и хотел удовлетворенно прогуляться? Или появилась необходимость хоть в каком-нибудь общении? Ведь рано или поздно возникает нестерпимая потребность в себе подобном. Вот и приходится отправляться на рискованный поиск. Вопреки любой реальной опасности. Вопреки самой суеверной интуиции. *Вопреки всему, что может воспринять в отношении решительному стремлению.*

Впервые он попался мне на глаза в ливневый майский полдень. Ровно месяц назад. В день рождения моей матери. Через несколько часов после пожара в соседнем хозяйственном бараке, который, несмотря на ожесточенный дождь, безропотно сгорел в считанные минуты. Оттуда, наверное, он и прибежал. Как удалось ему перебраться через кипевшие грозой лужи? Как его не затоптали грязные спотыкавшиеся сапоги? Как промахнулись все без исключения прицельные градины? *Н е у ж е л и*

животное везение сродни человечесьему?

Я открыл свою тумбочку, чтобы положить туда сэкономленный за обедом кусок хлеба, и увидел там таракана. Сначала автоматически щелкнула естественная мысль его просто прибить. Но рядом не оказалось подходящего предмета. Во время же сумбурного поиска орудия убийства обыкновенное отвращение превратилось в совершенно новое, незнакомое до этого момента ощущение. Точнее, *с т р а х о с о ч е т и н и е*. В том числе и страх за собственную жизнь. Не зная, за что схватиться, я окончательно запутался в своих суетливых движениях. Декоративное размахивание руками потеряло всякий смысл. Стоя в атакующей позе в центре выскобленной территории, я чувствовал себя загнанным во все углы сразу. Не способным найти в себе силы хотя бы прогнать непрошеное существо. Мы вынужденно уставились друг на друга, и, казалось, ничто не могло развести наши слившиеся воедино выжидательные взгляды. Я наблюдал за его тщетными попытками отступить. Во что бы то ни стало перегруппироваться. Втиснуться в мизерную щель между досками. Ловко спрятаться. Наблюдал за его беспомощностью и горькой жаждой вымолить пощаду на любых условиях. Мне даже показалось, что от безысходности он дрожал. Меня же знобило от сквозняков и сопливо всхлипывавшего дождя. Чтобы хоть как-то выйти из этой нелепой ситуации, я волевым усилием попробовал временно восстановить давно забытое чувство жалости. Через пару минут нечто подобное, похоже, удалось из себя выдавить. Вот уже который раз в этот день таракану беспричинно повезло. Это действительно был его день. Мой выбор пал на единственно нейтральный вариант: положить хлеб на место, смиренно захлопнуть дверцу и констатировать: рядом со мной поселилась живая душа. *Я выбрала роль хладнокровного врага. Меня выбрала роль добровольного спасителя.* Так состоялось наше знакомство. Так происходило наше первое свидание.

С тех пор таракан не осмеливался покидать полосатый деревянный ящик днем. Во всяком случае, в моем присутствии. Но сегодня утром его терпение дало решающую трещину. Он рискнул отправиться мне навстречу. Если не считать страха, без препятствий добрался до моей кровати и на расстоянии вытянутой руки уставился на меня с откровенным любопытством. Все опасения оказались напрасными. Ничего угрожающего не происходило. Наступила выжидательная пауза, которая должна была

убедить его в моем миролюбии. Я тоже задумался. Что толкнуло его на столь решительный поступок? Может быть, это была демонстрация благодарности за сохраненную месяц назад жизнь? Если да, то тараканьей памяти можно было только позавидовать...

Я лежал в ожидании дальнейшего развития событий. Посмеет ли таракан приблизиться ко мне еще ближе? Для знакомства крупным планом. Или до бесконечности будет ждать моей одобрительной реакции? По вальяжному шевелению усов я мог лишь догадываться о его истинных намерениях. Значит — мог нафантазировать лишнего. Значит — лучше было не нарушать тишину ошибочными инициативами. Правда, общего взгляда, как при первой встрече, тоже не получалось. Наверное, из-за отсутствия вражды. Зато общим получалось ожидание. Но никто не хотел брать на себя ответственность прервать его первым. Пока оно устраивало всех. Однако в такие ситуации всегда неожиданно и энергично вмешивается третья сила. Пользуясь отсутствием какого-либо действия. Для насильственного установления своего порядка. Сейчас — это была внезапная близкая автоматная очередь за окном. Которая пулей загнала ошарашенного таракана в полосатое убежище. А меня заставила лениво встать с кровати.

27 ИЮНЯ.

Последнее время по ночам меня постоянно одолевала одна и та же навязчивая мысль. Будто лагерная форма многим заключенным была вполне к лицу. Нет, это морально-логическое противоречие не тянуло за собой никакой крамолы или изощренного предательства. В нем не было ни состава преступления, ни откровенной злобы. Оно совсем не претендовало на автономное существование вне пределов моего сугубо личного воображения. Просто, ежедневно вглядываясь в десятки штампованных фотографий из «личных дел» заключенных, я приходил к неожиданному выводу, что строгий полосатый рисунок довольно органично сочетается с постоянной небритостью и вечным трагизмом упирающихся в меня взглядов. Никто не сопротивлялся этому образу. Каждый срастался с ним, как с судьбой. Независимо от возраста. Независимо от национальности. Независимо от утвержденных природой черт лица. Причем, это убедительное единство формы и содержания делало бессмысленной любую

попытку представить своих солагерников в каком-нибудь другом виде. Даже абстрактно. Даже абсурдно. Даже если по команде всю толпу раздеть догола, на всех без исключения телах все равно остались бы несмыслимые следы чернильных полос — *основной художественный элемент насильственной моды.*

У каждого времени есть свой персональный модельер. Это открытие я сделал для себя в ночь на минувшую пятницу. Через неделю после того как мне выдали поношенную, без знаков отличия, с запахом хлорки, отглаженную солдатскую форму. Расставание с прежней было легким и простым. Вживание в новую потребовало характера. Начиная с момента замедленного переодевания, в лагерьном дворе я стал появляться значительно реже. Особенно в часы массового движения и переключек. Но и этого было достаточно, чтобы стыдливо чувствовать подаренное мне превосходство над другими. Хотя вряд ли кто-нибудь обратил внимание на мое радикальное жанровое перевоплощение. Кому какое было дело до чужого умения приспособливаться? Каждый боролся за свое существование в одиночку. Втайне от других праздная перед сном прожитый на последнем дыхании день. Сил не хватало даже на лишнее поднятие головы. Даже на ничтожную зависть. Поэтому исчезновение номерного знака с моей груди никого не заинтересовало. Как никого не заинтересовало мое изменившееся положение в лагерном обществе. Как никого не удивили мои персональные контакты с лагерной администрацией. *Военнопленный с особым статусом.* Подобная формулировка никому ничего не разъясняла. Но она была узаконена красным карандашом напротив фамилии в моем «личном деле». Она гарантировала временное выживание.

Случайным всплеском меня выбросило из ежедневного человекопотока. Из полосатого моря первоочередников на свидание с богами. Из безумного водоворота коллективного страха перед неизбежной коллективной смертью. Эта резкая смена обстоятельств, обрушившаяся на мою психику так же неожиданно, как и все сумасшествия последнего года жизни, будто в срочном порядке перезахоронила меня из одного сна в другой. *От экспериментов передовых конвейерных технологий* меня спасло знание чужих языков. Плюс навык обращения с пишущей машинкой. Плюс ставшая профессией глухота к окружающим истерикам и крикам. Плюс отдаленное знакомство с

музыкой Вагнера. Сумма этих плюсов плюс патологическая слабость победителей — пощеголять в черной форме между рядами заторможенных заключенных — вырвали меня из навсегда разучившейся говорить толпы. На меня указали пальцем. Точнее, карандашом. Я должен был сделать только один шаг вперед и назвать свою национальность. Но не успел. Процесс восстановления речи оказался длиннее страха. Автоматчику было взмахом приказано отвести меня в специальное помещение. Охраняемое другими автоматчиками. Находиться там пришлось долго. Под бдительным прицелом. *До унижительного востребования.* Так началось мое перемещение в новую лагерную плоскость

К офицеру-очкарику меня приводили четыре раза. Причем, ни разу ни один из вопросов не повторился. Все четыре раза он раскручивал спираль вокруг тренажного табурета, на который мне было разрешено сесть. Казалось, что количество его одинаковых до миллиметров шагов увеличивалось пропорционально мелькавшим в моей голове мыслям. Все четыре раза в противовес вокруг происходящему громко играла музыка. Офицер с аккуратной медлительностью заводил одну и ту же пластинку на игрушечном патефоне. Но иногда умышленно делал вид, будто забывает. Будто забывается. И иногда заикающийся скрип вперемешку с шипением официально озвучивали провалы-паузы моего вялого допроса. Все четыре раза он самовлюбленно позировал и усердно курил, разбрасывая рваные клубы дыма в самые отдаленные углы пространства. Время от времени задавая вопросы не только мне, но и самому себе. Но на свои вопросы вслух не отвечал. Когда в последний вечер он узнал, что мне знакомы оперы Вагнера, его указательный палец с трудом оторвался от переносицы. Поправив круглые очки, он долго рассматривал мои густо исцарапанные босые ноги: «Путь к смерти — не всегда прямая линия». Его гибкий голос с трудом прорывался сквозь бесконечные музыкальные дебри. Последнее слово удалось разобрать только по скользкому движению нарисованных губ. Я впервые осмелился задержать свой взгляд. Взгляд напротив пронзал меня насквозь. Меня в упор не замечая. Так мы слушали «Nürnbergers Meistersinger». Через час, повернувшись ко мне спиной, офицер беззвучно разрешил меня увести.

На следующее утро с восходом солнца меня привели в маленькую комнату с отдельным входом. Пристроенная к торцу медицинского корпуса, она окном выходила на главный лагерный плац. Сначала я не

понимал свалившейся на меня роли в постоянно меняющейся обстановке. Но сразу же за мной почти торжественно внесли пишущую машинку и кипу бумаг. Какой-то лагерный чиновник заученно объяснил мои новые обязанности и новые правила поведения. С этой минуты новое место работы становилось и новым местом существования. Новые орудия труда и для меня лично становились в чем-то полезными. Теперь в регулярных приступах бессонницы я мог вести свои записи. После того как меня оставили в комнате одного, я впервые за последний год взгляделся в мир через незарешеченное окно. В лагерный мир через лагерное окно. Таким образом, будучи сам жертвой, я становился посторонним наблюдателем за жертвами.

6 ИЮЛЯ.

Лагерь был способен выполнить только одно мое посмертное желание — похоронить без цветов и музыки. Точнее, забросать землей в послезалповой тишине. Нелюбовь к цветам, рожденная в нелюбви к любым церемониям, как бы подтверждала необратимое безразличие моей натуры к героизму. Страх и трусость были куда ближе моему характеру. А эти физические категории никогда не нуждались в художественном оформлении. Они существовали сами по себе. Свободные от всех видов добродетели и нравственного абсурда. Проявляли свою убедительность исключительно своей сутью. Их было невозможно перевоспитать или скомпрометировать. Невозможно было приобрести или позаимствовать. Как и невозможно было ни при каких обстоятельствах с ними расстаться. Они появлялись на свет и исчезали вместе со своим антигероем. Вот образец взаимной преданности! Вот пример единого коллективного эгоизма! Я был уверен, что признание в собственном страхе звучит не менее значительно, чем осознанное стремление к подвигу. Я не раз убеждался, что трусость так же индивидуальна и образна, как и чрезмерно обласканная Историей личная смелость. Поэтому мое понимание гражданского долга не пересекало границ моих гражданских способностей. Я не претендовал на конфликт с самим собой. Я всего лишь являлся самим собой. Именно поэтому никто не имел морального права упрекать меня в моей сущности. Герою на могилу нужны живые цветы, равно как мне — тишина и голый бесформенный камень. К сожалению, плен гарантировал только

отсутствие музыки и цветов. По остальным же вопросам, при всей временной внешней терпимости к лагерю, у меня с ним общих взглядов на исход жизни не обнаруживалось. Бывало, хотелось от злости рискнуть воображением, но постоянно свежее воспоминание о безбрежном котловане, мимо которого раньше приходилось ходить по несколько раз в день, не давало возможности даже помечтать о персональной могиле. Хотя *смерть — сугубо интимное мероприятие*. Причем, гораздо интимнее, чем сама жизнь.

По сравнению с жизнью у смерти есть одно выдающееся качество: *смерть всегда уместна*. И здесь, в лагере, степень ее уместности безоговорочно достигала наивысшего показателя. Здесь все к ней услужливо располагало. Здесь она без снисхождения над всеми властвовала. Здесь люди сами искали с ней долгожданных объятий. При ежедневных встречах с другими заключенными мне все время казалось, что мыслями о самоубийстве занята буквально каждая голова, еще не получившая пулю в лоб. Засиживаться в очередниках не у всех хватало терпения. Запасной вариант становился основным. Одно резкое движение рук — один резкий шаг в сторону — одна резкая вспышка иноязычного гнева — и заказанная программа-максимум выполнялась на месте. *Самоубийство — самый обезболивающий и человеческих поступков*. Наглядный опыт последнего года настойчиво толкал меня именно в этом направлении. Если бы я знал, какой отрезок пути еще осталось преодолеть? Мог ли я уберечь себя от заразительного чужого бессилия? Способен ли был мой страх сохранить мне жизнь хоть в каком-нибудь виде? Достаточно ли быть просто трусом, чтобы надеяться на выживание? Пока же кто-то из всевышних меня покровительственно оберегал. Пока я продолжал тупо выстукивать на пишущей машинке железные строки из заключенных в проволоку чужих биографий. Пока у меня перед глазами было собственное окно. Как долго я буду в него смотреть? Как долго я буду видеть в нем по ночам свое пугающее отражение? Как долго будет продолжаться подаренное мне временное одиночество? Неделю? Две? Месяц? Но ведь любая война длится не меньше вечности! Может быть, лучше сразу освободить себя от всех претензий и сомнений? Может быть, одним махом добиться вечного перемирия со всеми конкретными и вымышленными врагами? *Что может быть бессмысленнее,*

чем право собственности человека на самого себя?

10 ИЮЛЯ.

Стук в дверь меня больше удивил, чем испугал. Поначалу я даже растерялся, отвечать ли на него. Ведь это могла быть просто случайная ошибка или чье-то умышленное издевательство. Но после четвертой серии ровных ударов я перестал печатать и, выдержав паузу, насильно выдавил из себя: «Войдите».

— Кажется, заработались... — Фигура уже знакомого офицера ловко нырнула в комнату вместе с агрессивным потоком спящего утреннего солнца. — Могу Вас поздравить... В канцелярии очень довольны Вашей грамотностью и трудолюбием... Ни малейшей претензии... Значит, я в Вас не ошибся... А как Вам новое занятие?..

— ...— Теперь Вы мой должник...

— ?..

— Не бойтесь... Не воспринимайте буквально... Это всего лишь юмор... Неправда, что юмор умер... Он выживет даже в нашей жестокой обстановке... Как же жить без него?.. *La speranza ultima morige*... Вот юмор и есть наша общая последняя надежда... Наша... Общая... Или Вы со мной не согласны?..

— Не знаю...

— Вы не хотите со мной разговаривать?..

— Не-е-ет... Я просто не знаю, как... Присаживайтесь...

— Нет-нет... Сидите... Спасибо... Я лучше прислонюсь к подоконнику... Я Вам не загораживаю свет?.. Здесь довольно темно...

— После обеда солнце переберется на эту сторону...

— Хм... Значит, не все так мрачно...

— ...

— Интересно... Вы знаете, какой сегодня день недели?

— Четверг?..

— Не угадали... Сегодня — воскресенье... Я решил себе устроить по этому поводу выходной... Между прочим, первый за два последних года... Надоело все... Серая скука...

Приподнятым коленом он оперся о край заваленного бумагами

стола. Заслонив собой всю левую половину окна. Скрыв от меня всю левую половину лагерьной площади. У него, наверное, было хорошее настроение. Но мне до этого не было никакого дела. Я старался вежливо молчать. Я не понимал, надо ли ему что-нибудь от меня. Совершенно не понимал, как себя вести. Но при этом внимательно слушал каждое его слово. Не упуская из виду ни одной из его менявшихся, как маски, ухмылок. Нечасто победитель заходит в камеру к своей жертве, чтобы растрасти скуку.

— Ночью Вам здесь не бывает одиноко?..

— Нет...

— И страшно не бывает?..

— Уже не бывает...

— А когда убивают, Вам страшно?..

— Уже нет...

— И вид трупов Вас не смущает?..

— Я привык...

— А если вдруг увидите свой?..

— Я его уже видел...

— Вот как?!.

— Вы думаете, мой труп будет чем-нибудь отличаться от десятков других?..

— Ваш изысканный цинизм мне нравится...

— ...

— Мне кажется, Вы были циником и в мирное время...

— ...

— Или Вы удачно играете?..

Офицер несколько раз отточенными жестами поправил чуть сползавшие с переносицы очки. Будто пытался подробнее рассмотреть меня под увеличительным стеклом. Будто хотел сию же минуту докопаться до причин моего молчания. Мне действительно захотелось ответить на его последний вопрос. Но ответить только самому себе: играл ли я в разговоре с ним? Неужели моей трусости свойственно такое актерское перевоплощение? Или это был очередной обыкновенный страх — страх раскрыть пред кем-то свой собственный внутренний порядок? Нет. Скорее всего, это было желание продемонстрировать остатки растоптанной независимости.

— Ладно... Можете не отвечать... Не буду мучить Вас лишними признаниями...

— ...

— Вообще, я пришел к Вам по делу...

— ?!

— Странно звучит, да?.. Ха-ха-ха-ха...

— ...

— Вы умеете водить автомобиль?..

— Автомобиль?! Нет...

— Значит, научитесь...

— Но я малейшего представления не имею...

— Наверное, было время, когда Вы и печатную машинку не представляли...

— Но я никогда на автомобиле даже не ездил... Мне приходилось только на трамвае... У меня не было случая...

— Неважно... Автомобиль и трамвай — это одно и то же...

— Но...

— Я дам Вам опытного инструктора и пару недель срока... Я верю в Ваши способности... Это не Бог вещь какая премудрость... Мы все когда-то чего-то не умели... В Вашем положении не может быть другого выбора... Не правда ли?..

— Но...

— Вы будете моим личным шофером...

— А...

— Мне нужны преданные люди... Я Вам доверяю...

Я был озадачен полученной информацией. Безразличие к неожиданному появлению офицера мгновенно сменилось на любопытство и сумбурное волнение. К тому же, намертво прилипший ко мне его настойчивый взгляд растягивал возникшую в разговоре паузу до бесконечности. Чего он ждал от меня? Унизительной благодарности? Или свихнувшегося восторга? Было ли мое молчание для него моим естественным согласием? Может быть, согласием, благодарностью и восторгом одновременно? Неужели он мог себе представить другой мой ответ? Я же с трудом рисовал себя за рулем автомобиля. Но несколько слов надо было произнести немедленно. Во что бы то ни стало. Чтобы отбить настойчивость его давящего взгляда. Другого выбора у меня, конечно, не было. В этом офицер

прав. Да и нужен ли был другой выбор?

— Как Вы скажете, так и будет...

— Вот это по-деловому...

— Я в Вашем распоряжении...

— У нас полное взаимопонимание... Меня это радует...

— Если...

— Печатную машинку и бумагу Вам разрешат оставить, если хотите... Я об этом позабочусь... Завтра сюда проведут электричество... На окно обязательно повесят занавески... Чтобы почаще отгораживаться от происходящего вокруг... Чтобы иногда отдыхать... Не сидеть же Вам постоянно спиной к окну... Как я сейчас... По сравнению со смертью Ваше существование станет чуть-чуть похожим на жизнь... Ха-ха-ха-ха...

— ...

— Через пару дней на правой стороне площади построят несколько виселиц... Говорят, они действуют на психику заключенных гораздо сильнее, чем автоматные очереди... Хотя, будь моя воля, я давно бы всех расстрелял... Не задумываясь ни на минуту... Зачем несчастных зря мучить?.. Они ведь тоже люди... Не правда ли?..

«Будь моя воля, я сделал бы то же самое... И по той же причине...» — подумалось мне. Но вслух я ни слова не произнес. Да и произносить уже было некому. Темный силуэт офицера бесследно растворился в разразившемся в моей комнате секундном урагане. Исчез без предупреждения. Замедленно повернувшись, я вновь уставился в свое окно обозрения. Офицер торопливо пересекал площадь по натянутой диагонали. Догадывался ли он, что я веду за ним наблюдение? Или он был в этом уверен? А может быть, столь точно вычерченный маршрут был просчитан заранее? Неожиданно я почувствовал себя счастливым человеком. Потому что мог позволить себе прилечь на кровать. Отдохнуть. У меня кружилась голова.

18 ИЮЛЯ

Зачем менять декорацию, если можно закрыть глаза зрителю. В интересах самого же зрителя. Такого парадоксально заботливого отношения к моей персоне я не предполагал даже теоретически. И все чаще стал ловить себя на

мысли, что я родился в рубашке. Да, пусть в тюремной, но все равно в рубашке. Надежда на собственное выживание день ото дня начала медленно укрепляться. Принимая в отдельные минуты забытья явно преувеличенные формы. Я отдавал себе отчет, с чем это было связано. Офицер своих слов на ветер не бросал. То есть, его намерения поочередно превращались в конкретные поступки. На следующий же день в моей устоявшейся обстановке действительно произошли изменения. Отглаженные, в траурную полоску, зеленые занавески вытянулись во всю высоту окна. Так что теперь при желании можно было временно скрыться от навязчивого лагерного представления. Или хотя бы сделать вид, будто оно меня не касается. Будто мое пристанище обрело статус жилого дома. Будто мой дом есть моя крепость. Будто я есть ангел-хранитель этой крепости. Правда, иногда казалось, что звук, проникающий в комнату извне, становился в такие минуты намного сильнее и выразительнее. Но стоило только приоткрыть занавески, как все сразу возвращалось на свои места. Поэтому у меня не хватило сил отказаться от своих привычных наблюдений, и я решил время от времени прерывать свое бесконечное лежание на кровати.

Зачем менять декорацию, если зритель к ней уже привык.

Автомобилем я занимался ежедневно, но только по несколько часов до полудня. Так как сразу после обеда офицер уезжал на нем за пределы лагеря. А возвращался всегда поздно, когда уже темнело. Приставленный ко мне его нынешний водитель добросовестно выполнял указания своего начальника. Он не отходил от меня ни на шаг, чередуя практические занятия возле гаража, на виду у всей администрации, с детальным разъяснением запутанных схем из специального военного учебника. Водителя совершенно не интересовало мое лагерное происхождение. Его ничуть не раздражала моя техническая неграмотность. Он мог без злобы повторить одну и ту же фразу два-три-четыре раза. Старался по каждому вопросу убедиться, понял ли я его. Можно было даже предположить, что он лично заинтересован в моих успехах. Водитель постоянно меня убеждал, что уже в ближайшее время я полностью овладею всеми профессиональными секретами. Чересчур часто подчеркивая мою сообразительность и прилежание. Пытаясь растормозить мой совсем не боевой дух. Мне же все время казалось, что автомобиль просто взорвется от моего любого следующего прикосновения. И мир окончательно рухнет.

Настолько я боялся первой самостоятельной поездки. Настолько я не понимал отведенной мне роли в новых отношениях с офицером. Настолько я не мог себе представить *свое свободное перемещение в незамкнутом пространстве*.

Офицер не осуществлял прямого контроля над моим поведением и распорядком дня. Со времени нашего последнего свидания он ни разу со мной не встречался и через своего водителя ничего не передавал. Но именно тот факт, что меня никто ни по какому поводу не беспокоил, как раз являлся абсолютным доказательством его чрезмерного, скрытого внимания. Нити моей искусственной неприкосновенности находились в его руках. Если раньше я был частью массового жертвоприношения, то сейчас начал осознавать буквально физическую принадлежность одному конкретному человеку. Свою беспомощность я объяснял законами военного времени. Офицер же этими законами умело пользовался. *Будто писаны они были специально для него*. Все мои дни и ночи тянулись под невидимым колпаком. И когда меня этот колпак наконец накроет или раздавит, было известно только одному офицеру. Хотя я наблюдал за ним лишь издалека, расстояния между нами не существовало. Его очки постоянно блестели передо мной. И, в зависимости от особенностей освещения, в них всегда мелькало мое отражение. Отражение можно было разглядеть. Но для этого нужно было приблизиться к его лицу вплотную. Как к ночному окну. Всмотреться в него еще пристальнее. Face to face. То есть окончательно признаться в поражении. Пока же подобного лобового столкновения я старался избегать. Расставлять знаки препинания в происходящем было не моим делом. *Лучшая инициатива — ее отсутствие*.

21 ИЮЛЯ.

В лагере наверняка не было ни одного человека, который проводил бы в кровати столько времени, сколько я. Кровать стала местом рождения всех моих мыслей. И одновременно местом их почти бесследного самоуничтожения. Она медленно превращалась в основной атрибут моего лагерного распорядка. И ничто не вынуждало меня надолго с ней расставаться. Около двух третей суток я проводил в горизонтальном положении. И создавалось устойчивое впечатление, будто *безделие*

есть форма привилегированного наказания. Тем не менее, бессонница меня никак не покидала. Страх перед тем, что в любой момент кто-то может прийти, заставлял мое сознание по большей части бодрствовать. Нужно было всегда быть готовым по необходимости вскочить до хлопка дверью. Особый статус военнопленного не только временно спасал от смерти, но и мобилизовывал. Вдруг офицеру что-нибудь заблагорассудится? Вдруг у него тоже бессонница? Вдруг ему захочется меня увидеть? Просто так. Вдруг ему скучно? А вдруг у него резко поменялись планы? Вдруг, наоборот, я ему больше не понадобится? И вместо него появятся те, кто меня сюда привел. Что делать тогда? Что меня ждет при таком раскладе? Возвращение туда, откуда привели? Или смерть сразу? Еще бы знать, что для меня лучше? Точнее, что для меня ближе к свободе. Так что страх не только не давал возможности расслабиться, но и заставлял с повышенной скоростью перебирать в голове различные варианты развития событий. Точнее, судорожно перемалывать одни и те же развращенные безделием глупости. По которому уже кругу. При неестественном собственном внешнем спокойствии. При ставшем по ночам привычным тусклом электрическом свете. При единственном и вынужденном свидетеле — все том же, с золотистыми усами, таракане-соседе.

За последний месяц и в жизни таракана стали происходить неожиданные ирреалистические события. Не знаю, сколь велико бывало тараканье удивление, но довольно часто, помимо огрызков кислого черного хлеба, ему перепало кое-что из деликатесов. Каждый ужин мне регулярно выдавали по два куска снежного сахара и несколько сухофруктов. Однажды я даже не поверил собственным глазам: на столе между помятой кружкой и новенькой тарелкой лежала запечатанная плитка шоколада. Це-ла-я-плит-ка-шо-ко-ла-да! Шо-ко-ла-да-для-за-клю-чен-но-го! Ежедневное трехразовое питание превращало меня из смертника в *п о д о - п ы т н о г о к у р о р т н и к а*. При каждом свидании с едой мне с трудом удавалось убедить себя в том, что все лежащее передо мной принадлежит мне. И только мне. Не мог я себя заставить съесть все сразу. Не мог себе позволить механическое заглатывание че-ло-ве-чес-кой-пи-щи. Хотелось потянуть удовольствие в одиночестве. Чтобы никто не видел моего перекошенного наслаждения. Чтобы никто не слышал моего позорного потягивания слюной. Чтобы ни у кого не возникало

отвращения от моей рабской ненасытности. Как возникало отвращение у меня. Отвращение относительно «нового» окружения. Ведь теперь я обедал в обустроенном помещении. Рядом с офицерской столовой. Вместе с другими «особыми». Хотя и за отдельным столом, больше напоминавшим хромой высокий табурет. Постоянно закрепленное за мной место выделяло меня из этой малочисленной группы едоков. И мне это льстило. Я старался держаться уверенно. Пытался подчеркнуто соблюдать установившуюся дистанцию. Не разбрасывал лишних взглядов по сторонам. Сокращая отведенное на еду время до минимума. Унося под рубашкой все, что можно было унести к себе в комнату. Поэтому в полосатой тумбочке иногда на какой-то период скапливались стратегические мини-запасы. Таракану было чем полакомиться. Я живо воображал его довольную физиономию. Я интуитивно чувствовал его теплеющее настроение. И эта чужая сытость доставляла мне мелкую, но искреннюю шефскую радость. При виде игриво торчащих из тумбочки тараканьих усов мне хотелось улыбаться. Не знаю, было ли это видно по моему лицу, но в *моей душе тоже на несколько градусов подскакивала температура. От бесконечной собственной щедрости. В ущерб бесконечной собственной жадности.*

Мирное тараканье существование меня периодически гипнотизировало. Напрочь прерывая всякую связь с угрожающей убийством реальностью. Бывало, жизнь в полосатом ящике интересовала меня не меньше, чем активная жизнь на лагерной площади. Таракан настолько освоился в новой обстановке, что мне часто казалось, будто в тумбочке поселился человек. Или, по крайней мере, высокоэгоистический человеческий разум. Открыто игнорирующий все происходящее вокруг. Сознательно издевающийся над себе подобными. Демонстративно-снижительно делящий мир исключительно на себя и пустоту. Таракан уже не боялся ни внезапных автоматных очередей, ни сумасшедших криков за окном, ни самого страшного для себя — панического скрежета железной кровати. Он сумел безошибочно усвоить: чужой сюда не войдет. Чужому сюда вход воспрещен! Так что его право пользования выскобленной территорией постепенно распространилось на всю комнату. С моего молчаливого согласия. Можно даже сказать, при моей моральной поддержке. В размышлениях о тараканьем менталитете я действительно забывал о самой войне. Война временно оказывалась по ту сторону моего

полуобморочного сознания. Временно удалялась из моего жилища. *Война временно становилась никому не нужной.* Вдруг временно превращалась в третьего лишнего. И все эти перевоплощения происходили благодаря таракану. Благодаря таракану время вдруг заклинивало. Благодаря таракану я превращался вдруг в мирного человека. Благодаря таракану вдруг наступал временный бесконечный м.р. Благодаря таракану в лагере на одного военнопленного вдруг становилась меньше.

Я привык внимательно наблюдать за каждым перемещением золотистых усов. Сегодня вечером особенно бросались в глаза раскованность и целенаправленность их легкого передвижения. В считанные секунды, без видимых усилий, таракан забрался ко мне на край постели и уставился на меня то ли многозначительным, то ли многообещающим взглядом. Подобная ситуация уже не раз случалась. Поэтому никакие сомнения по поводу собственной реакции меня не беспокоили. И я, как всегда, не задумываясь, ответил взаимностью. Возникло ощущение, будто между нами вот-вот начнется важный диалог. Настоящий полноценный диалог между двумя заинтересованными лицами. Не знаю, были ли у противоположной стороны ко мне каверзные вопросы. Мне же все время хотелось ответить лишь на один, свой собственный. Чего было больше? В таракане — человеческого? Или во мне — тараканьего?

26 ИЮЛЯ.

Страшный день наступил. Внешне он ничем не отличался от предыдущих. Жаркий, оранжевый, безветренный, спелый. Нет, никакой роковой неожиданности в нем, конечно, не было. Напротив, именно в его тягучей неизбежности и созрел мой очередной, запрограммированный страх. Просто наступил день моего нового рождения. День самостоятельного управления автомобилем. Пришло время наглядными действиями компенсировать свое нескончаемое лагерное везение. Ведь по чьей-нибудь воле оно могло без предупреждения закончиться. Причем, неважно, по чьей. С сегодняшнего дня я должен был полностью перетрясти ставший уже привычным текущий распорядок. Я должен был окончательно выбросить из головы любые мысли о творящихся вокруг кошмарных иллюзиях. Я должен был стать в новом качестве настоящим профессионалом.

Я должен был хладнокровно привести в движение схваченные за две миготки пролетевшие недели все навыки и умения. Я должен был во что бы то ни стало убедить себя, что за рулем провел не один год. Я должен был убедить в этом тоже нервничавшего офицерского водителя. Я должен был убедить в этом глаzewшую из окон администрацию. Я должен был убедить в этом самого офицера. Сегодня я должен был убедить в этом всех. И мой характер должен был мне в этом немедленно помочь. Я знал свой характер. *Военнопленный меняет профессию. Точнее, военнопленный овладевает смежной профессией.* Еще точнее, *военнопленный — это тоже профессия.*

На сиденье я упал, будто умышленно толкнул себя в лужу. Брызги от этой лужи зашипели колючим потом на раскаленном лбу. Покорные, обветшавшие за год плечи по команде заострились. Мокрые руки схватились за руль, как за оружие. Я решительно переходил в наступление. Я должен был всему миру продемонстрировать свое законное право на выживание. Я верил в свою победу, имя которой — *реванш*. Я верил в свой реванш, имя которому — *свобода*. Густая злость, кипевшая в моей груди, это подтверждала. Даже вражеский автомобиль прочувствовал мое состояние. Он не вздрогнул от моего неосторожного прикосновения. Он оказался верным другом в моих крепких объятиях. Он четко принял к выполнению поставленную перед ним задачу, первым дав согласие на мое «служебное» повышение. *И враг может стать другом. При этом не имеет значения, идет речь об автомобиле или о человеке.* Уверенность, похоже, начала подавать первые признаки жизни. Значит у самой жизни одним естественным признаком становилось больше.

Машина с места не рванула. Она медленно и со знанием дела понесла меня по всему периметру лагерной государственности. Я совсем не заметил, как оказался довольно далеко от гаража. Маршрут заранее никто не выбирал. Нужно было ехать — я ехал. Офицерский водитель спокойно сказал: «Проедь, сколько сможешь. Только лишний раз не останавливайся. Докажи, что умеешь.» Все получилось само собой, произвольно. Дорога действительно стелила мягко. Дорогой была запретная для заключенных широкая полоса земли между высоким каменным забором и внутренними постройками. Сегодня она оказалась проложенной специаль-

но для меня. Будучи частью огромной, почти замкнутой окружности, она вела меня как по прямой. Замаскированная толстым слоем пыли трава помогла удачно преодолевать скрытые предательства незаметных кочек и ухабов. Озверевшее с раннего утра солнце, слава Богу, было в зените. Тем не менее, дорога отбирала все мое напряженное внимание. Поочередно вычеркивая из моего вытянувшегося поля зрения разбросанные по сторонам бараки, полосатые шеренги, надзирательные вышки. Внешние звуки из-за наглухо закрытых окон полностью деформировались. Поэтому бешеный хор вырывавшихся из рук автоматчиков собак был больше похож на беспорядочные восторженные аплодисменты. Мне казалось, что я схожу с ума. Я сидел как связанный. Виски не попадал отстукивали маршевую дробь. Руки не могли оторваться от руля, чтобы вытереть с лица пот. Мне не хватало пространства. Мне не хватало воздуха. Смесь внешней уверенности и внутренней паники высушивала губы. Нет, мне не казалось. Я действительно слышал взрывы аплодисментов. Я точно сходил с ума. Я сходил с ума оттого, что на глазах у всего мира моя первая в жизни поездка на автомобиле превращалась в *спортивный триумф за медленного действия*.

Из машины я вышел победителем. *Победителем без победы*. Меня слегка качало. От одобрительного хлопка по плечу, полученного от офицерского водителя, я чуть не завалился. К тому времени у гаража собралась группа громко смеявшихся офицеров. Один из них небрежно-игриво замахивался на меня указательным пальцем, доводя своим жестом стоявших рядом до экстазного визга. Трусливым, но злобным взглядом я скользнул в их сторону. Они продолжали наперебой заливаться смехом, удушливо захлебываясь избытком фальцетных звуков. Что конкретно послужило поводом для показного шумного веселья, я не понял. Меня это абсолютно не интересовало. И даже не хотелось над этим задумываться. Главным было то, что *моего офицера* среди них не было. Это и радовало, и удивляло. Покрутив опущенной головой, я убедился: поблизости его не было нигде. Я не находил объяснения. Хотя причин могло быть — хоть отбавляй. В душу закралось тревожное сомнение. Я был уверен, что увижу его, выйдя из машины. Увы, в очередной раз я ошибся. Перепутав желаемое с действительным. Может быть, он наблюдал за мной из какого-нибудь окна? А может быть, он забыл о моем существовании? Ни о чем другом уже не думалось. Мысли были

заняты несостоявшейся встречей. Я поймал себя на признании, что мне нужна была его поддержка. Оставалось лишь надеяться, что его намерения в отношении меня не изменились. Что не изменилось и само отношение ко мне. Я застыл в растерянности. Я наощупь чувствовал всю хрупкость своего положения. Я боялся сделать шаг вперед, потому что и он мог оказаться неверным. Никогда раньше я так не боялся за свою жизнь. Даже тогда, когда впервые надел полосатую форму. Когда на меня указали пальцем. Когда смерть была гораздо ближе. Видимо, я слишком рано нафантазировал свое спасение. Видимо, *спасение слишком рано выбрало меня своей жертвой.*

27 ИЮЛЯ.

Опять было утро. И опять вместе с потоком солнца в комнате появился офицер. Опять со стуком. Я собирался идти в гараж. Но не успел. Офицер, похоже, все по-деловому рассчитал. Он опять занял свою позицию у окна, оперевшись коленом о край стола. И опять с его приходом в комнате стало темнее. Несмотря на молочную свежесть выбритого лица. Несмотря на отблески очков и отоспавшуюся улыбку. Несмотря на яркий огненный шар, который он играючи перебрасывал из руки в руку.

— Да, Вы произвели на меня впечатление... И не на меня одного...

— !?.

— Вы не поняли, что вчера чудом остались живы?..

— По-моему, это происходит каждый день...

— Вы проехали через запретную зону... Вас должны были расстрелять... Охранников смутила Ваша дерзость... Все думали, что я сижу на заднем сидении... Многие мои сослуживцы объяснили подобное безумие исключительно моей экстравагантностью... Но Вы всех заставили ошибиться... А это вызывает уважение...

— Не знаю, как все получилось... Я просто не знал, куда ехать...

— Виноват, конечно, мой водитель... Он должен был сообщать...
Мое решение о его замене совершенно оправданно... Вчера он это доказал...

— Нет...

— Да... О таких вещах интересно говорить в прошедшем времени...

— В очередной раз Вы меня спасли...

— Нет, в очередной раз Вам повезло...

— ...

— Во всяком случае, смеха и шума Вы наделали предостаточно...

— Если я перед Вами в чем-то провинился...

— Нет-нет... Напротив... Вы весь лагерь покорили своей смелостью...

— Это была случайность...

— Я сначала решил, что это — попытка самоубийства...

— В последнее время у меня таких мыслей не возникало...

— Здесь, в лагере, каждый об этом думает...

— Мне было не до того...

— Но об этом знали только Вы...

— А Вы были где-то рядом?..

— Нет, я наблюдал за Вами из окна своего кабинета...

— ...

— Когда же Вы появились с противоположной стороны, в своем кресле я смеялся гораздо громче, чем те, любопытные, собравшиеся у гаража...

— ...

— По-моему, Вы даже не поняли, что произошло...

— ...

— Зато сумели меня убедить, что в своем выборе я был точен... Автомобилем Вы управляли на отлично... Теперь я ни на секунду не сомневаюсь в ваших способностях... А Вы в них, кажется, сомневались... Доверяйте мне почаще... Не бойтесь... Я постараюсь изменить Вашу жизнь в лучшую сторону... По-ста-ра-юсь...

— ...

— Если не считать вчерашнего инцидента, пока все идет вполне благополучно... Теперь и во второй половине дня машина будет в вашем распоряжении... В случае необходимости я воспользуюсь другой... Вам еще нужно неделю терпеливо потренироваться... Старайтесь... И тогда я смогу доверить Вам собственную персону...

В душе я радовался приходу офицера. С его появлением все становилось на свои места. Хотя я и испытывал замешательство и скованность в его присутствии. Сегодня я определил для себя совершенно точно: с ним спокойнее, чем без него. Я старался молчать и не торопился с

высказыванием своего мнения. Не все ведь можно произнести вслух. Наверное было бы лучше, если бы говорил один офицер. Я боялся его вопросов. Я боялся его двусмысленности. Я боялся его театральности. Но ничуть не хотелось, чтобы он ушел. Как это было в прошлый раз. Тогда он мне показался однозначно чужим. Сегодня же я окончательно пришел к выводу, что из всех зол нужно выбирать более эстетичное. И те особые отношения, которые впрямую или косвенно предлагались офицером, подтверждали правильность моего выбора. Я постепенно учился ориентироваться в нестандартной ситуации. Нельзя пренебрегать *ш а н с о м*. Пусть даже *з л ы м*. Он может *н и к о г д а* больше не повториться.

— Вы продолжаете вести свои записи?..

— ...

— Я несколько раз замечал, что у Вас до самого утра горит свет...

— Я иногда при свете засыпаю...

— Но, судя по разбросанным на столе бумагам, у Вас активная внутренняя жизнь... Интересно, о чем Вы чаще думаете?.. О прошлом?.. Или о будущем?..

— О том, чего в жизни не бывает...

— Мне кажется, Вы имеете в виду свободу... Ха-ха-ха-ха... Не правда ли?..

— ...

— Я тоже часто о ней думаю... Ха-ха-ха-ха...

— Разве в моем положении можно думать о чем-нибудь другом?..

— Не заблуждайтесь...

— !?.

— Ваша жизнь, например, сейчас зависит от меня одного... А я при этом отношусь к Вам, скажем, неплохо... Моя же — зависит от людей, которые меня ненавидят... Тупая ненависть всех заключенных — ничто по сравнению с отношением ко мне многих «своих»... Неважно, кто конкретно они... Я просто говорю о зависимости... О бесконечной прямой зависимости от чужой ненависти... Ха-ха-ха-ха... Бывает и так... Еще неизвестно, кто из нас свободнее... Вполне серьезно... Только выглядим по-разному... Ха-ха-ха-ха...

— ...

— Не рассуждайте исключительно с точки зрения жертвы... Я никогда не поверю, что Вы живете лишь предлагаемыми обстоятельствами...

Чем больше человек ограничен в своих действиях, тем крепче он привязан к своим фантазиям... Именно эти фантазии составляют большую часть нашей жизни... Не правда ли?.. Ха-ха-ха-ха... Вот представьте себя на моем месте... Не бойтесь... Это совсем не сложно...

— ...

— Действительно... Представьте... Мне интересно, какие новые эмоции Вы испытаете... Только пусть Вам не кажется, что для этого мир должен перевернуться... От перераспределений ролей между людьми мир не меняется... Да, лично для Вас он станет временно другим... Временно... Но не более... Попробуйте...

— А Вы могли бы представить себя на моем?..

— Не знаю, верите Вы мне или нет, но я уже давно ощущаю себя в полосатой шкуре... Мне только не хватает черной бритости головы и такой же небритости лица... Внутреннее же состояние едва ли отличается от вашего... Вы ждете своего часа... Я — своего... Никто не знает, чей пробьет раньше... Как ни странно, при нашей первой встрече именно себя я увидел на вашем месте... Сначала я наблюдал за Вами со стороны... И не подходил до тех пор, пока Вы не перехватили мой взгляд... Я обратил внимание, что в ваших глазах не было ни страха, ни тоски, ни серьезности... Так мне показалось... В них читалось то, о чем я постоянно думал сам: скорее бы все закончилось... В них была с трудом скрываемая ирония... Это меня подкупило... Ваше одинаковое презрение и к победителям, и к побежденным... Ко всем и ко всему... К слабым за то, что они отвратительны своей беспомощностью... К сильным за то, что они с удовольствием этой беспомощностью пользуются...

Я боялся, что хорошее настроение офицера может в любую минуту внезапно оборваться. Потому что все, о чем он говорил, вряд ли могло долго провоцировать на положительные эмоции. Хотя его смех, конечно, был больше сопроводительным. Я поймал себя на мысли, что ни одно его высказывание не вызывало у меня ни протеста, ни раздражения, ни прозрачной ухмылки. Мало того, большинство его мыслей были *действительно* близки моему молчанию. И может быть, я с ним даже во многом бы согласился. Если не задумываться над тем, где и когда происходил наш разговор. Офицер, слава Богу, старался сам отвечать на свои же вопросы. Освобождая меня от принудительного открывания рта. Казалось, он боялся нарушить ритм своего сольного выступления.

Боялся спугнуть покорность своего единственного слушателя. Боялся потерять нить придуманного им же представления. Я находился в *зоне особого внимания*, которая беспощадно контролировалась его гипнотическим взглядом — гипнотическим словом — гипнотическим смехом. Офицер настойчиво лепил из меня себе подобного. Ему очень хотелось лишний раз взглянуть на себя со стороны. *Н е н а ф о р м у — н а с о д е р ж а н и е*. А может быть, я *действительно* мог бы оказаться на его месте? Офицер совсем меня запутал. Ха-ха-ха-ха.

— Когда я узнал, что Вы знакомы с Вагнером, я был ошеломлен... Великий Рихард никогда бы мне не простил, если бы я лишь формально засвидетельствовал вашу смерть... Он — велик... А это значит, что он сам выбирает себе слушателя... Выходит, и Вы отмечены его особой печатью... Выходит, и Вам позволено прикоснуться к его тщеславию и эгоизму... Это он продлил Вам жизнь... Благодарите Вагнера... Он никогда не ошибается... Вы осознаете, что Вы — его слуга?.. Я специально подчеркиваю слово «его»... Впрочем, как и я... Что Вы на это скажете?..

— ...

— Мы с Вами — соучастники... Ха-ха-ха-ха...

— ...

— Надеюсь, Вас не раздражает мой высокопарный стиль?..

— Нет, что Вы... Я так давно не слышал нормальной человеческой речи...

— Да... Я, к сожалению, тоже... Вот и хочется перед Вами поупражняться в творчестве... Ведь разговаривать в лагере не с кем... Да и разговаривать здесь неуместно... Это единственное место в мире, где звуки не сливаются в слова...

— ...

— У меня есть для Вас одна хорошая новость...

— ?!.

— Я уже получил предварительное разрешение начальства на ваше свободное перемещение... За пределы лагеря... В любое время суток... Под-мою-личную-ответственность!.. Так что с конца будущей недели мы будем общаться каждый день... Набирайтесь терпения выдерживать мою словесную активность... Это тоже будет входить в ваши обязанности... Ха-ха-ха-ха... Имейте в виду, я — агрессор... Ха-ха-ха-ха... К тому же, надеюсь услышать от Вас что-нибудь интересное... Мне кажется, Вам есть чем

меня удивить... Я уверен, что со временем Вы разговоритесь... И докажете, что Вы не только слушатель по принуждению...

— Вы обрушили на меня столько информации...

— С ней Вы легко справитесь...

— Обещаю через отведенную мне неделю быть в форме...

— Кстати, что касается формы... Она у Вас тоже появится... Настоящая... Солдатская... И даже по размеру... Пленным Вы будете числиться только на бумаге...

— И в душе...

— Не злоупотребляйте пессимизмом... Он уже давно потерял свою привлекательность... Живите сегодняшним днем...

— Хорошо... Обещаю плыть по течению...

— Плыть нужно с бодрым настроением...

— ...

— Пусть этот апельсин будет авансом за вашу будущую преданность...

— ...

— Ха-ха-ха-ха...

— ...

— Ловите...

Огненный шар я поймал с неумышленной ловкостью. Офицер на прощание кокетливо подмигнул и чуть развязным движением нарочито аккуратно закрыл дверь. Я опять остался один. Наедине с апельсином и с еще большим числом, чем вчера, загадок и замешательств. То, что я зачем-то понадобился офицеру, было понятно. Но при чем здесь Вагнер? Почему офицер все время смеялся? К чему были недвусмысленные намеки на свободу? Ведь если я ему нужен, то нужен именно здесь, в лагере. Из любых предположений можно было сделать один точный вывод: мне предлагалась игра, правила которой я не знал. Но пренебречь этим предложением было не в моих силах. Временами я все еще напоминал себе человека. А значит, и от меня в чем-то могло зависеть мое дальнейшее существование. Я старался себе угодить.

5 АВГУСТА

На практике все оказалось гораздо запутаннее и противоречивее.

Чем активнее я представлял свою будущую жизнь, тем больше меня мучил комплекс противоестественного везения. А то, что *везение есть по природе явление противоестественное*, как аргумент меня совсем не успокаивало. Я полностью переподчинился собственному предчувствию. С его помощью, вопреки разуму и логике развития событий, во мне начали появляться бесчисленные непредсказуемые страхи. Я вдруг начал вздрагивать практически от каждой стрельбы. Чего не было со мной даже в первые дни лагеря. Я начал заниматься разбором бредовых снов. Чего не делал никогда прежде. В разных мелочах мне начали мерещиться тайные знамения и угрожающие приметы. Что никак не укрепляло мое психическое состояние. Я начал вдруг размышлять о совести. И постепенно убедил себя в неизбежности скорого наказания. Хотя, в чем выражалось мое преступление, я не понимал. Или, по крайней мере, делал вид, что не понимаю. Каких только рискованных мыслей я не перебирал в своей голове за последние ночи. Но к реальности ни одна из них не имела ни малейшего отношения. К реальности я их привязывал насильно. Я с трудом стал контролировать свое поведение. Несколько раз даже забывал о еде. Постоянно тянуло спать. Все свободное от автомобиля время проводил, лежа в забытьи. Из последних сил мне хотелось это время растянуть. Растянуть до бесконечности. При этом я знал, что моих сил на обратный ход никогда не хватит. Если бы у меня были часы, я, наверное, отломал бы у них стрелки.

Как я ни настраивал себя на сегодняшнее утро, оно все равно застало меня врасплох. Будто свалилось с пасмурного неба. Совсем не по расписанию. И свалилось уже по ту сторону разделенного мира. За жирной чертой образцовой лагерной цивилизации. С поднятием шлагбаума границы моего перемещения в пространстве резко расширились. В сознании восстановилось давнее понятие о направлениях и сторонах света. Сердце заколотилось взахлеб. Кровь вспышкой жара напомнила о своем существовании. Но оживления в настроении не наступило. Как не изменилось и само физическое состояние. Я по-прежнему чувствовал себя намертво привязанным к сиденью. Не зная, куда пристроить вдруг удлинившиеся ноги. Новая форма то ли своим специфическим запахом, то ли непривычной шершавостью сковывала и без того осторожные движения. Страшно хотелось пить. С какой откровенной жадностью я променял бы сейчас обрушившуюся на меня *лавину свежего воздуха* на

глоток пусть даже теплой, пусть даже мутной, пусть даже грязной воды. Но, увы. Все, чем была забита моя раскаленная голова, не могло утолить жажду. Я сидел весь в ожидании команды от офицера. Однако, в отличие от наших прошлых встреч, сегодня офицер не торопился с назойливыми разговорами. Он даже не смотрел в мою сторону. Лишь однажды выразительно взмахнул рукой. Сегодня он изменил тактику своего поведения. Возможно, таким образом он демонстрировал свою строгость. *Н и к а з а н и е е с т ь о д н а и з ф о р м п о к р о в и т е л ь с т в а.* А первые его слова прозвучали уже в дороге, когда ярко-красные ворота лагеря бесследно растворились в боковом зеркале. «Через пару часов вернемся». Неожиданно эта фраза как бы подтолкнула меня. И я непроизвольно чуть прибавил скорость.

Двухчасовая свобода стремительно мчалась сквозь узко вырубленный лес. На протяжении многих километров не промелькнуло ни одного поворота, не появилось ни одной встречной машины. О людях не могло быть и речи. Поэтому ничто не мешало моей водительской выучке показывать свои способности. Мне очень хотелось поднажать еще. Еще и еще. Чтобы скоростью перебить жажду. К чему это могло привести, не знаю. Слава Богу, руки и ноги больше не прислушивались к моим мыслям. Теперь они подчинялись только офицерскому приказу. *С е г о д н я о п я т ь с т а н о в и л с я с о л д а т о м. П о с о в м е с т и т е л ь с т в у.* Куда мы направляемся, я представления не имел. Тем не менее, определил точно: мы движемся на север. Офицер продолжал молчать. И это уже начинало тревожить. Но повернуть голову в его сторону, даже из любопытства, я все равно не решался. *Н у ж н о п р и в ы к н у т ь к с в о е й н о в о й р о л и.* Так бы, наверное, картина выглядела и дальше, если бы офицер неожиданным жестом вдруг не остановил машину. Я резко затормозил. Несколько капель пота с визгом сорвались с подбородка. Пока правый рукав решительно вытирал лицо, передо мной, будто улыбающийся призрак, возникла сверкающая офицерская фляга. «Передохните. Выпейте воды. Нам некуда торопиться. Можете выпить всю.» Времени на размышление не было. Впрочем, как не было и сомнения, брать или не брать. Замедленная передача фляги больше напоминала рукопожатие. Потом же я не медлил. Не стесняясь офицерского взгляда, жадно пил. Как мне казалось, холодную воду. Много ли нужно человеку, чтобы увидеть солнце в пасмурный день.

Я возвращался к жизни. Точнее, к жизни меня возвращал офицер. Он действительно прав — жить нужно сегодняшним днем. Не стоит пренебрегать здравым смыслом, даже если он исходит от врага. Мой сегодняшний день приобретал непривычные краски. Становясь светлее обычного.

Теперь я мог хладнокровно заглянуть в физиономию победителя. В очередной раз он попал в точку. В очередной раз доказал свое психологическое превосходство. В очередной раз его интуиция переломила мое сознание. Угадав момент. Запросто. Небрежно. Неужели он так тонко меня чувствует? Неужели он все мерит по себе? Неужели мы с ним настолько похожи? Может быть, это скрытая форма сострадания самому себе? Я одновременно полувозмущался, полуудивлялся и полурадовался. Причем, отсутствие жажды стало лейтмотивом моего изменившегося состояния. Я глубоко и воодушевленно вздохнул. Но офицер и здесь сыграл на опережение. Первые же звуки моей благодарственной речи были погребены под обломками продолжительного азартного смеха. Спротивление было бесполезно. Все, что я смог сделать, это улыбнуться. А знакомого взмаха было достаточно, чтобы продолжить путь. Через несколько километров машина уперлась в развилку. Высокий полосатый столб указывал направо: «BERLIN». Указатель налево был покрашен. Не получив команды, я остановился. На мой немой вопрос: «Нам куда?» последовал немой выразительный ответ: «В обратную сторону».

19 АВГУСТА.

Поворотом налево был проезд к маленькому, почти безлюдному городку. Офицер уже несколько раз отправлял меня туда за парой бутылок его любимого красного вина. Охрана знала меня в лицо. Так что до сих пор еще не приходилось документально подтверждать свои исключительные права-обязанности. Даже при моих самостоятельных выездах из лагеря шлагбаум поднимался с приближением автомобиля автоматически. Где-то глубоко в душе зародилось чувство гордости по этому поводу. По поводу оказываемого мне доверия. Но вступать в конфликт с совестью не хотелось. Поэтому я по привычке делал вид, будто не замечаю подобных мелочей. *С о в е с т ь — с у г у б о р а з р у ш и т е л ь н ы й ф а к т о р.* А я настроился на выживание серьезно. Выбросив из головы

все недавние сомнения и страхи как ошибочные и вредные. Окружающий мир перестал существовать в устоявшихся границах. Он поменялся местами с моим миром внутренним. Постепенно превратившись в тяжелую однородную массу. Застыв на самом дне перестроившегося сознания. В пустых разговорах с самим собой я больше не отождествлял себя с полосатой лагерной толпой, которая почему-то количественно не сокращалась. Вопреки логике. Несмотря на частую стрельбу и целый ряд новых виселиц. Я теперь законно принадлежал другим обстоятельствам. В моих оживших движениях начали появляться замашки скорее служебного командированного, чем военнопленного. Пусть даже с особым статусом. *Ничто так не развращает воображение, как надежда.* Я стал быстрее и целеустремленнее передвигаться по территории. Мог нерасчетливо хлопнуть дверью машины перед кем-нибудь из администрации. В немой речи стали мелькать ничего не значащие междометия. Короче, я инстинктивно настраивался на новую волну. Я готовился к свободе. Вот только готовилась ли свобода к встрече со мной?

В бумажном пакете под мышкой было вино. Я направлялся к офицеру доложить о своем возвращении. Хотелось, чтобы он сразу же меня отпустил, и я мог пойти к себе и хорошенько выспаться. За последние дни офицер чаще использовал меня в качестве собеседника, чем водителя. По вечерам у него портилось настроение. Он не знал, куда себя деть. Приходилось составлять ему компанию. В постоянно действующем режиме: вино — Вагнер — философские монологи. Если раньше я проводил ночи в бессонном одиночестве, то теперь алкоголь, смех и сигаретный дым время от времени создавали иллюзию очередного календарного празднования. Но ни в каком продолжительном кошмарном забытии нельзя было представить себя с поднятым бокалом многолетнего бордового вина под игривый хохот распоясавшихся майстерзингеров. Плюс злющий собачий лай. Плюс перебивающие друг друга крики, крики, крики — одновременно. Лишь с начинавшейся стрельбой накатывало успокоение. После нее, как правило, вокруг наступала мертвая тишина. Вокруг, но не в самом круге. *Война — это не только смерть. Это еще и размеренная жизнь.* В этом я убеждался на собственном опыте. В этом меня убеждал офицер. «Смерть нужно воспринимать только как личную собственность. Чужая смерть есть только подтверждение твоей жизни, не более. Только смерть делает

человека настоящим эгоистом». Он из вечера в вечер высказывал в разной форме одни и те же мысли. Которые легко запоминались. Которые выбросить из головы было невозможно. Которые с каждым глотком вина врезались в память все глубже. Я с офицера не сводил глаз. Мне все время казалось, что он вот-вот произнесет для меня нечто важное. Например, объяснит, почему именно я сижу за этим столом. Или почему постоянно звучит одна и та же музыка. Мне хотелось знать больше, чем предполагал мой мозг. Это было больше, чем любопытство. Но офицер был далек от моего взгляда на ситуацию. Ему просто нравилось, что его внимательно слушают. Ему нравилось, как я выполняю свои обязанности. Благодарственная улыбка не сходила с его лица. А когда я однажды на прощание сказал, что могу дословно повторить любую его фразу, он с размаху меня обнял и, пошатываясь, долго не выпускал из крепких объятий. Искренних пьяных дружеских объятий. Какие только бывают при жизни.

Алкоголь стал регулировать наши отношения независимо от лагерных реальностей. Выпивать приходилось ровно столько, сколько обычно стояло на столе. Одним словом — все. Правда, мое физическое состояние офицер слегка поддерживал различными экзотическими сладостями. Он даже заботливо заставлял меня есть. Но главным источником моей негибкой бодрости служил мой же внутренний страх. В данном случае, страх потерять контроль над собой. Поэтому каждый вечер все внимание концентрировалось на собственных мыслях и движениях. Я должен был предвидеть любое следующее действие офицера. Как ни стыдно было себе в этом признаться, *я должен был вовремя угодить. Права на ошибку у меня не было.* Вполне конкретно представляя все, что офицер для меня сделал, я все равно не верил в его реальную доброту. Несмотря на свои привилегии. Несмотря на ежедневный шоколад и вино. Несмотря ни на какие пьяные нежности. На войне добрых людей не бывает. На войне бывает только *интерес*. А случайные добрые поступки — всего лишь *копипутствующий фактоф*. Совершенно определено: *аномальный*. Думаю, если офицер и в нетрезвом виде умел читать чужие мысли, то он наверняка со мной был согласен. Тем не менее, благодаря такому аномальному исключению, я сидел за одним столом со своим врагом и думал о том, каким словом или жестом улучшить ему настроение.

Потому что больше всего я боялся увидеть его злым. Потому что злым я его ни разу еще не видел. Мне иногда казалось, что я умело управляю его психологическим состоянием. Нет-нет, не казалось. Это было действительно так. Ему хотелось расслабиться — он расслаблялся. Я же ни на минуту не терял самообладания. В моем сознании четко взаимодействовали два надзирателя. Один открыто следил за офицером. Другой жестко контролировал развитие моих мыслей. До сих пор их бдительность была безупречной.

Неожиданно в кабинете офицера настужь открылось окно. Было видно, как он стоя разговаривал по телефону. Не знаю, видел ли он меня в тот момент, но на всякий случай мой шаг ускорился. Я понимал, что размахивая руками излишне активно, однако ничего поделать с собой не мог. Вдруг офицер меня все-таки видел? Значит я должен был продемонстрировать ему результаты моего перевоспитания. Не зря же он взял меня на поруки? В данном случае я понимал его оправданные амбиции. Ведь именно он оттачивал мой новый образ. Ведь именно он шлифовал мой новый характер. А вот я сам узнал бы себя, увидев сейчас со стороны? Может быть, я стал совсем другим? Или, наоборот, таким был всегда, того не подозревая. Нет, мне не хотелось отвечать на поставленный вопрос. *Человек никогда не меняется. Он лишь имитирует этот процесс. Человек рождается таким, каким умирает.* Три ступеньки я преодолел одним прыжком. Очередное задание офицера было выполнено. Осторожно постучав в дверь, я услышал в ответ знакомое: «Наконец-то».

29 АВГУСТА.

Сегодня ночью без предупреждения в лагере отключили свет. Офицер даже не стал выяснять, по какой причине. Ни слова не прозвучало по этому поводу. Он только проверил, насколько плотно зашторено окно, и, будто выстрелив, чиркнул несколькими спичками сразу. Мы сидели при свече. При свече возникало новое ощущение пространства. При свече у каждого окружающего предмета появлялся двойник. При свече бордовое вино превращалось в черное. Мне раньше не приходило в голову, что именно при свече человеческое лицо становится гораздо выразительнее и естественнее, чем при любом другом, более ярком свете. С неожиданным

отключением света в нашем разговоре наступила пауза. *Незапланированная минута молчания.* Мы как бы заново начали присматриваться друг к другу, привыкая к внезапно потерявшей контуры обстановке. Офицер устало снял очки. Потом долго и тщательно их вытирал. Потом аккуратно уронил на стол. Потом, коснувшись моего локтя, попросил наполнить бокалы и перевернуть пластинку.

— Ненавижу тишину... После нее вечно что-нибудь случается...

— Да, Вагнер все время Вас спасает...

— Вас, кстати, тоже...

— ...

— Не обижайтесь на мою резкость... Но я просто люблю точность...

— ...

— А что касается этой пластинки, то я ее слушал бы всегда... Даже имея другие... К сожалению, не все можно выразить словами...

— ...

— Только эта пластинка способна удержать меня в состоянии равновесия...

— ...

— Каждый раз я открываю для себя какие-то новые звуки... Которые раньше почему-то не слышал... Надоест она может лишь тому, кто ее не слушает... Или не понимает... Точнее, кто не понимает ее, как я... Ха-ха-ха-ха...

— ...

— Без противоречий жизнь теряет всякий смысл... Не правда ли?.. Я же никогда не встречал ничего более несовместимого, чем смех и Вагнер... Что Вы скажете на этот счет?.. По-моему, «Майстерзингеры» — плод насилия композитора над самим собой... Хотя и в очень веселом исполнении... Ха-ха-ха-ха... Вы уже устали меня слушать... Ваши глаза вот-вот закроются...

— Это кажется из-за полумрака... Просто Ваше лицо ближе к свече, чем мое...

— С другой стороны, если насилие рождает музыку, оно — оправданно...

— Вы говорите о насилии вообще?..

— Разве одно насилие чем-то отличается от другого?.. Оно ведь ка-

сается только того, от кого исходит... А не того, против кого направлено... Не пытайтесь утверждать обратное... Моя жизнь уже давно опровергла подобную сентиментальность... Советую и Вам не заводить себя в тупик...

— Если говорить о насилии как об игре...

— Согласен... Но при одном условии... Способность человека убить себе подобного всегда подразумевает способность убить самого себя...

— Вы — идеалист...

— По-моему, Вы совершенно не хотите вырваться из круга, в котором оказались... По своей сути война намного разностороннее, чем Вы ее представляете... Она не только уродует и уничтожает... Она может закалять... Она может воспитывать... Она может облагораживать... Ею можно даже наслаждаться, в конце концов... Все зависит от того, какие задачи перед ней ставить... Зачем лицемерить...

— До сих пор только она ставила задачи передо мной...

— В таком случае, пора меняться ролями...

— ...

— Раньше перед Вами стояла одна проблема — выжить... Вы с ней, похоже, умело справились... Не останавливайтесь на достигнутом...

— Вы имеете в виду что-то конкретное?..

— Да... Надо уметь извлекать пользу из всего... Даже из того, что ненавидишь... Выжить — не самоцель... Цель — выжить красиво... Не стоит забывать о разнице между убогим и божественным... Вы же эту разницу чувствуете... Как мне кажется... То, что Вы никогда не стреляли в человека, не пошло Вам на пользу...

— А Вам часто приходилось?..

— Что за абсурдный вопрос?! Ха-ха-ха-ха... Конечно...

— И в какую часть тела Вы обычно целились?..

— Всегда старался на уровне грудной клетки... Поближе к сердцу...

— ...

— Мне не нравится, когда стреляют в голову...

— ...

— Надеюсь, надо мной тоже кто-нибудь сжалится... Ха-ха-ха-ха...

— ...

— Налейте вина... В темноте пьется с еще большим удовольствием... За последние дни я убедился, что с бокалом в руках живетсЯ гораздо азартнее... Жаль, что этого я не понимал раньше... Ха-ха-ха-ха...

— Наверное, не с кем было пить...

— Желающих пить, как и желающих жить, всегда предостаточно...

— ...

— Просто не с кем было разговаривать... А выпив, очень хочется поговорить... Наливайте... Не жалейте... Для себя никогда ничего не жалейте...

Я зафиксировал в руках дрожь. Пока, правда, она была больше внутренней. Но совсем не хотелось, чтобы нервное напряжение вырывалось наружу. Четвертая бутылка открылась только благодаря скрытому трусливому упорству. Сейчас я впервые задумался над тем, какие силы смогут меня отсюда увести. И вообще, будет ли мне разрешено сегодня уйти. Офицер явно не собирался останавливаться. Напротив, он резким отточенным движением надел очки и даже взбодрился. Я перестал вдруг видеть его глаза. Вместо них загорелись еще две свечи. Причем, стекла очков слепили намного сильнее самого источника света. Мой контроль над ситуацией неожиданно сократился. *Ночь превращалась в единобожество при свечах.* Офицер бесконечно улыбался. Интересно, подозревал ли он, что улыбка без глаз — и объективно, и субъективно — жуткое зрелище. Скорее всего, нет. Я судорожно пытался найти хоть какие-то слова. Офицера начинало раздражать мое молчание. Внешне это пока не проявлялось. Но я это чувствовал.

— Странно получается... Вы все время посылаете меня за двумя бутылками, а на столе каждый раз не меньше четырех...

— Вот повод, наконец, и Вам улыбнуться...

— Чтобы не истощать Ваши запасы, я мог бы загрузить полную машину.

— Принимаю-принимаю ваш юмор... Но для этого есть другие люди... Не отнимать же Вам у них работу... Думаю, что Вы убедились воочию — в лагере нет бездельников... Это четко отлаженный механизм... В котором не бывает лишних деталей... Вы ведь не сомневаетесь... С вашим-то опытом...

— Но...

— У меня просто нет другого повода отправить Вас за пределы тер-

ритории... Одного... Маленькая проверка на психическую устойчивость... До Вас уже приходилось быть свидетелем дурных примеров... Не каждая нервная система выдерживает испытание видимостью свободы... Заманчиво, наверное...

— Да, но...

— Мне приятно постоянно убеждаться в вашей надежности... Вот только скажите мне честно, Вам ни разу не приходила в голову мысль сбежать?..

— Разве я похож на самоубийцу?..

— Самоубийцы никогда на себя не похожи... Именно поэтому я и спрашиваю...

— Нет... Я из терпеливых...

— Ваше откровение подкупает...

— Нет... Речь не идет о враждебном терпении... За последний год я в первую очередь научился терпеть самого себя... Научился себя переубеждать... Не только в мелочах... Главный враг человека — сам человек... Я — не исключение... Иногда, правда, удается заключить с этим врагом перемирие... Наверное, это и есть компромисс... Это и есть терпение... Может быть, я заблуждаюсь...

— А может быть, это — тщательно замаскированная трусость?.. Или страх?..

— Со стороны виднее...

— Хотя в трусости, как мне кажется, куда больше естественности, чем в смелости... Ха-ха-ха-ха...

— ...

— Похвально, что Вы не боитесь в этом признаться... Вот Вам и парадокс...

— ...

— Наливайте-наливайте... Наши бокалы опять пусты...

— А еще собираетесь загрузить полную машину... Ха-ха-ха-ха...

Офицеру доставляло удовольствие выстраивать вдоль стены шеренгу из пустых бутылок. Он как бы игриво подстегивал себя немедленно приняться за следующую. *Жадность наступала. Жадность приближалась к передовой. Жадность становилась явной и зримой. В жадность превращался весь интерьер.* На фоне моей пропитанной

воском усталости. На фоне появившегося пренебрежения к вину. Нет, пока я еще сопротивлялся безнадежности и пьянству. Хотя ограниченность физических возможностей уже ощущалась. Вязкое тело окончательно срасталось с подвальной обстановкой. А неконтролируемые мысли все реже стыковались с моими желаниями и протестами. Тем не менее, открыв пятую бутылку, я спокойно исполнял приказ. Офицер с хитростью выжидал, пока я замру без движения. Потом замедленно протянул руку. Точнее, мягко накрыл своей ладонью расслабленный на краю стола мой кулак. Даже после такого количества выпитого я почувствовал, что кровь может обжигать щеки иногда сильнее, чем вино.

— Дайте мне вашу вторую руку...

— ...

— Я не жалею, что сохранил Вам жизнь...

— ...

— А Вы бы спасли меня?.. Если бы это было в вашей власти?..

— Я...

— Нет-нет... Лучше не отвечайте...

— ...

— Потому что, если скажете «да»... Я Вам не поверю...

— ...— Если скажете «нет»... Могу и пристрелить... Прямо сейчас... Ха-ха-ха-ха...

— ...

— Пусть лучше мой глупый вопрос останется загадкой...

— ...

— У Вас теплые руки... Люблю людей с теплыми руками... давайте сейчас выпьем за всех, у кого теплые руки... Когда-то у меня они тоже были теплыми...

— ...— Не сердитесь на меня... Ну, просто опять неудачно пошутил...

— ...

— Вы думаете, я способен застрелить человека с бокалом в руках?..

— ...

— В присутствии Вагнера?..

— ...

— Сядьте со мной рядом...

— ...

— Только прежде сделайте музыку на полный звук...

— ...— Пусть сегодня нас все ненавидят... За наш праздник...— ...

— Посмотрите мне в глаза...

— ...

— Ха-ха-ха-ха...

— ...

— Почему Вы не смеетесь?.. Я хочу, чтобы Вы смеялись!.. Офицер то ли дирижировал, то ли просто размахивал моими руками, пытаясь выдать из меня хотя бы улыбку. Я был готов повиноваться, но изменить выражение своего лица был не в состоянии. Оно существовало уже само по себе. *Вне тела. Вне сознания. Вне принадлежности.* Роняя голову на плечо офицеру, я в последний раз сфотографировал комнату. Свеча размазывала по столу последние блики. Брошенные бокалы бережно хранили остатки черной крови. Больше я ничего не видел. Тьма и глухота все ближе подкатывали к горлу. Высвободить руки из плена я не решался, и на свой страх и риск, опережая события, закрыл глаза. Чье-то горячее дыхание обжигало мне шею. Какие-то странные силы превращали меня в найденного кем-то ребенка. Каким-то чудом вся вязкая, липкая тяжесть превращалась в романтическую невесомость. *Я терял память. Я терял память в объятиях. Я терял память в объятиях Вагнера.*

9 СЕНТЯБРЯ.

Бывают сны, которые похожи на театральное действие гораздо больше, чем сам театр. В прямом смысле слова. Без художественного преувеличения и высокомерного сарказма. Я даже думаю, что у таких снов есть свои режиссеры. Уж слишком много всего в них намешано. Слишком много в них деталей, частных и замедленных движений. Не претендуя на соавторство или собственность, я уверен, что такие представления можно смело выпускать из подполья. Их можно показывать на любой сцене. Даже под открытым небом. Их можно демонстрировать в любом кинотеатре. *В кинотеатре бесконечного фильма*, например. Независимо от вкуса и наклонностей публики. А может быть, вопреки всем вкусам и наклонностям одновременно. *Настоящий*

зритель всегда был продуктом предлагаемого ему искусства. Так и я оказался продуктом собственного сна. Сна, который являлся мне по ночам уже не один раз. Который постоянно убеждал меня в моем *сонном происхождении*. Который стал определять степень моей привязанности к *реальному дневному спектаклю*. Который пытался помочь мне взглянуть на себя со стороны. Этот сон объединил в сыгранный актерский ансамбль вечных победителей и окончательно побежденных. Но роли распределил сообразно своей *высокой эстетике*. Я сначала был в замешательстве от происходящей путаницы. Однако недолго. Война быстро сориентировалась в непривычной ситуации. Она запретила задавать вопросы и, конечно же, давать оценки и делать выводы. Что входило исключительно в ее компетенцию. Можно было лишь строго следовать ее трем основным указаниям: 1) пристально смотреть, 2) внимательно слушать, 3) активно участвовать. Не более. Поэтому я не сопротивлялся. Скрыто делая короткие записи-фотографии. *На войне выживает послушный.*

СОН

Балет — опера — драма — пантомима — фильм.

Музыкальное сопровождение: Рихард Вагнер. Фрагменты оперы «Nürnbergersingers».

В 9 картинах.

Картина №1

Центральная площадь лагеря. Яркий солнечный день из моего открытого окна. Огромная толпа заключенных. Далеко в середине полосатой толпы, на каком-то возвышении, стоит оратор. Такой же заключенный. Его голоса почти не слышно. Его постоянно прерывают дружные выкрики: «Да здравствует свобода!». Потом я оказываюсь в самой гуще собравшихся. Но почему-то очень маленького роста. Из-за этого я начинаю испытывать неудобства. Мне совсем не видно оратора. Как я ни подпрыгиваю, как ни стараюсь, кроме чужих спин, ничего не удастся увидеть. В остальном же я с избыточной радостью сливаюсь с толпой. Я кричу, когда кричат все. Хлопаю, когда хлопают все. Плачу от радости, когда

все плачут. Разрывая горло, сквозь слюну гремит мое: «Да здравствует свобода!». Я теряю себя из виду.

Картина №2.

Камера постепенно приближается к оратору. Его голос слышится все отчетливее. Становится ясно, что он поет. Толпа же наоборот медленно замолкает. Над площадью разносится Вагнер. Снизу оратору подают длинную палку с привязанным к ней куском белой материи. Он начинает разъяренно размахивать ею над толпой. И все опять неистово кричат: «Да здравствует свобода!». Себя среди кричащих не нахожу. Камера показывает лицо оратора крупным планом. На самом деле у него во рту кляп. Вдруг вся толпа становится агрессивной. Люди не могут простить обмана. Камера опять показывает лицо оратора. Но уже бездыханно лежащего на земле. Это всего лишь чучело. Один из заключенных бьет по нему ногой. Чучело разлетается.

Картина №3.

Камера показывает танцующую пару. Я узнаю себя и офицера. Но при этом никак не могу поверить своим глазам. Потому что с детства не умел и не любил танцевать. Неужели самой природой в нас заложены способности, о существовании которых мы даже не подозреваем? Элегантно держа за руку, офицер вращает меня вокруг моей оси. На носке левой ноги. Свободная рука взмывает вверх. Гром аплодисментов обрушивается на площадь. Оказывается, они предназначены только нам. Так как из всех танцующих мы остались вдвоем. Крики «браво» и падающие неизвестно откуда букеты цветов. Мы поочередно кланяемся. Вдруг я вижу, что за нами кто-то наблюдает. Из окна одного из административных корпусов. Я пытаюсь разглядеть это лицо. Но стоит мне чуть приблизиться, как оно исчезает.

Картина №4.

От страха я крепко сжимаю руку офицера, которого тащу за собой. Но оглянувшись, вижу, что это совсем не он. Передо мной вооруженный солдат-надзиратель. Он уже тянет меня за руку в обратном направлении. Толкает в спину дулом автомата. Я понимаю всю безнадежность ситуации. Выражение лица меняется на жалкое и уродливое. Балетные атрибуты, манеры и походка бесследно исчезают. Перпендикулярная до сих пор осанка превращается в банальную сгорбленность. Сбитые в кровь ноги постоянно спотыкаются. С трудом удается

удерживать равновесие. Очередной же толчок надзирателя становится роковым. Я все-таки заваливаюсь на землю. И никакая сила не может меня поднять. Разозленный солдат пускает в ход сапоги и приклад. Однако до расстрела дело не доходит. На войне лежачего тоже бьют. Но иногда не убивают.

Картина №5.

Я сижу на высоком троне посреди пустой площади. Я к нему крепко привязан широкой черной лентой. Пошевелиться невозможно. Как невозможно укрыться от раскаленного полуденного пекла. Я вижу, что конец ленты валяется на земле. Думаю, как бы раскатать трон и упасть. Может быть, удастся себя размотать. Но, увы. Сдвинуться с места не получается. В это время из-за спины появляется офицер. Легкими балетными шагами, под музыку, он кружит вокруг меня. Заметив конец ленты, поднимает его. Подумав несколько секунд, начинает меня разматывать. Но таким образом, что в различных прыжках и вращениях заматывается сам. В конце концов, офицер падает без движения. У него — отрешенный, недоуменно-печальный взгляд. А я продолжаю сидеть на троне, так как мое освобожденное тело оказывается парализованным.

Картина №6.

Со всех сторон площади появляются заключенные с незажженными факелами в руках. Они полностью оккупируют все свободное пространство. Я, не понимая, что происходит, прикованный к трону, в буквальном смысле слова растворяюсь в нахлынувшей толпе. Постепенно из нее формируются плотные шеренги. Все заключенные в начищенных сапогах. На плечах некое подобие погон. Шаг за шагом вырисовывается четкий марш. Который переходит в неестественную громкую барабанную дробь. Создается впечатление, будто идет демонстрация показательных частей особой армии. Правда, пока безоружной. Чувствуется, что кто-то умело командует парадом. Но этот главный в поле зрения пока не попадает. Неожиданно и одновременно все поднятые над головами факелы ярко вспыхивают. Над площадью проносится одобрительный гул.

Картина №7.

Армия заключенных активно готовится к штурму близлежащих административных корпусов. Отдельные выкрики: «Да здравствует свобода!» сливаются в единое хоровое скандирование. Горящие факелы стано-

вятся оружием. Все бросаются к ближайшему зданию. Плотнo окружают его. Но врываться никто не смеет. Ждут команду. Я знаю, что нахожусь среди обезумевшей толпы. Знаю, что и я жду команду. Но отыскать себя не могу. Потому что все лица абсолютно одинаковы. Потому что у всех лиц одно и то же выражение. Вдруг в одном из окон, в котором отражается все происходящее вокруг, я вижу свое отражение. Свое настоящее отражение. Сначала мне кажется, что на самом деле я нахожусь внутри здания. Может быть, я так думал бы и дальше. Однако чей-то призыв к расправе уничтожает все видения. За разбитыми стеклами никого не оказывается. Хор майстерзингеров заглушает все остальные звуки.

Картина №8.

Небольшой двухэтажный корпус поглощает всю толпу, находящуюся на площади. До единого человека. Камера переносится внутрь здания. Группы разъяренных людей крушат все, что попадает под руки. Все подряд поджигается. Но ни одной живой души, оказывается, здесь не было. Здание безлюдно. Понимая это, толпа звереет еще больше. Я замечаю, что у двоих заключенных рядом со мной под полосатой формой виднеется форма армейская. Я перестаю понимать, что происходит. Пытаюсь выскочить назад, на площадь. Не получается. Все окна и двери объаты пламенем. На многих загорается одежда, и они начинают ее с себя срывать. Я вижу уже десятки людей в военной форме. Начинаю глазами искать моего офицера. Он наверняка должен быть здесь. Но огонь подбирается и ко мне. Кроме огня, мне уже ничего не видно. Смесь красного и желтого цветов беспросветно заполняет пространство.

Картина №9.

Опять вид из моего лагерного окна. Наступающий вечер. Горящий напротив административный корпус. Слабое эхо одинокого крика: «Да здравствует свобода!» Постепенно пожар превращается в большое удаляющееся пурпурное пятно. Оно направляется к горизонту. Поднимается до самого неба. Более красивого заката мне не приходилось видеть никогда. Красный свет медленно разливается по всей земле. Достигает моего окна. Бесконечное красное море. Я слышу его шепчущий плеск. Стоя на берегу. Я зачерпываю ладонями воду. Я с жадностью обливаю себя. Я иду навстречу закату. Медленно погружаясь в красное небытие. Я исчезаю в нем.

14 СЕНТЯБРЯ.

С тех пор, как офицер приобщил меня к вину, просыпаться по утрам стало намного тяжелее. Глаза открывались с большим трудом. Бывало, для этого требовались дополнительные усилия, которые не всегда находились сразу. Несмотря на то, что благодаря вечерним застольям и стечению мелких обстоятельств мое утро начиналось теперь значительно позже восхода. Болезненные вопросы лагеря: выживания, собственного здоровья — совсем перестали беспокоить мое существование. Даже относительно своего будущего я не утруждал себя иллюзиями. *Я пребывал в пресытившемся войной равновесии.* И непроизвольно стал замечать происходившие со мной перемены. Наконец-то прошла бессонница. Почти все проводимое в одиночестве время я полноценно отсыпался. Ничто не могло меня заставить пошевелиться без веской на то причины. Я действительно забыл, когда в последний раз выглядывал в окно или прикасался к печатной машинке. В полном смысле слова я стал ленивым. Но, слава Богу, моя жизнь, кроме как от офицера, больше ни от кого не зависела. Во всяком случае, сама же жизнь пока это подтверждала. Идти в гараж предстояло только к обеду. Поэтому можно было лишний раз поваляться на кровати. Можно было лишний раз потянуться в свое удовольствие. Можно было не торопиться. Не торопиться заглядывать в глаза действительности. Не вспоминать о том, что ты уже давно ею приговорен. Без права на помилование.

Сегодня утром меня окончательно протрезвил очередной неожиданный испуг. Мне показалось, будто я могу проспать что-то очень важное. Нет, никакое предчувствие меня не мучило. Просто иногда человеку вдруг взбредет в голову мысль о его персональной ответственности за все происходящее вокруг. Обычно это случается от безделья. Или из-за притупившегося чувства близкой опасности. А может быть, это плод потерявшего ориентацию воображения? Не знаю. *Быть может все.* И по отдельности, и вместе. Хотя то, что ежедневное вино внутренне дезорганизовывало и сказывалось на бдительности, я уже убедился, ловя на себе косые взгляды засыпавших на ходу ночных охранников. Порой у меня появлялось желание хлопнуть их по плечу. Не знаю, что меня останавливало. Пару раз я даже поприветствовал их воздушным поцелуем. Чем могло это закончиться? Думаю, вряд ли существует несколько вариантов ответа.

За окном шел дождь. Полусонные философские штампы подняли меня с кровати в небрежно-скверном настроении. Намежений каких-либо действий в голове не было. Слабость тела соответствовала слабости духа. Чтобы хоть чуть-чуть придать себе бодрости, требовалось срочно отыскать *виноватога*. Выпив захлеб проливающийся стакан, и сделав громкий, угрожающий всему миру выдох, я быстро его нашел. Конечно же, во всем было виновато вино. Вчерашнее бордовое вино. Плюс позавчерашнее бордовое вино. Плюс за все предыдущие дни вместе взятые тоже. Вино в моей жизни стало играть универсальную роль. Оно превратилось в величину постоянную. Точнее, постоянно действующую. Ему можно было предьявлять обвинения и объявлять благодарность. Причем, все происходило молча. Без ущерба для собственной совести. В зависимости от ситуации, в которой я оказывался. В зависимости от количества выпитого и времени суток. Сейчас, например, мое настроение нуждалось в оправдании. И хорошо, что было на кого свалить вину за давно исчезнувшую силу воли. Мнение, будто истина — в вине, по своей сути ошибочно. На практике я пришел к доказательству совершенно другой формулы: *в вине — оправдание истины*.

Дождь шел навязчивый, противный, одинокий. Это делало комнату не только матово-серой, но и беспощадно озвучивало ее колокольным холодом. Хотя еще вчера она была до безысходности душной. Всего за одну ночь лето резко превратилось в настоящую осень. В остальном же в моем окружении все было без изменений. Вот хотелось ли мне в действительности неожиданных фокусов, я не знал. Скорее всего, нет. *Моя жизнь была наградой за мое смирение*. Прочертив босыми ногами бессмысленную линию в противоположный угол, я остановился у стола. Но не сел. Аккуратно раздвинул пыльные шторы. И, не глядя на площадь, повернулся к ней спиной. Холод заставлял дрожать все мое тело. Но одеваться я не собирался. Мне хотелось себя помучить. Мне хотелось поучаствовать в развлечении. В любом виде. Любой ценой. Меня даже не смущало то, что в комнату в любую минуту мог войти офицер и увидеть меня голым. Так я стоял бы еще долго, если бы через какое-то время не началась переключка обрывистых истеричных команд. Если бы хлюпающая суета и цепной собачий лай не окатили меня циничным нервным раздражением. Я обернулся. О стекло разбивались прицельные капли.

Чтобы лучше рассмотреть картину происходящего, я открыл окно нараспашку. Лавина ледяного воздуха едва не сбила меня с ног. По комнате метался ветер. Дыхание прерывисто задрезбужало. От соприкосновения с дождем кожа рук приобрела вульгарный сиреневый оттенок. Который расплывчатыми пятнами постепенно перешел на все тело. Но согнанной на площадь толпе заключенных было намного мучительнее. Было приказано стоять с поднятой головой. *Показательная казнь состоится при любой погоде. Исторические события заслуживают повышенного внимания. Зритель — главное действующее лицо на сцене.* При этом я не мог понять, кого надо жалеть больше. Тех, кто навсегда покидал проклятый холод. Или тех, кому после воспитательной театральной постановки опять отправляться на работу. И вообще, нужно ли кого-то жалеть? Нужна ли кому-нибудь моя жалость? Впрочем, сейчас это не имело никакого значения. Поняв, что вести разговоры с самим собой неуместно и абсурдно, я отодвинул стол и приблизился к дождю вплотную. Приговоренные отличались от остальных тем, что чаще переминались с ноги на ногу. Наверное, убеждали себя в том, что они еще живы. Их было пятеро. Ровно столько, сколько болталось на ветру петель. *Число преступников должно всегда соответствовать числу виселиц.* Мое убежище становилось похожим на будку молчаливого суфлера. Подперев голову, я наблюдал за представлением. События развивались по закону жанра. Сначала длинный нравоучительный монолог одного из победителей. Потом не менее длинное, с резкими указательными жестами, обвинение. Потом запланированные безответные вопросы зрителям. Потом брызжущие эпилептической слюной угрозы. Потом всеобщий приступ молчания. Потом несколько заключительных выкриков. Потом, после паузы, особо торжественно прочитанный краткий приговор. Потом замедленная сцена, ради которой все собрались. С подчеркнутыми деталями и пренебрежением. Без звука. На лицах победителей — чувство исполненного долга. Среди побежденных — ни единого вздоха. Дождь не смущал никого. Несмотря на его усиление, спектакль шел без сокращений. Даже победители не спешили расходиться. Вместо аплодисментов прозвучала единственная автоматная очередь. В воздух.

Оторвав взгляд от виселиц, я вернулся к личной реальности. Я про-

тягивал из окна руки. Набирал полные ладони дождя. И торопливо умывался. Холоднее уже не становилось. Наоборот, мгновенно растирая стекавшие с лица ручьи, я слегка согревался. Я баловал себя водными процедурами и примитивным массажем. Я позволял себе активность. Вынужденная ограниченная физкультура как бы приводила меня в чувства. Так можно было дойти до смеха. Вот только окончательно пересохшее горло не позволяло улыбке вырваться наружу. Опять болезненно хотелось пить. Опять не совсем добрым словом вспомнилось вино, выпитое за все предыдущие дни. Взяв со стола стакан, чтобы налить воды, я вдруг... Я вдруг увидел в нем... Я вдруг увидел в нем таракана. Моего соседа по комнате. С изогнутыми вверх золотистыми усами. С оттопыренными в разные стороны задними лапами. Он, несчастный, тоже хотел пить. Наслаждаясь оставшимися на дне жалкими каплями. Я не стал его вытряхивать. Зачем беспокоить беззащитное существо. Пусть пьет. Сейчас был его черед. Сейчас я был способен понимать. Таракан же не обратил внимание на перемещение в пространстве. Он даже не знал, что находится у меня в руках. Главным было то, что у него не отнимали воду. У него ведь тоже было горло. Которое тоже могло пересохнуть. *Разве тараканья жажда чем-то отличается от человеческой?* Поэтому я терпеливо ждал, пока он напьется. Облокотившись на подоконник, я ожидал *своей очереди*.

Из стакана таракан выполз довольный, бодрый и, самое любопытное, абсолютно бесстрашный. Не раздумывая, он прошмыгнул со стекла прямо на руку. Быстро пополз наверх. Добрался почти до самой шеи. Важно повертев усами и убедившись в моем миролюбии, устроил перебежку с одного плеча на другое и обратно. Что это было? Обыкновенная резвость? Демонстрация кругов почета? Или наматывание петель на мое горло? Неожиданная мысль застряла в голове. Но внешне я никак не отреагировал. Не шелохнулся. Не хотелось пугать таракана. Не хотелось подрывать его ко мне доверие. Хотя в его действиях, может быть, и было некое предсказание. Я стоял без движения. Зато таракан своей беготней повесил меня уже не один десяток раз. У него было действительно праздничное настроение. Которое мне никак не передавалось. Я совсем забыл о воде. Я не знал, что в этой ситуации делать. От меня требовали смирения. Мне ничего не оставалось, кроме как повиноваться.

Наконец-то таракан угомонился. Затянув последнюю петлю на

моей шее, он удобно устроился на краю левого плеча и задумчиво уставился на площадь. Он сам выбрал нужную ему позицию. Без моего вмешательства. К моменту появления нового наблюдателя на фоне коллективного портрета повешенных ничего непредвиденного не произошло. Режиссерская фантазия не предлагала импровизированных решений. Раскисшая толпа по-прежнему мерзла под дождем. Превратившись в однородную клейкую массу. Потеряв последнее, что у нее было — полосатость. Победители методично продолжали воспитательную работу. У них, видимо, была твердая убежденность, что именно сегодня зарождались их будущие победы. Именно сегодня качество они предпочитали количеству. Именно сегодня они демонстрировали всему миру не банальную ненависть, а убеждение. И лишь собаки в большинстве своем изменили предписанное отношение к затянувшемуся мероприятию. После продолжительного молчания насквозь промокшие псы принялись в знак протеста поочередно скулить. Чем приводили в бешенство накрытых плащами хозяев. Оказывается, смерть можно тоже растягивать до бесконечности. Как лагерное пребывание. Так как сопротивление сценарием не предусмотрено. Таракан восседал чинно. Изредка загадочно пошевеливал усами. Серьезно настраивал антенну на нужную ему волну. Чем-то он напоминал царька, властно разглядывающего свои владения. Создавалось впечатление, будто он отлично разбирался в ситуации. Будто для него его внутренний мир сейчас просто не существовал. Будто он со знанием дела ориентировался в столь запутанных законах и противоречиях классической драматургии. Интересно, на чьей стороне он был? Или он был выше истории человечества? Испытывал ли он, в отличие от меня, чувство жалости? Хоть к кому-нибудь. А может быть, чл. овеческая жизнь была таракану в принципе не безразлична? Возможно. Возможно, он даже знал ей цену. И возможно, гораздо более точную, чем все герои сегодняшнего зрелища. Но, увы, даже ему никогда не удастся расшифровать элементарное. Даже ему никогда не удастся постигнуть очевидное. Ведь для того и построена Человеком виселица, чтобы на ней кто-то висел.

23 СЕНТЯБРЯ.

Дождь давно перестал быть просто дождем. Нудным, беспризорным, никчемным. Он лил девятые сутки подряд. Без перерыва на дозаправку. Будто хотел смыть с земной поверхности все движимое и недвижимое. Все собственное и нарицательное. Дождь лил над всем миром. Беспощадно. С ненавистью. Сплошным черно-зеленым потоком. В звуковом сопровождении злующего ветра. Казалось, что лагерь вот-вот сорвет с места. И он поплывет. В неизвестном направлении. Станет укрепленной дрейфующей зоной. *О к о н ч а т е л ь н о п о т е р я е т с я в б е с к о н е ч н о м о к е а н е н е и з б е ж н о с т и.* Из-за непредвиденных погодных условий моя жизнь совсем затаилась. То есть, потеряла последние внешние признаки самой жизни. Она замерла на дне обвального осеннего ливня. Подальше от человеческого разума. Не имея ни малейшего желания вообще когда-нибудь всплыть. Уже который день на истерзанной дождем площади ничего не происходило. Одинокие пустые виселицы больше напоминали сломанные мачты. Ничуть не оскорбляя пустоту своим участием в происходивших здесь событиях. Не было слышно ни криков, ни стрельбы. Никто никому не перебегал дорогу. Что творилось в остальных частях лагеря, я понятия не имел. А рисовать абстрактное существование, которое меня не касалось, не доставляло мне удовольствия. Жизнь за пределами колючей проволоки меня тоже не интересовала. Я в прямом смысле слова перестал беспокоить мой мозг. Мозг перестал беспокоить меня. *М ы з а к л ю ч и л и п а к т о в з а и м о - п о н и м а н и и.* Может быть, никакой войны на самом деле давно не было? Может быть, все давно закончилось? Может быть, все давно разбежались по домам, испугавшись дождя? *Б у д ь п р и р о д а с л ю д ь - м и ж е с т ч е, о н а в ы н у д и л а б ы и х ж и т ь в м и р е.*

Я сбился со счета, сколько дней ко мне не заходил офицер. В последний раз он был у меня всего несколько минут. Он пришел сказать, что пока мне можно в гараже не появляться. Офицер также освободил меня от бесполезных холостых поездок. До своего специального распоряжения. Точнее, до своего следующего появления. Офицер стоял почти по стойке «смирно». Широко улыбался из глубины своего промокшего капюшона. А с плаща стекло столько воды, что можно было подумать, будто над комнатой на какое-то время исчезла крыша. Я понимал алкоголь

ное происхождение его улыбки. Но не подавал виду. Я боялся. Боялся, что он потащит меня за собой. Разбавлять вином погодную скуку. Однако в тот день я чем-то ему не понравился. Он прожевал мой взгляд без энтузиазма. Промелькнуло даже скользкое пренебрежение. С оттенком брезгливости и обещанием будущего отмщения. Сделав демонстративную паузу, он театрально исчез за дверь. Будто нырнул в кулису. *Мне опять крупно повезло.* Мне удалось отбить атаку на мое одиночество. Я обрадовался возможности передохнуть от офицерской философии и бордового вина. Кроме того, со следующего дня не надо было копаться в промасленных внутренностях автомобиля. И создавать видимость своей общественной полезности. Не надо было ковылять окраинами разлившегося моря. И исподлобья оглядываться в поисках наблюдателя. Зато можно было радоваться сухому пайку. И надеяться, что хотя бы на время дождя о *военнопленном с особым статусом* попросту забыли. *Как часто на войне нужно быть благодарным. И как редко знаешь, кому именно. И еще реже, кому больше.* Дождю? Офицеру? Майстерзингеру? Собственной слабости??? Список подобных вопросов можно продлить до бесконечности. Но вряд ли найдется ответ.

В канун последнего свидания с офицером мне выдали сапоги и плащ. Сегодня днем я решил устроить примерку. Прямо на голое тело. При включенном электрическом свете мой новый вид показался мне достаточно боевым. Для полного комплекта не хватало только оружия. *Именно оружие делает труса солдатом.* Я активно ходил по комнате в неосуществимых мыслях о большом зеркале. Для убедительности захотелось вдруг взглянуть на себя в полный рост. Со стороны. Я физически ощущал, как во мне рождалась агрессивность. Как перекраивалось выражение моего лица. Все вокруг становилось по-настоящему враждебным. Мне захотелось вдруг увидеть себя солдатом. Мне захотелось вдруг стать сильным и безжалостным. Самым сильным и самым безжалостным. В мире. Мне захотелось вдруг, чтобы меня боялись. Все-все-все. Мне захотелось вдруг стрелять. Стрелять беспорядочно. В кого попало. Не жалея патронов. Наконец-то я понял, что способен стать убийцей. Настоящим убийцей. Пусть случайно. Пусть временно. Пусть по глупости. Но действительно способен. Сейчас я был готов оправдать любую войну и любую смерть. Даже свою собственную. *Я впервые в жизни чувствовала*

себя полноценным солдатом. Без всяких статусов.

Внезапный стук в окно испугал меня своей резкостью. Мгновенно спрыгнув с кровати, я прилип к размытому дождем стеклу. Но поблизости никого не было. В это время так же неожиданно и резко открылась дверь. В проеме стоял офицер. Непривычно взволнованный и совсем бледный. Комната наполнилась густым запахом терпкого одеколона. Я застыл посредине в ожидании приказа. Офицер укоризненно посмотрел на мои голые ноги, торчащие из-под плаща. «Через две минуты я жду Вас в гараже. Не задерживайтесь. Мы можем опоздать. Другого выбора у нас нет. Одевайтесь-одевайтесь-одевайтесь. Время пошло.» В отсыревшую холодную форму я прыгал, как в ледяную прорубь. Наверное, случилось что-то очень серьезное. Интересно, куда мы можем опоздать? По настоящим делам мы никуда ни разу так и не ездили. Который уже месяц офицер устраивал мне одни проверки. Может быть, сегодня наступило время серьезного испытания? В дождь мне еще не приходилось сидеть за рулем. Я начинал нервничать. Руки с трудом овладевали каждой застегнутой пуговицей. Больше всего меня пугала прямая зависимость от времени. Значит, вся ответственность ложилась теперь на мои водительские способности. А что со мной будет, если мы все-таки опоздаем? И что могла означать загадочная фраза: «Другого выбора у нас нет.» Почему «у нас»? Давно забытое местоимение заинтриговало меня вдвойне.

Сверхскоростное одевание сопровождалось сумбурным топтанием на месте. Секунды я не отсчитывал, но чувствовал, как они стучали в висках. С нарастающим гулом и частотой. Эхо этих ударов хладнокровно разлеталось во все углы вращающейся по часовой стрелке комнаты. Голова кружилась в противоположном направлении. Мысли друг с другом не соприкасались. Если только случайно. И уже лишь некоторые из многочисленных движений соответствовали моим намерениям. Я терял контроль. *Я терял контроль над своим страхом.* Но даже в этом состоянии меня остановил странный звук. Я замер. Под моими ногами что-то треснуло-лопнуло-хрустнуло. Я посмотрел на пол. Свежее, блестящее влагой пятно констатировало: таракана-соседа с длинными золотистыми усами больше не существовало. В суматохе он был раздавлен новыми скрипучими сапогами. Я окончательно растерялся. Тошнота становилась главным действующим лицом. Она уверенно подбиралась к горлу. Да, только ей было сейчас под силу вытолкнуть меня из комнаты.

Присутствие офицера продолжило развитие сюжета по сценарию. Во всяком случае, все последующие сцены и мизансцены это убедительно подтверждали. Трагическая гибель таракана сразу же из головы вылетела. В руль я вцепился с такой злостью, будто взял автомобиль за грудки. Дежурный патруль как ни в чем не бывало отдал честь из-под деревянного козырька. Шлагбаум беспрепятственно открыл дорогу. Мотор бодро пропел ускорение. Вроде бы все шло по плану. Даже в тот день, когда я впервые сел за руль, я не ощущал на себе такой ответственности, как в эти минуты. Строго отдав короткий приказ, офицер замолчал и больше не смотрел в мою сторону. Он оставил меня наедине с дорогой. Хотя для меня сейчас было бы лучше, если бы он говорил. Пусть даже философствовал. Пусть даже злословил или угрожал. Его серьезность вдруг напомнила мне о надписи на стене моего первого лагерного барака. *«Неисполнение приказа начальства карается расстрелом на месте.»* Поэтому машина мчалась изо всех сил. Точнее, изо всех моих сил. Другого выбора у меня не было. Несмотря на стихийное бедствие. Я не сомневался: приедем вовремя.

Когда до развилки оставалось всего несколько километров, из леса по обе стороны дороги выскочили четыре автоматчика. Таких было полно в нашем лагере. Сначала я не мог понять, откуда они взялись. Но когда мы поравнялись, они открыли беспорядочную стрельбу в упор. У меня отключилось дыхание. Я не соображал, кто и почему стреляет. Я был уверен, что произошла ошибка. Я хотел остановить машину. Но офицер отчаянно крикнул: «Не останавливайся!» Боковые стекла мгновенно разлетелись вдребезги. Я всем телом налег на руль. И машине удалось вырваться из-под огня. Несколько секунд я был вне памяти. Потом посмотрел на офицера. Он сидел, свесив голову набок. С подбородка капала кровь. Я не знал, как к нему обратиться. Я боялся до него дотронуться. Машина мчалась, не снижая скорости. Дождь, казалось, разбушевался с еще большей силой. Дорогу я уже не замечал. Руки вдруг стали мягкими и непослушными. *Где я? Что со мной?* Потом была развилка. Высокий полосатый столб. Беззвучный лобовой удар. Перед застывшими глазами — искореженный указатель: «BERLIN».

МИХАИЛ СУХОТИН

Гибель Помпеи

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Гораций: E regi monumentum aere perennius

Ломоносов: И я себе воздвиг такой же monumentum

Гораций: Regalique situ pyramidum altius

Ломоносов: И мой вот точно так же pyramidum altius

Гораций: Sume superbiam quaesitam meritis

Ломоносов: Quaesitam meritis, о муза, sume superbiam

Гораций: E mihi Delphica lavro cinge volens Melpomene comam

Ломоносов: Cinge volens мне, мне Melpomene comam

Не говоря уже о том,
 что Апполин на Геликоне,
 что быстрый разумом Невтон,
 что дочь бессмертия на троне,
 что телескоп, полемоскоп,
 сокровищ новых Индия,
 что Днепр, Волга, Лена, Обь,
 Академия, Поэзия...

Ломоносов: Я знак бессмертия себе воздвигнул

Державин: А я памятник себе воздвиг чудесный вечный

Ломоносов: Превыше пирамид и крепче меди

Державин: А мой металлов тверже он и выше пирамид

Ломоносов: Взгордися праведной заслугой муза
 Державин: А ты, моя, гордись заслугой справедливой
 Ломоносов: И увенчай главу дельфийским лавром
 Державин: Нет,— ты чело венчай зарей бессмертья

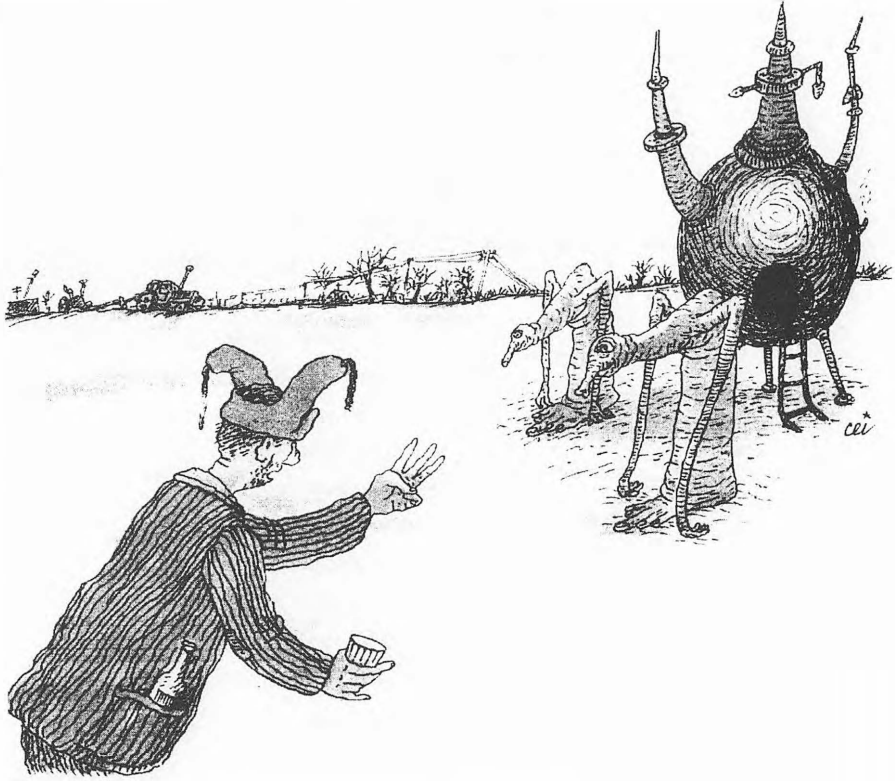
Не говоря уже о том,
 что молнии блещут над водами,
 что солнц златых огнистый сонм
 вселенной движется путями
 что все падет и пропадет,
 телесный панцырь всех червь сложен,
 что глас прита не умрет,
 а нам ничто уж не поможет...

Державин: Я памятник себе воздвиг чудесный вечный
 Пушкин: Но ведь и я памятник себе воздвиг нерукотворный
 Державин: Металлов тверже он и выше пирамид
 Пушкин: Зато к моему не зарастет народная тропа
 Державин: О муза, возгордись заслугой справедливой
 Пушкин: А лучше все-таки велению Божью будь послушна
 Державин: Чело твое зарей бессмертия венчай
 Пушкин: Это уж как изволишь — только ты не оспаривай глупца

POST SCRIPTUM:

Хор имени Пушкина: ПМТНК СБ ВЗДВГ НРКТВРН...
 Гораций: ЕУ-ААЕ-АОАЯ-ОА!
 Хор имени Пушкина: ВЗНСС ВШ Н ГЛВ НПКРН...
 Гораций: АЕАИОО-ОА!
 Хор имени Пушкина: ВЛН БЖ МЗ БД ПСЛШН...
 Гораций: ОИЫ-Е-АА-Е-ЕУЯ-ЕА!
 Хор имени Пушкина: ХВЛ КЛВТ ПРМЛ РВНДШН
 Гораций: И-Е-ОАИА-УА!

Г
и
 огонь и серу с небес
и
 все что было на земл
и
 вопль подьемля множ
и
 лирны гласы смолкн
и
 юноша с юн
и
 от лица грехов сво
и
 не вам судить семен
и
 возжелав закон бла
и
 секиры и ты бе
и
 мати до срока д
и
 вскую тащишь гражд
и
 с ним ли солнце ж
и
 что питие пьян
и
 в тайных ковах сердце зр
и
 тати и хипесн
и
 что идя хоть
и
 или не помн
и
 и ни раз тебе н
и
 кто бы ни был ты ш
и
 всех курносая пр
и
 отлиняла серьгам
и
 безмазняк тебе фит
и
 крест малине Дмитрь Л
и
 фаршированный олень кос
и
 на луну отправил
и
 рачьи шейки петушк
и
 все они Мордва
и
 полюбил я не на м
и
 но творец невид
и
 поэту к спасен
и
 огонь и серу в небес
и
 все что было на земл
и
 в огне погибает
и
 и
 бель Помпеи



АЛЕКСЕЙ МИЛЮКОВ

Портнов

Повесть

ГЛАВА I

1

Детали недавних лет: газетные статьи, фотографии, записи — заставляют с удивлением признать, что эти нелепости происходили с нами. Неужели это были мы? Мы еще всей одежды с той поры не износили, но «каждая клеточка нашего тела теперь другая».

И всего-то середина восьмидесятых. Наш последний самообман, что мы теперь все сможем. Ведь казалось: брякнуть лишнее, и чудовище рассыплетя, и рухнет от цепной реакции потянувшейся лжи. Мы так же отличаемся от нас недавних, как хотение взять в долг от хотения его вернуть, как мольба о пощаде — от внезапно возникшего перевеса сил над противником. Невероятно, что мы так думали и так поступали.

И за граница была одной из немногих крепостей, которую никогда не могли взять большевики. Тут логика сохранения. За границу ли от нас они берегли, или себя, но нам разрешали топтать ее улицы группами не менее, чем по трое, а в каждое новое знакомство пристально вглядывались.

А между тем, все вставало на свои места. Если в Москве «тройственные союзы» в ту пору осуждались горячо и решительно, то что значило для меня, недостойного сочинителя, прогуливаться по Лондону с кем-то «по трое»? Рискну предположить, что это — верная пьянка, ибо надо знать, чем мы отвечаем на насилие. В родной, семиглавой ни один редактор

один редактор слушать бы меня не пожелал. В чужом же, туманном — рта нельзя было открыть, чтоб не почувствовать затылком изготавившихся «благодарных слушателей»!

Но и какой же волшебный привкус отрыва, ухода от погони я чувствовал именно там, именно в те времена! Я бы всем им спел гимн: родным пинкертонам, чужбине и тем временам, но мой рассказ не о них. Я буду рассказывать о Мартине Тэйлоре, моем друге и друге того человека, каким я был тогда.

Итак, о Мартине Тэйлоре.

В ту пору, в составе технической группы, я приехал с театром на гастроли в Лондон. Мартин был нашим переводчиком. Его женитьба на русской особе предполагала не бумажный опыт общения с русским языком, но самый реальный и бытовой, так как ругаться с женой, подозревая с чувством затаенного патриотизма, ему приходилось.

От прочих переводчиков арабо-американо-европейского мира его отличало уже одно то, что он был англичанин. Англичане же вообще в отношении нас отличаются от остального человечества наименьшей наивностью и наибольшим чувством юмора, ибо какая страна еще кормит своих бездомных черной икрой, в избытке конфискованной у русских на границе? Прежние переводчики, как ни пытались отдавать себя театральной работе, но были уезжены, умучены, ухайдоканы нашим братом в делах, к театру касательства не имеющих. Англия же своими дурными манерами сразу настрожила всех, и Мартин был ее символом и воплощением.

Странно, необъяснимо, даже порой невежливо по нашим понятиям, вел себя этот человек. Отвечая на вопросы и улыбаясь шуткам, он сам не заводил разговора и не искал продолжения завязавшихся знакомств. Машина приятельства крутилась вхолостую — мы его интересовали только как объект работы. Более того. Мартин будто не сам держал дистанцию, а неведомым образом, будучи отсутствующе-вежлив в разговоре, как это умеют одни англичане, заставлял ее держать нас. В русских отношениях такому нет аналога. Мы еще можем быть сухи и подчеркнуто-вежливы с недругом, но любое затраченное нами усилие, даже по сокрытию чувств, есть некоего рода контакт, зацепка. Здесь же было совершенно иное, крайняя любезность и, вместе с тем, — пустое место. Здесь была любезная отчужденность. Нате, берите меня с потрохами, я весь ваш, но у меня ничего для вас нет. «Найдем, придумаем что-нибудь, только моргни! — готовы были воскликнуть те, кто не оскорбился сразу. — Дай

понять, что ты с нами! Горы тряпья своротим вместе, все перероем и скупим по самым низким ценам!»

Мартин же продолжал отсутствовать.

Увы, никто, наверное, уже не напишет диссертации о человеке из России тех лет, проникавшем в Европу по туристическим и культурно-обменным каналам. О существе, на чью тему нынче только едко острим. О человеке советском, гулаговидном, с грошом в кармане и занозой в сердце. О быстро проходящем первом шоке, о ветвистом древе желаний, о комплексе полноценности, превосходящем все разумение гостеприимного края. О том, как веками добытое чужими трудами он капризно воспринимал достоянием собственных ума и рук. О том, как: «Брат, это халява, праздник, везение!» — говорило в нем что-то слабое, атавистическое, древнерусское. Но: «У вас моя кровать плохо застелена, перестелите!» — шипел горничной выперший из него совок.

Было любопытно наблюдать Мартина за завтраком в гостиничном ресторане. Выбирая из всевозможных дармовых яств (отель и завтраки оплачивала корпорация) жидкую овсяную кашку и чашку кофе, он усаживался один, разворачивал газету или просматривал бумаги, начиная уже тут, за завтраком, работать.

В нашу частную жизнь работа так никогда не проникала. Ведь какой русский не любит вкусной еды! Мы ели, мы поглощали: шкварчащие, прямо со сковороды, шампиньоны, пузырчатые омлеты и тончайшие, скрученные в пропеллер, беконы с золотой корочкой. Мы пластовали ножками полупрозрачные, со слезой и вкраплениями студня, ломтики ветчины. К нескольким сортам сыра предлагалось много зелени, но ничего не было сочнее ароматного, толщиной в палец, сельдерея. Даже банальные сосиски, горячая фасоль в томате и жареная кровяная колбаса шли в дело! А коктейль из тропических фруктов, присыпанный сверху пластинками сухого кокосового молока, а кофе, приготовленный на сливках!

Процесс еды, близкий всякому нашему человеку, Мартина не только не интересовал, но даже к размышлениям на эту тему он, судя по всему, никогда не подбирался. Возясь с каким-нибудь необъятным «Дейли уорлд энд рипорт'ом» (в транскрипции наших журналистов, выуживающих оттуда все о безработице и помойках), он и кашку свою жевал будто по необходимости. Всем нам он был живым укором.

Иногда его отзывали к телефону. Тогда он, возвратившись, без

обиняков выкладывал нам, технической группе, что документация по световой аппаратуре готова, что через полчаса нас ждут в театре, что машина уже у подъезда.

Уж таким, видно, подлецом родила его мать. Плевать нам было на его документацию и на его машину. Только-только нас родимый всеобщий Гулаг отпускал поесть омлету, как иллюзии рушились. Мартин старался, даже радовался. И то ведь, какое счастье! Мы не успели позавтракать, а нас уже ждут! Машина у подъезда, ура! Как неудержимо тянет поработать!

Когда Мартин отходил, мой набывчившийся сосед зло сопел по его адресу нечто совсем лишнее логики:

— Тоже, а? Корчит из себя англичанина!

Мимо стола шли к выходу длинноногие мулатки, хохочущие, полуобнаженные, отдыхающие. Настроение у моего товарища портилось совсем.

— Чуждое влияние Запада, — уже не сопел, а сипел он.

2

Однажды, во время пирушки с товарищами, я опрокинул себе на руку кастрюлю с кипятком, предназначавшимся для приготовления гречневой каши с тушенкой, а вовсе не для руки. Вечер был безнадежно испорчен. Мои товарищи изрядно повозились со мной, что, впрочем, не помешало руке от запястья до локтя превратиться в сплошной волдырь. Это было совершенно некстати.

Утром меня разбудил телефонный звонок, и голос Мартина, звучащий в аппарате почему-то с большим акцентом, влез в мою частную жизнь. Он уже прознал о неприятности, выражал сочувствие и предлагал помощь.

Мои надежды на то, что с утра все пойдет своим чередом, и проблема как-нибудь «рассосется» сама, видимо, не сбывались. Я ответил согласием, предупредил по телефону руководство, что прихворнул, и на утреннем спектакле меня не будет, и, не дожидаясь делегации проверяющих, сбежал из номера.

Одному человеку все же удалось меня перехватить. В холле, встав из кожаного кресла, полюбившегося ему, видимо, за сходство с

лубянковским, некто бегло осмотрел мою руку и дал кое-какие ценные указания, разумеется, не по вопросам лечения, а несколько иные, отражающие доверие нашего могучего государства к его рядовым гражданам.

Мартин Тэйлор ждал меня у огромного старого «Остина», куда джентльмены могут садиться, не снимая цилиндров. Всю дорогу ехали молча.

По приезде в «госпитал» меня встретила чернокожая сестра с креслом-каталкой, трогательно осведомившись, сам ли я пойду к врачу или меня отвезти. Имя, возраст и причина обращения — вот все, что спросила обо мне у Мартина регистраторша.

— Как зовут пациента? — приготовилась она записывать.

— Э-э... Миль... Люкофф, — отвечал Мартин как можно внятно. Так на короткое время я стал Эмилом Люковым, видимо, евреем.

Уже через минуту еще одна сестра проворковала с улыбкой:

— Мистер Люкофф, пожалуйста!

В кабинете, не обращая внимания на мои протесты, три очаровательных белых существа женского пола ловко раздели меня до пояса, уложили на высокую кровать-каталку, взбили под головой подушку, гигроскопичными тампонами обложили руку, а брненное тело мое заботливо укрыли одеялом. Я не заметил, что появилось раньше — доктор с его приказом принести инструменты, или сами эти инструменты. Доктор приступил. Девушка, вызвавшая меня, теперь стояла в головах, временами подбивая мне подушку и держа руку на моем плече. Иногда она старательно морщилась, чтобы дать мне почувствовать себя мужественным, да я и так был герой.

— Как же это угораздило? — в самом грубом, упрощенном виде можно было б перевести корректный вопрос хирурга Мартину.

Сволочуга Тэйлор, к моему изумлению, поведал обществу об истинной причине травмы.

— И как много? — полюбопытствовал доктор.

Негодяй, все изумляя меня, назвал почти точный литраж. Я готов был сквозь землю провалиться, но доктор воскликнул только: «Ого!», а девушки смущенно заулыбались.

— У меня есть брат в Шотландии, наверное, только он смог бы бросить вам вызов, — одобрительно сказал мне хирург. Это было нелепо, несправедливо, но не пускаться ж мне было в объяснения, что я, образно

выражаясь, еще «не самый старший из братьев», а вечеринка была прервана едва ли не в начале!

— Двадцать один день, — сказал доктор в заключение, — через двадцать один день ваша рука, мистер, не будет отличаться от здоровой, если вы, конечно, постараетесь к тому времени не повредить здоровую! (Смех, английский юмор.) Спасибо за общение, поправляйтесь, бай-бай!

— Бай- ба-а-ай! — хором затаяли девушки, улыбаясь.

Мы вышли на улицу. Светило солнце. Рука моя имела прежние формы, хотя и была тщательно забинтована. Я поблагодарил Тэйлора за помощь, но тут же по-свински, хотя и в стилизованной английской манере, взял быка за рога:

— Ты меня извини, но, мне кажется, один из нас наговорил лишнего.

— Наговорил лишнего? Прошу прощения. Я действительно преувеличил цифру, чтобы поразить врачей. Ты их очень заинтересовал.

— А зачем, скажи мне, поражать ваших врачей? Да еще таким способом? — Мартин не понимал, что я от него хочу.

— Видишь ли, русский пациент тут редкость. Вдобавок к этому, мой рассказ есть что-то вроде рекламы.

— Ах, это была всего лишь реклама? Я не понял сразу.

— К тому же, я к твоей славе потихоньку примазался! — беззастенчиво сообщил он, смеясь.

— Так мы с тобой им понравились? Реклама такая, и все прочее?

— Очень. А разве я вел себя невежливо? У вас какие-нибудь проблемы существуют с этим вопросом?

Я рассказал ему вкратце о том, какие проблемы у нас существуют еще и с этим вопросом. Я выложил всю нашу подноготную о вырубленных виноградниках, о столетних дубовых бочках, используемых ныне под солярку, о самоубийстве директора завода крымских вин, об офицерах, уволенных из армии по одному доносу о вечеринках с вином, о соревновании областей в том, кто больше «добровольно» сдаст самогонных аппаратов, о безалкогольных комсомольских свадьбах с присутствием надсмотрщиков, о новом генсеке, именуемом в народе не иначе как «сокин сын».

Мартин остолбенел.

— Ничего подобного мне и в голову не могло прийти. Какой-то кошмар. У нас пабы и ресторанчики на каждом углу, и выпивка не есть преступление. В определенных случаях этим даже хвастаются, желая

показать, что хорошо провели время. И увольняют у нас не за выпитое, а за непрофессионализм. Извини, что я тебя напугал.

— Да нет, ты меня не напугал, раз так. Видимо, я недостаточно свободный человек, чтобы преодолеть наши условности. Я бессознательно перенес принятые у нас оценки на вас, англичан.

— Что же заставляет ваши власти так поступать?

— Нашей верхушке всегда нужен был враг. Партия жива, пока с чем-то борется. Но, видимо, дела из рук вон плохи, если взялись за пьянство.

— Но зачем за него браться? Живите себе, как мы живем.

— Мы не можем жить просто так. Нам с вами соревноваться нужно, а пьянство мешает. К счастью, есть новые установки, что вы нам больше не враги, но преимущества социализма вам доказать бы не мешало. Кстати, ты знаешь, что мы соревнуемся?

— Ничего про это не слышал. Ваши власти, по-моему, весь мир в страхе держат, а не соревнуются. А ты, кстати, знаешь, какие преимущества социализма имеются в виду?

— Ничего про это не слышал.

Мы рассмеялись.

— И все-таки, — сказал Мартин, — чтобы окончательно загладить свою вину за излишнюю разговорчивость, я предлагаю вот что. Тут неподалеку есть один паб, я приглашаю. Зайдем туда ненадолго, и... как у вас это называется?

— Врежем по маленькой.

— Врежем?

— Да, примем на грудь. Заложим за воротник.

— Вот как? А еще?

— Дадим, махнем, кирнём, хряпнем, хрюкнем, вздрогнем, клюкнем, дерябнем.

— Ого!

— Почему вы все говорите: «Ого!»? Нальем глаза, остаканимся, шандарахнем, запузирим, мякнем-шмякнем, залудим, засандалим, втащим, вмочим, дринканем. Бесчисленные производные от мата опускаю.

— Вот теперь я понимаю проблемы вашего правительства! — засмеялся Мартин. — Но поднимать бокалы с соком? С соком говорить тосты? Это же оскорбление! Неужели эта затея не обречена на

провал? Даже если ваши борцы начнут из литературы и кино убирать алкогольные сцены... — Мартин даже задохнулся от своей оруэлловской фантазии.

— Хочу тебя огорчить, — сказала я, — убирают.

— О?! — кипятился он, веселясь, теряя дар русской речи, — О-хо-хо!

Часы показывали полдень. Мы быстро шли по улице.

— Ты не назвал еще одно слово, — сказал Тэйлор, чуть успокоившись, — «выпьем».

3

За разговорами мы переместились в ближайший паб. Та его часть, где мы уселись, представляла собой прозрачную стеклянную полусферу, — казалось, мы расположились прямо посреди огромной зеленой лужайки. Зал был почти пуст.

— Начнем с пива! — торжественно объявил программу Тэйлор. Он полистал каталог пивных заведений Лондона, отыскивая наше и выясняя, какой из сортов пива является тут наилучшим. Размашисто перебрасывая страницы, как не обращаются с книгами у нас, он говорил:

— Мне нравится русская манера давать уменьшительные имена всему съестному и спиртному. Ага, вот, наконец. Но тут целый список! Какого же п и в к а нам заказать? Здесь подают отличный темный биттер, ржаной. Или «LAGER», золотой или лайт.

— Я выбрал бы «LAGER». Что-то до боли знакомое сквозит в этом названии, — сказал я, пытаясь от смущения натужно острить.

Мартин принес два пинтовых бокала и сказал несколько хвастливо:

— Я могу быть неважным человеком, но, видимо, я отличный переводчик! Я горжусь тем, что уже стал понимать в русских разговорах двойной смысл. Это почти невозможно, этому не научить. Русские шутки, полнамеки, разговоры с параллельным содержанием. В ваших речах часто присутствует какая-то тайна, объединяющая вас и ставящая особняком в компаниях с моими соотечественниками.

— Это хорошо или плохо?

— Не знаю. Обычно я стараюсь не давать категоричных оценок. Мне это важно как профессионалу. Я рад тому, что могу поговорить

сегодня с тобой. У нас в запасе есть к у ч а в р е м е н и, час или больше. Давай пить пиво и разговаривать. Расскажи мне, пожалуйста, что-нибудь на эту тему.

— Ты был в Союзе?

— Нет. С Лилей мы познакомились здесь. Потом она уехала и год занималась устройством своих дел, а после этого мы уже поженились.

— «Устройством своих дел», ты знаешь, что это означает?

— Да, у нее были большие проблемы с замужеством. Она предпочитает не говорить на эту тему, ей это стоило многих сил.

— Это она помогла тебе в тонкостях русского?

— Ничего подобного. На русском мы говорили первое время, а сейчас только в ссоре! В нашей семье русский язык под запретом. Жена против того даже, чтобы я обучал ему дочку. Это наша серьезная семейная проблема. Сама Лиля говорит уже почти без акцента, хотя мне трудно судить, я сам говорю с какими-то примесями лондонских районов. А в русском я практикуюсь, помогая эмигрантам в разборе судебных дел или работая с вашими коллективами. Труднее всего было в последний раз, когда я работал с русским ансамблем из Грузии.

— С русским ансамблем из Грузии? Как же ты понимал их?

— Но ведь грузины говорят на русском.

— Нет, Мартин. Грузины говорят на грузинском. Некий немец из ГДР на приеме в Москве сказал однажды: «Я хачу паднять этат бакал за дружб мэжду вэликий савэцкий и нэмецкий народы!» У него спросили в ужасе, где он изучал русский язык. — «В Тыбильси!» Или вот еще. В Харькове я наблюдал негра-студента, который нервно стучался в окно винного магазина. «Тю, Пэтроуна! — кричал он, — Та дай же портвэйну! Душа ж горыть!»

— Ну, что, — смеялся Мартин, — дринканем за дружб!

— Дринканем.

Прошел час. Был обеденный наплыв посетителей, затем схлынул. Мы заказали сэндвичи с сыром, ветчиной и яичницей.

— Не пора ли нам выпить чего-то п о с у щ е с т в е н н е й? — спросил Тэйлор. Я подтвердил его опасения. Мы выпили водки, смешанной с томатным соком. Я рассказывал Мартину все байки, какие знал. Звучали перлы устного народного творчества. Тут были и «Мимо тещино-го дома...», и «Стою на асфальте, в лыжи обутый...», и «Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле...»

Мартин был в восторге. Мы веселились.

— Знаешь ли ты русское слово, — говорил я, — где б подряд стояли три гласные?

— Не припомню. А что за слово?

— Длинношеее.

— Вот как! Ого!

— А слово, где бы подряд стояли — шесть! — согласных?

— Ну? — глаза Мартина горели детским любопытством.

— Взбздн...!

— О-хо-хо! Вот это да!

— А скажи: из-под выподверта! — настаивал я.

Мартин не мог выговорить. — А знаешь, как отличить зайца от зайчихи? — несло меня.

— Ну, вероятно, по физическом признакам.

— Нет, по лингвистическим. Нужно взять за уши и отпустить. И, если побежал, то это заяц, а если побежала — зайчиха.

Тут Мартина на секунду заклинило.

— Не совсем понял. А если не побежит?

— Обязательно побежит. Это ж зайцы.

4

Солнце уже садилось, удлиняя тени на лужайке, окрашивая предметы в малиновые тона. Почему-то это напоминало по ощущению детство. Тэйлор, научившись нашему методу разливать блоги Мэри на два слоя, ужасно гордился тем, что в его олд-фэшенде между водкой и томатным соком не оставалось и малейших протуберанцев. Впрочем, вскоре от сока пришлось отказаться ради экономии места в желудке. Народу стало прибывать, пивной нычаг заработал без остановки.

— Русский язык, это фрукт еще тот, — говорил я полушутя, — ты выбрал себе непростое занятие! Редкий иностранец долетит до середины всех его форм и смыслов. Может быть, в России потому так много дураков, что язык чересчур сложен и многим соотечественникам просто не дается. Не осиливая всей его глубины, они перестают понимать своих, а жизнь их становится битвой за свое ограниченное восприятие, оправдание его.

Может быть, наша вечная неустроенность и происходит оттого, что даже простой фразы нельзя сказать, простого закона написать, чтоб это не имело множества толкований. Обилие форм, обладание одного понятия многими смыслами мешает договориться людям разного уровня, оскорбляет собеседника там, где мы и не помышляли об оскорблении. У нас нет ничего, бесспорного для всех, если, конечно, не брать совсем уж первобытные вещи.

В России никогда не было единого гражданского общества и единого гражданского сознания, если в дело не вмешивались войны и катастрофы, оставляющие стержневое их осознание, собирающие людей на одну боковую, но жесткой задаче выжить. Кризисы общества, кризисы власти — не кризисы ли обладания всею полнотой языка, всею полнотой его понятий? Даже большевикам с помощью многолетнего террора удалось создать только формальную видимость нового единого сознания, которая трещит при всяком ослаблении петли.

— Я давно изучаю русский язык, — сказал Мартин, — и меня тоже поражает его необъятность. В него можно углубляться до бесконечности. Но язык, который работает на разъединение нации? В таком случае я скажу, что русский язык просто еще не отстоялся. Я не марксист, но, может быть, ваш язык — это отражение ваших постоянных катастроф, его кидает из крайности в крайность, и он не может найти себе окончательные, гармоничные формы? Он не в согласии с самим собой. Ему нужно время прийти в себя, некоторое время спокойного состояния. К тому же он несвободен. Английский — это язык свободных людей. Нам не нужно лукавить, искать иносказания. На английском говорит мир, без намеков, впрямую. А русский — весь зыбкость, течение, перетекание из смысла в смысл. Он интересен для изучения, но, может быть, как редкий больной, интересный консилиуму врачей?

— Уж вы-то врачи! — огрызнулся я. — И кто тут больной? Ведь впрямую говорят только с шизофрениками, чтоб их не травмировать попусту.

— Да разве я говорю, что русский язык невыразителен? Для изучающего его иностранца он клад. Но и какое поле он дает для демагогии! Вашим политикам, например.

— При чем тут политики. Но вот что меня занимает. После каждого возвращения из-за границы домой я наслаждался, окунаясь в волну всеобщей русской речи. Для говорящих это была обыкновенность

дыхания, для меня же это было как дыхание после спазма. Но проходило совсем немного времени — и я понемногу как бы переставал узнавать родную речь в толпе. Мне вдруг начинало чего-то в ней не хватать. Смысл сказанного до меня доходил, но там не было русского языка. И с недавних пор мне стало казаться — русский язык весь в том, что на нем говорится, он начинается за кадром обычного русского речевого строя. И это ни на какой другой язык непереводаемо. Не само содержание, а именно русскость содержания, дух содержания. Мы говорим, что русский язык чересчур сложен. Это так. Но для нормального русского человека, не обязательно русской национальности, так о русском языке вовсе не сложен. Нужно только уметь говорить на нем и его слушать.

— То есть, если я правильно понял, очистить его от мусора, бытовых наслоений, общаться на некоем настоящем русском языке, модернизировать его до гармоничного совершенства?

— Нет, конечно, нет.

— Тогда что? Освободившись от полицейской власти, сделать более доступными эти его потайные смыслы, этот эзопов язык?

— Эзопов язык тут ни при чем. Я говорю не о потайных смыслах, а о том неуловимом, как музыка, качестве, составляющем основу русскости. Дело вовсе не в нужде маскировать свои мысли. Но это та русскость, по которой страдают перешедшие на ваш правильный английский наши эмигранты, ею проникнуты любые формы нашей речи, бытовые и эзоповы тоже.

— А что такое вообще эта «русскость»? Разве она может быть глобально иной, чем «английскость»? Каждый народ имеет свое лицо, но разве вы не можете быть одним из народов единого мира? Конечно, годы тоталитаризма отделили вас от мирового сообщества, ваши марксисты-коммунисты, железный занавес и все тому подобное. Но рано или поздно у вас в России все наладится. Вы поменяете политическую систему, обретете политические свободы, вольетесь в мировую экономическую систему. Что мешает вам тогда жить, как живут прочие развитые народы?

— Ну хорошо. Представим себе в качестве фантастического допущения, что у нас все «наладилось».

Проснувшись одним прекрасным утром, мы вдруг обнаружили некое чудо: заводы наши оснащены передовым оборудованием, коммуникации безукоризненны, а полки, что называется, ломятся от изобилия. Заживем ли мы, как и весь прочий мир? Берусь утверждать, что — нет,

никогда. В считанные недели все развалится, все будет промотано, а последствия превзойдут нынешнее печальное состояние. Не лень, не вандализм и не мифическое наше неумение работать сделают это. Но мы начнем новый эксперимент уже в новых условиях. Весь фокус в том, что капитализм, рынок, нормальное логическое существование нам просто не и н т е р е с н ы. И не годы большевистского режима подарили нам это свойство. Но есть одна странная черта русского характера, сидящая в каждом из нас подспудно — это наша страсть к достижению невозможного. Может быть, это звучит абсурдно, но русской натуре нужен подвиг даже в нормальных условиях, да и сами нормальные условия воспринимаются как что-то рутинное, недостойное русского человека. Мы не любим жить в настоящем, каким бы хорошим оно ни было. Русской натуре нужна устремленность в будущее, «к концу истории», и это заложено в нас генетически, как детонатор в гранату.

Гиляровский сообщает о купце, изъявившем желание въехать на санях домой не обычным путем, а не иначе как повалив забор. Пьян был, конечно. Но надо не упускать такие детали. Гости из-за границы удивились шубе, брошенной русским купцом в лужу под ноги женщине, когда эту женщину можно было бы перенести через лужу на руках. Да и сегодня у нас — человек, внешне благополучный, часто совершает немыслимые поступки, ни с чего, вдруг, сломя голову. Это сплошь и рядом. «Чего ему еще не хватало?» — говорят о таком в России.

И вообще, что это все такое — поваленные заборы, шубы, сумасбродные поступки? Увидевший здесь только «самодурство», желание пускать пыль в глаза или «бешенство с жиру» — будет прав лишь отчасти. Но во всем этом есть сильный привкус стремления вырваться из логической цепочки, преодолеть достигнутое, пойти дальше. Да и так просто интересней! Примеры достаточно уродливы, как многое у нас уродливо, но и в них — обратная сторона благополучной, размеренной жизни, достигнутого материального достатка. Все это есть своеобразная форма презрения к достигнутому.

Так же кончилось бы и наше дармовое процветание. Мы бы тут же устелили все лужи шубами, повалили бы все заборы, мы испортили бы все поисками нового, неведомого доселе, «своего пути».

— Но это абсурд, — изумился Мартин. — В этом нет никакой логики. Есть некие объективные вещи, которые не нужно объяснять, из

которых просто состоит нормальный человек. Любой англичанин, глядя на ваш «поваленный забор», не откажет вам в праве такого обхождения с собственностью, но никогда не будет искать за этим иных смыслов. Достаточно того, что «поваленный забор» — это аномалия, нонсенс. Есть законы общества, есть нормы. Достижение невозможного, устремленность в будущее посредством брошенной шубы — это ненормально. Я этого не понимаю. Нормальное общество, это то, где жизнь регламентируется законами, удобными для всех. Законы вырабатываются нами же. Англичанину никогда не придет в голову обходить свой собственный закон, хотя и у нас, признаться, встречаются исключения.

- Интересно, какие у вас исключения.

— А вот, к примеру. Один джентльмен, ради экономии денег, разумеется, отправил самого себя в корзине по почте в другой город, и почтовые чиновники, как ни протестовали, вынуждены были этот груз принять, так как все соответствовало закону. Но и это — нормально, потому, что в этой шутке есть логика.

— Завидую вам, Мартин. Любого нашего товарища, возжелавшего бы задарма прокатиться в корзине, в России сразу отправят в психушку, потому, что из всех способов дармового катания именно этот лишен, с нашей точки зрения, логики. Есть миллион других способов. Но в фантастическом, поутру полученном обществе вашего типа у нас бы такое катание началось! Что там ваш джентльмен в корзине!

Да, в России законы не действуют. В России всегда правили должность или личность. И тоталитаризм здесь ни при чем, он сам только следствие такого положения дел. К власти, как правило, приходили не самые достойные, обошедшие других, волею которых казнили и миловали всю огромность российских территорий. Но этой «чингисханностью», «батыевостью» проникнуто у нас все общество. Именно по этой причине у нас по закону не прокатиться в корзине. Боже! Действовать по закону, да еще шутить с ним! Любой почтовый чиновник выставит вон такого катальщика, ибо закон есть он сам, чиновник. Ищущий правды в законе у нас считается ненормальным. Русский разбойник издавна обращался к судье: «Судите меня не по закону, а по совести!», надеясь на милосердие чиновника и прекрасно зная, что они оба плюют на закон.

— Не отсюда ли мечта русских о добром царе?

— Да, но при том, что каждый из нас сам в душе маленький царь.

«Дали бы мне!» Стрость каждого к учительству, но не к ученичеству. Уважение к чужому мнению ровно настолько, насколько оно совпадает с собственным.

— Да, я замечал эту странность! — воскликнул Мартин, — все русские, спрашивая мое мнение по любому поводу, всегда удивляются, когда я говорю прямо: «Не знаю». «У тебя д о л ж н о быть свое мнение!» — говорят они. Почему оно у меня обязательно должно быть? Я не равнодушный человек, но меня не все окружающее интересует. И напротив, о чем вашего человека ни спроси, он будет мучиться, ломать голову, но мнение свое, даже абсурдное, выскажет!

— Более того, — поддержал я Мартина, — за высказанное будет биться до последнего, пусть за абсурд, но будет биться, врагов себе наживет, на плаху за него пойдет! «Не отрекусь ни от единой строчки!», — говорит Вознесенский. «Будто сделал я что-то чуждое», — раскаивается было он, но быстро берет себя в руки: «Или даже не я, другие!» Блюстители закона толкуют любой закон от себя или от лица, которому прислуживаются. Ну, положим, будет у нас когда-нибудь демократический парламент. Что мы услышим? Речи, льющиеся в железном русле закона? Да ничуть. Это будет нечто уж такое невообразимое, какие—нибудь женские душевные порывы взалек, мужское хвастовство, требования новых песен о хлеборобах, грубоватые намеки военных на то, что «в запасе кое-что имеется», проекты отправки послания жителям грядущих тысячелетий или призывы немедленно идти бить евреев. Каждый будет чем-то обижен, и каждый не будет слышать ближнего.

Да, с русской точки зрения западные законы стандартизируют людей, делают хоть и невозможными окончательные падения, но и подрезают крылья для божественных душевных взлетов, даже милосердие Запад понимает не как отдачу последней рубашки нищему, а как планомерное выполнение задач общества перед наименее обеспеченными.

— Но, тем не менее, наши нищие планомерно обеспечиваются, — тонко уколол меня Мартин.

— Знаю, — согласился я, — что большинство из нас, образно выражаясь, только по «последней рубашке» и имеет. Но сейчас я не об этом. Я хочу сказать о двойственности русской природы, двойственности каждого русского понятия, двойственности отношения к тому буйству данного нам дара, именуемого живой жизнью, где даже формулировка

тавтологична, двойственна. Иногда кажется, что все окончательно ясно, а назавтра ясно, что все чересчур зыбко, неуловимо, «не тот это город и полночь не та». Достоинства в одном случае — становятся недостатками в другом, и наоборот.

— Что-то очень расплывчато!

— Я же и говорю, зыбко! Так вот. Поначалу я, пытаюсь объяснить себе это, предположил рискованную вещь, что русский народ состоит как бы из двух народов, двух русских самосознаний. Ну, скажем, живут в одной стране, на одной территории — русские и русские. Они проникнуты элементами друг друга, однако взаимопонимание их таково, что не поможет и русско-русский словарь. В грубой форме это выражается так — нигде, кроме как в России, нет хотя бы одного понятия или предмета, мнения о котором, при всех оттенках индивидуальности каждого, не разделились бы на два *п о л я р н о п р о т и в о п о л о ж н ы х*. Существуют и всегда существовали как бы два лагеря, в явном виде не оформленных, две идеи, две религии. Идеалы каждой из сторон хороши (ведь все паразиты поняли одно: русский человек не может без идеала), оценки любой из сторон могут быть приложимы к другой, а высшие цели одинаково недостижимы по причине вечного противостояния. Никакие ярлыки или определения не дадут объемного представления о предмете. Они в самом разговоре на эту тему. Мы говорим о вещах, почти неуловимых. Есть ли граница, где ее провести? Созидатели и потребители? Чуть. В этом может обвинить любая из сторон. Некие светлые силы, которых «темные силы гнетут»? Нет, плоско, невыразительно. Консерваторы и прогрессивисты? Тоже не годится. Вы ведь тоже «консерваторы», а наш «прогресс» оставил нам по «последней рубашке»! Лобовое деление на «наших» и «не наших» есть путь весьма скользкий, отдающий сталинскими поисками врага, и всегда удобный для оправдания собственных неблагоприятных действий. Тут, наверное, нас приблизят в наибольшей степени такие понятия, как «совесть», «порядочность», и вообще категории, под которые нельзя подделаться. Те, кто в книге жизни у Спасителя, кому «дано», может быть. Скажем так. Русская нация самая обыкновенная, не лучше и не хуже других, но есть в ней еще и такие люди, которых больше нет нигде на свете.

— А что, — усмехнулся Мартин, — среди англичан нет таких людей, особых, которых больше нет нигде на свете?

— Иду ва-банк, — сказал я запальчиво, — если есть такие

англичане, то берусь утверждать, что они по духу русские. Пушкин-то ведь тоже не был русским по крови.

— Значит, все особое, это русское?

— Словом «русское» я определяю не национальность, а тот неповторимый вселенский дух, наполненность светом, привкус, не свойственный больше никому. С разговорами о превосходстве берет верх обыкновенность, хвастаться этим нелепо. Есть такие и среди англичан, но «только в России за стихи убивают», сказал Мандельштам.

— Мандельштам — русский?

— Конечно.

— А Диккенс?

— Диккенс — англичанин.

— Потому, что его «не убивали за стихи»?

— Да, и поэтому тоже. Русскость самодостаточна и парадоксальна. Открытая всем, она замкнута на себя. Беря лучшие мировые ценности, она присваивает их, делая откровенно — своими. То есть ваш Диккенс по большому счету русскому художнику не нужен, художник взял от него дух Рождества. Его в Диккенсе интересует соответствие собственному русскому переживанию, и это не эгоизм. Потому, что от русского художника вы это переживание получили в законченном виде, и восхищаетесь произведением и удивляетесь «загадке русской души»!

Но продолжим. Я говорю о двух древних типах русского сознания, поэтического, реалистичного в высшем смысле, и мифологического, называющего себя реалистическим, но не желающего считаться с реальностью.

— Как это?

— Пастернак пишет:

Мечтателю и полуночнику

Москва милей всего на свете.

Это, конечно, о себе. Мечтатель он? Мечтатель. И этот мечтатель и полуночник между тем оказывается мощным реалистом, открывающим «страшную красоту» русского духа. Он создает «вторую реальность», не уступающую основной. А другой, пекущийся о благе народа, со вселенским замахом, считающий себя реалистом, показывает чудеса мифологического сознания, не связан с живой жизнью, и даже проявляет некоторые признаки психического расстройства, как говорят врачи, «неадекватно реагирует на действительность». Он и свою реальность в руках не

может удержать. Такого русского «реалиста» опыт ничему не учит, факт не самоценен, а воспринимается через призму догм и ложных представлений.

А между тем их расхождение сугубо национально. Победа одного или другого невозможна по определению. «Проклятые русские вопросы» существуют только в России. Они не решаются в споре, так как спорить можно, как известно, только с единомышленниками. Компромисс же для одной из сторон означает либо сделку с совестью, либо отступление от принципов.

Но! Не забывай, что все это только догадка, предположение. Да и вдуматься — бред какой, два русских народа! Такого быть не может. Это далеко от истины. Конечно, легко брякнуть: вот Пушкин, а вот человек, который, кроме этикеток, ничего не читал. В конце концов, месья смутил тот же Пушкин, которого с его умом и талантом «догадал черт родиться в России». И Лермонтов туда же: «Люблю отчизну я, но странною любовью». «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ». И снова Пушкин: «На всех стихиях человек — тиран, предатель или узник». И Розанов с его «свиньей-матушкой Россией», и Чехов, и Достоевский, и Блок, и еще, и еще. Ну, сердце какого русского «сказочника» это выдержит? Конечно, две русских нации — это отсебятина, шито белыми нитками, почти игриво. А все дело в том, что эта двойственность, эти любовь и проклятье, эти свет и тьмущая тьма заключены в *к а ж - д о м и з н а с*. Всякий русский в разладе с самим собой. И «эта штука посильней «Фауста» Гёте»!

5

— Может быть, безбрежные территории повлияли на раздвоенность русского характера, — говорил я, когда мы выпили еще водки. — Чтобы освоить такие большие пространства, нужна была личная инициатива каждого, смелость под стать огромным областям, внутреннее чувство равенства и соответствия им. Лихачев объясняет слово «удаль» как смелость, протянутую в пространстве, устремление в даль. Представь себе и энергию, черпаемую из огромности такой природы, из этих «полей, лесов и рек». В то же время явная невозможность в течение одной человеческой жизни освоить все, завершить равенство с этим

величием, породило мифологичность русской природы, ностальгию по будущему, сделало каждого маленьким царьком, загоняющим в схему кратчайшего достижения свои мечты о «светлом завтра».

Но я не марксист. Не бытие определило русское сознание, скорее, это сознание выбрало себе такие огромные пространства. Разве Штаты малы? Но там каждый живет в своей соте, в ладах с самим собой, гордо поднимает по утрам звездно-полосатый флаг и читает местечковую газету. Что-то другое, свыше, повлияло на нас. Уже затосковав по безбрежности этих полей, лесов и рек, мы завоевали их и освоили свои пространства. Может быть, мы, как египетский Эхнатон, почувствовали всем стадом с в е т задолго до принятия христианства? «Не мир пришел Я принести вам, но меч». Христианство собрало нас и одновременно расколело. Разлом прошел через каждую душу. Оно стало мерой восприятия мира. Может быть, мы единственный народ, который принял Христа не как аксиому, а как нравственную работу каждого, как реальную опору нашей тяге к красоте и мечтательности. А это принесло острое осознание личности. Достоевский замечает, что, скажись закон Христа неверен, русский народ предпочел бы остаться с самим Христом, а не с законом. Вот почему никакие законы правителей в России не воспринимаются всерьез. Человек поступает не по писанному на бумаге, а лишь соизмеряясь с личной внутренней свободой.

Как мы вообще приняли христианство? Почва была уже подготовлена нравственным чутьем и пониманием красоты. Загоняли в Днепр? Да, но откуда этот моментальный, почти мгновенный расцвет христианства на Руси? Говорят, что князь Владимир выбирал, какую веру принять. Что мусульманство он отверг за питейные ограничения. Мол, веселие Руси питье есть! Ерунда, это отговорка. Владимир увидел, что в византийском храме *к р а с и в о*. В этом есть точное чутье — красиво, значит, правда. Нравственно красиво. Он понял, что только христианство способно примирить русского человека с самим собой, и ничто и никогда иное.

— Но откуда взялось у русских это первородное чувство красоты?

— А тут я подойду к тому, с чего начал. Из красоты языка. Это мистика, фантазии, это верно только на художественном уровне, но языки приходят свыше. Свыше, свыше. Русскую природу с ее темнотой, язычеством, но щемящим чувством красоты и правды, поисков ее — сделал именно язык. В красоту языка вошел свет христианства, и это сделало настоящего русского русским, мечтателем и полуночником.

Нравственный выбор каждого продолжается до сих пор, на личном уровне. Воспитание ребенка есть впитывание им языка и скрытых в нем смыслов. Он получил загадку, которую будет разгадывать в течение всей жизни, сначала с родителями, а потом сам.

Всякий русский ребенок еще язычник. Уже заложена в него русская широта и русские страсти, но уже заложена и тяга, тоска по красоте, по неведомому. «Папа, а ты так не можешь!» — говорит этот маленький царек, прыгая на прогулке с маленького бугорка. В нем уже есть эта русская «самость», он же по-русски хочет достичь невозможного. Но только «чудо осознанной речи», книги и мечты делают его человеком. Язык, волнующий, с упрятыми в него жемчужинами тысячелетнего нравственного опыта, язык, слившийся однажды со светом христианства и веером от него расходящийся, не дает ему покоя. Он читает по ночам, с фонарем, под одеялом. Он опровергает смердяковское «про неправду все написано» тем, что печевивает читанное по-русски, может быть, как единственную существующую реальность. Потому, что красиво — значит правда.

6

На дворе стемнело совсем. Это уже была не Англия, не Лондон с его ужасом подлинника, не обособленное глядение на чужой мир со стороны, нет, — весь внешний мир, все немислимое пространство зданий, мостов, парков сузилось теперь до уютного островка света под лампой, но и сошло теперь сюда во всей своей внутренней огромности. В детстве, в школе еще, было одно чувство, дарившее «неизъяснимое наслаждение» от первых осознаний собственной воли. Гремел звонок, призывающий к уроку, и вот уже учитель и все мои товарищи-ученики были на месте, а я медлил на пороге. Еще десять, еще пять секунд, и туда уже будет нельзя, будет поздно, потому, что нужно оправдываться, прерывая урок. Скорее всего я все-таки войду, но это сладкое, своевольное чувство выбора... Промедлить, задержаться — и какие дали откроются, и сколь много запретного станет возможным! Уйти, оторваться от воображаемой погони, подышать и насладиться свободой.

7

Мы пили еще и еще. Как ни мизерны были английские порцийки, но «чем дальше в лес, тем толще партизаны». С поволочными глазами, бурый лицом (наверняка, мое отражение), Мартин откровенничал.

— Я страшно люблю Россию. Я защищал диссертацию по русской литературе. Так я и знал. Россия, это литературный образ. Притягательный, да. Но и насквозь иррациональный. На русской литературе мы познакомились с Лилей. Лиля оказалась мне редким человеком. Ведь у нас не часто встретишь человека, которого интересует литература. Потом оказалось, что равнодушие к литературе у вас считают дурным тоном. И Лиля уже литературой не интересуется. Да. Давай еще выпьем.

— Не переживай, Мартин! — утешал я его.

— А я буду переживать! — упрямылся он, — каждый раз, когда я подписываю контракт о работе с русскими, она предлагает мне поменять профессию. «Не связывайся с русскими!» Это ее любимая фраза. А еще, знаешь, как она меня упрекает?

— Как?

— «Что-то ты обрусел, Мартин!»

— У меня тоже жена не подарок! — утешал я его чем мог.

— Но русскую литературу и Россию я очень люблю. Я их очень люблю, — Мартин начал уже заговариваться. — Только непонятно, почему у вас такая прекрасная литература, и такой ужас творится в стране.

— Это элементарно, Ватсон, — сказал я, не попадая сигаретой в рот и, видимо, готовясь начать свое занудство сначала.

— Какой Ватсон?

— Здравствуйте, приехали. Диккенса не знаешь? — я тоже начал заговариваться.

— Диккенса я знаю, — ответил Мартин с чувством собственного достоинства, — но я специалист по русской литературе.

— А у нас все специалисты! — гордо объявил я.

— По какой литературе? — Мартина уже порядком качало.

— По всякой!

— И все-таки это ужасно! — настаивал Мартин. — Такая литература и такая страна!

— А чем тебе не нравится наша страна?

— Нет, страну я тоже люблю.

— Всемирная отзывчивость. Наши страны в чем-то похожи. Мне кажется, ты немного сгустил краски. Вы ничуть не хуже нас. Вы во многом такие же, — раздавал Мартин комплименты.

— Мы — такие же?

— Да, а что?

— Да ты не понял ни черта!

— Только вам все время как будто не везет.

— Это вам как будто не везет. Что ты знаешь о России? Куда ты... гм... углубляешься? Да русский язык — это опаснейшая штука! Не пей из копытца! Русским станешь!

8

Дернул меня черт глумиться в тот день над нашей борьбой за трезвость и хватать бдительностью наших органов, рассказывая Мартину про утреннюю встречу в холле. Эту ночь мы провели в полицейском участке. Уже за полночь, переходя от столба к столбу, мы не сразу заметили идущего за нами полисмена.

— Во, — сказал Мартин, — заботится о нас. Чтоб мы не упали и не простудились.

Сразу же после этих слов он упал. Упал и я, поднимая товарища. Смутно помню, как нас арестовали. Мартин кричал, что если это шутка, то очень дурацкая, я — и того хуже:

— Пусти, мент!

— Иф ю... — кричал Мартин, — иф ю... как там? — самое поразительное, что попав на весь день в строй не родной ему, русской речи, он только в ней и мог продолжать существовать. Для разговора на английском он уже допился.

— Иностранцев арестовывают! — голосил я, причисляя к иностранцам и Мартина.

В участке попытались добиться наших адресов, чтоб развезти по домам, но Мартин стал кричать на своем гиблом английском, что не потерпит, что это не Россия и т.д. Когда же на вопрос, какое он имеет отношение к России, тот ответил, что он переводчик с русского, весь участок дружно рассмеялся.

— Извините, мистер, но вы и на английском еле говорите! — сказал констебль.

В продолжение беседы Мартин уснул, видимо, от обиды. Я тоже решил, что остаюсь, так как лондонского моего адреса мы не смогли бы вспомнить и всем участком. Да и мог ли я бросить товарища в беде? У меня отобрали ремень и шнурки, чтоб я часом не повесился («А никто и не собирается!» — подумал я злорадно). Мне помогли пройти в соседнюю комнату, где на одной из белоснежных кроватей уже мирно, после тяжких трудов, почивал мой друг, Мартин Тэйлор.

ГЛАВА II

1

Прошло время. Желание Мартина посетить Союз долго натывало на все, какие есть, препятствия, но вот новые ветры задули в моем отечестве.

Однажды зимой, вне всяких ожиданий, в моей московской квартире раздался телефонный звонок, и голос Мартина прорвался сквозь треск, стрельбу и гудение.

— Алексей, привет! Как поживаешь?

— Плохо, Мартин, плохо! — радостно закричал я. — У нас теперь все плохо поживают! Однако, что с вашей телефонной связью? В Лондоне что, революция?

— Это у вас революция! К тому же хроническая! Я звоню из автомата, который находится рядом с гостиницей «Россия»! Представляешь, я только что приехал, а мне не дают ключей от номера! Говорят, что нужно подождать, что номер еще убирают! Я ничего не понимаю!

— Так ты в Москве!

— Ну да. По-вашему, в командировке. У меня есть три дня на Москву, а потом мне нужно быть в Ленинграде, Киеве и Минске.

— Надеюсь, ты приехал не в корзине?

— Нет. Мы сможем сегодня встретиться?

— Разумеется! I' READY!

— Не говори на английском! Ваши автоматы для этого не приспособлены! И так ни черта не слышно!

Вечером того же дня Мартин, поджав ноги по-турецки, уже сидел на моем диване. Жена быстро приготовила ужин, благо нужда ходить по магазинам в тот исторический отрезок времени окончательно отпала, а запасы были всегда под рукой.

Свойство ли это России, но Мартина, несмотря даже на наш дневной обед в «Славянском базаре», еда вдруг стала «страшно интересовать». Было не узнать того прежнего сноба, равнодушно жевавшего овсяную кашку. Мой друг с невиданным вожделием накалывал на вилку скользкие грибочки, соленые, с чесноком, баклажаны, опрокидывал рюмку за рюмкой и проявлял повышенный интерес к запусканью пельменей из морозильника в кипящую воду.

Всякому иностранцу, впервые побывавшему в Москве, предстояло испытать то ощущение шока, связанное с перевернутостью всех здешних понятий, недействительностью и даже нелепостью всего предыдущего личного опыта. И как ни был готов Мартин к царству иной логики и иных ценностей, это чувство не миновало и его.

После первого дня, проведенного в России, он уже не удивлялся таким мелочам, как размеры нашей квартиры и отсутствие нормальных, по английским меркам, благ. Иначе говоря, он уже не спрашивал, какие из окон выходят в наш домашний сад, где мой компьютер для работы над текстом и почему бы пельмени не сварить в микроволновой печи! Как волк, набегавшийся меж красных флажков, он чувствовал себя теперь дома, в тепле, в безопасности, среди друзей. Пельмени варились партия за партией, водка из запотевшего графинчика развязала языки, разговор шел взахлеб.

— А как вам, Мартин, понравился Кремль? — вопрошала моя жена.

— Архитектура восхитительная, — отвечивал Мартин, думая о чем-то своем, — Да. А вот однажды в Лондоне на три дня из всех магазинов исчез сахар.

— Не может быть! Неужели у вас такое возможно?

— Невозможно, но это так. Паника была страшная. Потом еще целую неделю сахар скупали в запас.

— Так что, все сладкое исчезло?

— Да нет, только сахар. Остались, разумеется, все конфеты, джемы, шоколад, но сахара-то не было!

— Это ты к чему, Мартин? — спрашивал я подозрительно.

— Ах, да, извините. Архитектура Кремля просто восхитительна. Я в восхищенье от архитектуры. Но. К несчастью, ту часть Кремля, которую разрешено осмотреть, перепахали на коммунистический манер. Как будто большевики живут не в традиции, а эту традицию подмяли под себя, сделали ее только приправой к своим оффисам. Ну что у могил патриархов за соседство? В церквах устроено нарочно так, чтоб свести на нет все впечатление от красоты. И КГБ всюду шныряет!

— Да чего уж там шныряет. Стоят просто, посматривают. Они ж у себя дома.

— Это украдено у людей, отнято у русской истории. Как будто история это разменная монета, как будто оккупанты говорят: вот наши корни, а сами пляшут на костях предков.

Конечно, не я вам судья. Но я вдруг как будто что-то понял. Раньше я думал, что ваши символы, это Царь-пушка, которая не стреляла, и Царь-колокол, который не звонил... Но теперь так не думаю. Даже остатки того Кремля, прежнего, русского, одним соседством своим подчеркивают лживость нового, ставшего символом большевизма. Да и вообще, что есть советская власть, где ее границы?

— Советская власть есть коммунизм минус электрификация всей страны.

— Я без шуток. Вот ресторан, в котором мы обедали сегодня. Что значит: «у нас нет, но для вас найдется»? Где еще в мире продавец прячет свой товар от покупателя? Это — советская власть.

— У нас в Уголовном кодексе за сокрытие товара статья предусмотрена, — робко возразил я, непонятно с чего взявшись защищать советскую власть.

— О Боже! Это ужасно! И эта власть берется еще что-то построить с такой статьей? Кавардак! — ввернул он русское слово, которым мы уже не пользуемся по причине его маломощности.

— Хорошо, — сказал я с видом победителя, — я покажу тебе ту Россию, которую сам люблю. Но пеняй на себя. Завтра последний день Масленицы. Мы едем в деревню.

Я дозвонился в деревенский сельсовет и через знакомую вахтершу вызвал к телефону родственника жены, которого называл шурином, и

жившего неподалеку. Поболтав о том о сем, я рассказал и о приезде английского друга.

— А Москва ему не понравилась, — говорил я злонамеренно, перегибаясь с женой, — не чувствую, говорит, настоящего русского духа. Толкотня одна, бардак, за все втридорога дерут, товар под прилавком прячут.

Шурин, мнение которого о Москве всегда втайне совпадало с приписанным Мартину, замер в трубке.

— И... надолго он приехал погостить?

— Да нет, через два дня уезжает. Жалко, что мало, а то б мы и к вам зарулили. Картины, музеи, говорит, это все ерунда, это все я уже видел. А вот как простые русские люди живут, это посмотреть, говорит, даже и не мечтаю. Хоть бы, говорит, одним глазком взглянуть.

Шурин, над которым нависла угроза неприезда иностранного гостя, буквально задохнулся в трубке.

— Да это... Да целых два дня... Да вы что! Да мы по высшему разряду, по-русски!

Пытавшегося протестовать Мартина я осадил сразу:

— Молчи, когда русские люди разговаривают!

— Да мы разве не понимаем, как это делается! — надрывался шурин, — да вы только приезжайте! В грязь лицом не ударим! Не впервой! (Тут, если брать иностранного гостя эталоном, он немного загибал.)

— Надо у него спросить, — вел я свою подлую игру, — может, он стесняется! (Беззвучный взрыв негодования с дивана).

— Да что вам Москва! — буйствовал шурин. — Прямо с этой Москвой нянькаетесь: Москва, Москва! А тут — сани с ковром! С самоваром! С водкой! С ветерком прокатим! Все устроим!

— Что ты про меня наговорил! — взвился Мартин, когда я положил трубку, — я не хочу быть в центре внимания! Мне не нужна реклама! Я хотел незаметно, без лишнего шума посмотреть Россию, а теперь что получится!

— Твои английские приседания выведут из себя кого угодно, — стал наступать я, — хочешь понять нас, изволь не вмешиваться в естественный ход событий! Есть ритуал. Хороши б мы были, когда б приехали без предупреждения. Да они б там разобиделись вусмерть за такое невнимание и небрежение, за то, что не упредили появление такого чуда. У нас не бывают в гостях проскокком. К приезду гостей у нас принято

готовиться. Мы будем покидать их, а они уже начнут готовиться к нашему следующему приезду.

— Да, но я же хотел незаметно...

— Там, куда мы едем, незаметно не выйдет. Это исключено. Откатайся свое на санях с самоваром, выпей на морозе водки с икрой (водку и икру нам придется прихватить с собой), а потом будет видно, потом уже незаметно осматривай Россию.

— Разве так возможно?

— А вот посмотрим. Тебя будут принимать «по высшему разряду» (в деревенском понятии, разумеется), и при этом будут плакаться: «вам у нас, конечно, не понравится. Что мы? Мы люди простые, живем просто». Но то, что тебе надо, ты увидишь. Это я тебе обещаю.

— Вы, русские, странные люди. Вам нужно отказаться от крайностей.

— Крайности, это как раз то, что делает нас русскими, — сказал я напыщенно.

— Это заметно, — отвечивал мой друг, надувшись.

3

С утра мы стали собираться в дорогу.

— Зачем столько еды? — любопытствовал Мартин, глядя, как я упаковываю сумку, — разве в деревне ее нет?

— Колхозы — наши кормильцы, — объяснял я, — они производят продукты питания. И мы в благодарность за это их кормим.

— Ничего не понимаю, — упрямылся Мартин, — а они что, сами себя кормить не могут?

— Если они начнут кормить себя сами, их больше кормить некому, и они умрут от голода, — объяснил я.

— Это у вас такая логика?

— Нет, это у нас такая политика.

Костюм Мартина пришлось, что называется, откорректировать. Сушанинскую доху, купленную им для лютых морозов России, я заменил на более прозаическую куртку, а взамен военной шапки-ушанки выдал ему шерстяную спортивную. Оправдывая представления деревенских жителей об англичанине, он должен был выглядеть как москвич.

Народу в электричке набралось не много. Дорога, в обычные дни не балующая впечатлениями, сегодня, как будто специально для Мартина, начала выкидывать один номер за другим. Отчасти я смотрел на происходящее глазами моего друга, но непостижимым образом «этапы большого пути» стали сжиматься до символов, краски сгущаться, а предметы и явления поворачиваться неожиданной стороной.

Мы проезжали мебельную фабрику. Сегодня она, конечно, горела. Дым валил черными клубами, но пассажиры только нехотя, устало повернулись к окнам, что меня немного удручило, так как Мартину могло взбрести в голову, что фабрики у нас горят каждый день. Хотя... Увы, должен сказать я, пейзаж за окном вскоре потянулся такой, что уже и гореть в нем особо было нечему.

Однако через пару минут в вагоне появился гражданин на костылях с просьбой подать погорельцу. Даже плохонькая фантазия могла бы связать два последних явления воедино, но люди в вагоне, оставшиеся равнодушными к пожару на фабрике, живо откликнулись на беды ближнего. Мартин с нескрываемым удивлением увидел, что Россия, безразличная к бедам государственным, не разучилась подавать своим нищим — в шапку погорельца посыпались мелочь и мятые рубли.

Я оглядел вагон и поразился. Вся Россия была тут. Сегодня, чтоб это увидеть, не требовалось даже фантазии. Однажды, в провинциальном музее, я видел панно, посвященное происхождению человека. Какой-то сперматозоид болтался в мировом океане палеозойской эры, а к берегу уже стремился вполне законченный головоногий моллюск. Чуть не касаясь его хвостом, на берег выползала древняя рептилия. Она едва не упиралась хищной мордой в волосатый зад страшного, согбенного гамадрила. Нить эволюции не рвалась — сразу по цепочке, за гамадрилом, гордо приложив ладонь к глазам, в шляпе, с портфелем, озирая строящуюся ГЭС, стоял чиновник образца 30-х, того времени, когда было выполнено панно.

Вся эволюция на паре квадратных метров площади, вся Россия на паре десятков квадратных метров вагона — вот было мое ощущение. И вагон был продолжением того панно, и срастался с ним.

Последнее поколение, неведомое мне, было представлено шестнадцатилетней особой, внимательно читающей Евангелие. Эта книга насторожила полнощекого гражданина средних лет, который, поерзав с минуту, стал наставлять девушку на путь истинный. Девушка никак не

реагировала на слова о своей молодости, несовместимой с литературой подобного типа, о нашей славной молодежи и о монашках, праздно спасающих свою душу посреди буйного моря непечатых дел. Очнувшийся в соседнем прясле старичок, совсем уже реликт, пролопотал что-то насчет «всех к стенке», но перестроечный гражданин имел свой подход, отнесенный по времени от старичкова, и поэтому более гуманный. Когда же прозвучала фраза: «Зачем вам тот свет, когда есть наш, этот?», неожиданно за спиной у проповедника, путая эволюционную цепочку, вырос некий небритый субъект, согбенный, похмельный.

— А тут, батя, ты врешь! — прохрипел он. Было заметно усилие, с которым мозг его посылал импульсы языку, но, то ли импульсы эти до языка еще не доходили, то ли язык гордо отказывался подчиняться голове. — Ат, ты несешь, мужик! Да тут хуже, чем на том свете! Ни потрепаться не с кем, ни похмелиться нечем! Тут вообще нету ничего!

И с размаху откинувшись на сиденье, он вдруг слезно, с надрывом, завел на весь вагон:

— Я могла бы побежа-а-ать за поворот!

Пассажиры повернулись в его сторону. А он выводил старательно:

— Я могла бы! Только гордость! Не-е да-а-ет!

— Почему он поет женскую партию? — сжавшись, пробормотал Мартин.

— Ему нравится песня.

— Кх-м. Я, кажется, начинаю понимать Россию.

4

Мы были на месте, когда уже стемнело. Старушка Анна Михайловна открыла нам и сразу хлопотала.

— Заходите, заходите, милые. Чаек только поспел, согрейтесь с дороги.

Здесь не нужно было ритуальных представлений и приглашений, здесь принимали с открытой душой и запросто.

Я любил этот дом. Попав сюда десять лет назад, я всякий раз потом заходил в него с тем же чувством, охватившим меня впервые. Старинный буфет с доисторической посудой, комод в горнице, аристократически массивные диваны, столы и стулья — еще с тех времен, когда

человек не казался мелочью, щеколды и петли, выкованные кузнецом в начале века, — все это была не провинциальная экзотика, а некое состояние души, обещающее когда-нибудь возврат в еще более замечательные области.

— Бабушка, это Мартин, — сказал я, — он англичанин.

— Вот и хорошо. Раздевайся, сынок, скорее, садись к столу. (Он англичанин. «Вот и хорошо», — сказала бабушка).

Однако, нужно было предупредить здешнее общество о своем появлении. Выпив наскоро чаю с печеньем и показав Мартину дом, я сказал:

— Теперь ты целые сутки будешь деревенский житель. Питьевая вода — на «мосту», туалет — во дворе. Захочешь пить — вот ковшик, захочешь выйти в туалет — вот твоя телогрейка. Все просто, не перепутай. А я побежал к шурина, к Саше.

По дороге, слабо освещенной фонарями, я быстрым шагом пошел на другой конец деревни. Слобода с наступлением темноты уже опустела. Я сразу миновал освещенный клуб, откуда гремела урловая музыка, пятячок с прод- и хоз- магами, и свернул на неосвещенную, хрустящую снегом тропинку.

Наконец света стало прибывать, сельсовет встретил целой аллеей фонарей, а дом шурина был уже рядом.

— Валь, они уже приехали! — то ли поприветствовал меня, то ли обратился к жене шурина. Он пожал мне руку, исполненный внутреннего достоинства, — а где иностранец?

— У бабушки сидит.

— Ну, как он? Отдохнул уже?

— Отдохнул, отдохнул.

— У бабушки ему понравилось?

— Очень.

— У-у! — Шурина потерял ладони, — сейчас саночки сбачаем, винца выпьем (винцом тут именовали самогон), все уже готово!

Секундой раньше я заметил, что задвигалась целая толпа народа, сидевшая до того безмолвно в кухне. Я увидел загруженные сумки, рюмки и чашки, собранные в стопки блюда, целлофановые пакеты с горячей едой, «вспотевшие» изнутри. Шурина командовал отрывисто, как на фронте.

— Так. Елесины, быстро ведите Вальке детей. Карлсон, дуй живо в

конюшню, выводи коней! Нас не жди, ехай прям к бабушке, за угол, как договорились. Вперед, ребята!

Шли, соблюдая субординацию. Впереди мы с шурином, остальные сзади. Шурин сделался важным. Чтобы не показаться слишком заинтересованным, он шел, напыжившись, с деланным равнодушием к предстоящему событию.

— Ну, как у вас тут? — интересовался я менее насущными темами, пока позволяло время, — что новенького?

— Да все нормально. Живем помаленьку. На охоту тут ездили.

— Событий никаких?

— Да какие тут события. Третьего дня тут наше хулиганье в Бунятино наведывалось. Клуб им спалили. Следовательно из района приезжал, Саньку Кузьминых и Кольку Вялого забрали. Наши уж к ним извиняться ездили, да только еле ноги унесли.

— Чего так?

— А капец, говорят, вашему клубу. Вы наш спалили, и мы ваш спалим. «Клуб за клуб, око за око», — подумал я, но промолчал, чтоб не вносить лишней путаницы.

— А Таня че не приехала? — любопытствовал шурин, — с ребенком сидит?

— Ага.

Вдруг случилось неожиданное. Подходя к клубу, я издали заметил вокруг него какое-то скопление народа, движение, не бывшее раньше.

— Так, этого еще не хватало! — отрывисто сказал шурин, ускоряя шаг.

— Что случилось?

— Накаркал я насчет бунятинских. Девки, в сторону, и — не вмешиваться! Сторожите пакеты. Ребята, за мной, быстро!

— Саня! — орали уже из толпы, заметив нас, — бунятинские тут! Быстрее, быстрее!

Не успели мы подбежать, как толпа, числом до полусотни, посыпала нам навстречу.

— Где бунятинские?! — заорал шурин.

Толпа расступилась, и, к моему неописуемому ужасу, двое вывели пред наши очи, держа за руки, одетого в телогрейку и испуганно озиравшегося Мартина Тэйлора!

человек не казался мелочью, щеколды и петли, выкованные кузнецом в начале века, — все это была не провинциальная экзотика, а некое состояние души, обещающее когда-нибудь возврат в еще более замечательные области.

— Бабушка, это Мартин, — сказал я, — он англичанин.

— Вот и хорошо. Раздевайся, сынок, скорее, садись к столу. (Он англичанин. «Вот и хорошо», — сказала бабушка).

Однако, нужно было предупредить здешнее общество о своем появлении. Выпив наскоро чаю с печеньем и показав Мартину дом, я сказал:

— Теперь ты целые сутки будешь деревенский житель. Питьевая вода — на «мосту», туалет — во дворе. Захочешь пить — вот ковшик, захочешь выйти в туалет — вот твоя телогрейка. Все просто, не перепутай. А я побежал к шурина, к Саше.

По дороге, слабо освещенной фонарями, я быстрым шагом пошел на другой конец деревни. Слобода с наступлением темноты уже опустела. Я сразу миновал освещенный клуб, откуда гремела урловая музыка, пятачок с прод- и хоз-магами, и свернул на неосвещенную, хрустящую снегом тропинку.

Наконец света стало прибывать, сельсовет встретил целой аллеей фонарей, а дом шурина был уже рядом.

— Валь, они уже приехали! — то ли поприветствовал меня, то ли обратился к жене шурина. Он пожал мне руку, исполненный внутреннего достоинства, — а где иностранец?

— У бабушки сидит.

— Ну, как он? Отдохнул уже?

— Отдохнул, отдохнул.

— У бабушки ему понравилось?

— Очень.

— У-у! — Шурин потер ладони, — счас саночки сбцааем, винца выпьем (винцом тут именовали самогон), все уже готово!

Секундой раньше я заметил, что задвигалась целая толпа народа, сидевшая до того безмолвно в кухне. Я увидел загруженные сумки, рюмки и чашки, собранные в стопки блюдца, целлофановые пакеты с горячей едой, «вспотевшие» изнутри. Шурин командовал отрывисто, как на фронте.

— Так. Елесины, быстро ведите Вальке детей. Карлсон, дуй живо в

конюшню, выводи коней! Нас не жди, ехай прям к бабушке, за угол, как договорились. Вперед, ребята!

Шли, соблюдая субординацию. Впереди мы с шурином, остальные сзади. Шурин сделался важным. Чтобы не показаться слишком заинтересованным, он шел, напыжившись, с деланным равнодушием к предстоящему событию.

— Ну, как у вас тут? — интересовался я менее насущными темами, пока позволяло время, — что новенького?

— Да все нормально. Живем помаленьку. На охоту тут ездил.

— Событий никаких?

— Да какие тут события. Третьего дня тут наше хулиганье в Бунятино наведывалось. Клуб им спалили. Следовательно из района приезжал, Саньку Кузьминых и Кольку Вялого забрали. Наши уж к ним извиняться ездили, да только еле ноги унесли.

— Чего так?

— А капец, говорят, вашему клубу. Вы наш спалили, и мы ваш спалим. «Клуб за клуб, око за око», — подумал я, но промолчал, чтоб не вносить лишней путаницы.

— А Таня че не приехала? — любопытствовал шурин, — с ребенком сидит?

— Ага.

Вдруг случилось неожиданное. Подходя к клубу, я издали заметил вокруг него какое-то скопление народа, движение, не бывшее раньше.

— Так, этого еще не хватало! — отрывисто сказал шурин, ускоряя шаг.

— Что случилось?

— Накаркал я насчет бунятинских. Девки, в сторону, и — не вмешиваться! Сторожите пакеты. Ребята, за мной, быстро!

— Саня! — орали уже из толпы, заметив нас, — бунятинские тут! Быстрей, быстрей!

Не успели мы подбежать, как толпа, числом до полусотни, посыпала нам навстречу.

— Где бунятинские?! — заорал шурин.

Толпа расступилась, и, к моему неописуемому ужасу, двое вывели пред наши очи, держа за руки, одетого в телогрейку и испуганно озиравшегося Мартина Тэйлора!

Огромной пятерней, измозоленной о руль (здесь вся молодежь мужского пола работала водителями), сын испанца сцапал руку Мартина, назвавшись. Никто не вмешивался. Встречались два посланца иных миров.

— Зовут Мартин, знаю! — просипел Рикардо, — а как, извиняйте, по отчеству?

— Я не знаю, — сник Мартин.

— Ну, это по-русски, по-ихнему, значит (он указал на нас), как, значит, извиняйте, звали твоего отца?

— Рэймонд. Его и сейчас так зовут.

— Во! Как Паулса. Значит, Раймондович. Мартин Раймондыч, значит.

Мартина спасла жена Рикардо, такая же огромная весовщица Люся (все молодые женщины работали здесь весовщицами, бухгалтерами, библиотекарями и т.д.). Она потянула мужа за полу ватника:

— Коль! (да, Рикардо здесь звали Колей). Хватит те трепаться! Не отвлекай человека!

Бабушка встретила нас всплеском рук.

— И-и! Нашелся, сердечный! Господи Иисусе Христе, я уж до смерти перепугалась! Ушел из избы — и нету! Дверка-то в туалету не прикрыта. Я уж (тут она хитро прищурилась) грешным делом и в дыру-то лампой светила (смех, русский юмор), думала, чай, утоп.

— Мартина, баб, в клубе арестовали, — сказал шурин, едва ли не с гордостью за свой клуб.

— Батюшки! Что ж он, шпиён какой-то, чтоб его арестовывать!

— Да не, мы вовремя успели. Блины, ба, не остыли? Давай стопку блинов прям с тарелкой. Пирожков, баб, давай с печенкой. Коль, самовар помоги принести. Лёш, водка не теплая? Бутерброды икрой щас намажем, или уже потом, на месте, — суетился шурин.

Когда все было готово, мы вышли на улицу и шурин пронзительно свистнул. Как по волшебству, под фонарем с мерцающими в свете искорками возникла фыркающая белым паром и бьющая копытом лошадь, и просторные розвальни, устланные ковром, в котором я узнал ковер шурина, снятый по такому случаю со стены. Некто Карлсон, обметая веником снежинки с ковра, воскликнул:— Просим нашего гостя! А с ним можно и несколько человек из честной компании!

Это была наиболее корректная здесь форма интернационализма.

Мартин уже с любопытством поглядывал на происходящее, пони-

мая неизбежность событий, но более, кажется, уже начинающий в них вращаться.

— Да, Мартин, да, — сказал я в ответ на его вопросительный взгляд, — надо садиться.

— Ну что ж. Ребята, как вы считаете, куда мне лучше сесть? — спросил этот новоявленный барин.

Его усадили на заднюю лавку. Слева Тэйлора подперли мной, справа воссел шурин. Еще трое из компании сели вперед, пытались сесть еще люди, но шурин воспротивился. Карлсон вскочил на облучок, натянул поводья и воскликнул классически, хотя и в единственном числе:

— Н-но, залётная!

Залётная нехотя стронулась с места, снег тяжело крикнул под полозьями, но вот разогнались, помчались, полетели.

И какой русский не любит быстрой езды! Есть в этой бессмысленной, бесцельной гонке нечто, что отвечает скрытым желаниям нашей души. Какого рожна здесь больше — охвата времени или пространства? Желание ли это созидателя поторопить события или раба — очертя голову вырваться за пределы отпущенных границ? Деревня, обступавшая нас вплотную домами, фонарями, линиями слобод, заборами и совхозными постройками, вдруг оказалась горсткой далеких огоньков. Каких-нибудь двести метров дистанции превратили ее в игрушку. Нас обступила огромность открытого пространства, светлого и ночью от снега.

Мы катались, пока не замерзли. За околицей, на Вёшне, нас уже ждали оставшиеся. Ярко полыхал масленичный костер, на импровизированном столе топили самовар, раскладывали закуску, раздавали пластиковые стаканчики с водкой. Это не походило на виденное Мартином ранее, скованность оставила его, он улыбался, топчась на морозе.

Умotalся я сегодня! — восхищенно жаловался Мартину Рикардо, — у них тут все не по-людски. Три с половиной часа в кабине ждал, пока меня разгрузят. Слава Богу, у меня хоть голова хорошо устроена, во, смотри, — он снял шапку, — хорошо устроена, вот. Тут, видишь, такое плоское, как бы срез. Я в кабине к стенке голову удобно приложу и хоть посплю часок.

— Мой пациент постоянный, — имея в виду Рикардо, обращалась к Тэйлору медсестра Рая, — вечно, то обморозится, то глюкозу ему вколи. Драться не умеет, но в районных соревнованиях по борьбе всегда вы

ходит против мастеров спорта, от нашей деревни. В результате — вывих двух шейных позвонков, остеохондроз и многое другое.

— Я хочу произнести этот великолепный тост, — сказал вдруг шурин, посерьёзнев и поднятой рукой призывая к молчанию, — за нашего дорогого гостя из Англии.

Толпа сбилась в кучу.

— Я также хотел бы пожелать ему крепкого здоровья... э-э... (шурин еще раздумывал), э-э... счастья в личной жизни и успехов в труде.

— На благо капиталистического строительства! — ввернул кто-то.

— Да заткнись ты! — набросились все.

— А Англия капилисти... капти... каптилистическая страна иль нет? — спросил вдруг Рикардо, когда выпили.

Компания подняла его на смех.

— Ну ты, Николай, даешь! Уж небось не социалистическая! — это прозвучало уже с ноткой обиды за Англию. Такое о ней подумать!

Помощник егеря Сеня, единственный из здешней компании неводитель, считавшийся в силу своей профессии местным интеллектуалом, спросил, заглаживая рикардину неловкость:

— А как далеко Англия от Америки?

Настало его время. В компании был иностранный гость, и не какой-нибудь драный Рикардо-Николай, а настоящий. И поговорить с ним нужно было на уровне, самому не ударить в грязь лицом и престиж соотечественников не уронить.

— Я точно не знаю, — отвечал Мартин смущенно.

— А какова информация в Англии об советской стране? — продолжал светскую беседу Сеня.

— Самая полная, я считаю. Я, например, дома смотрю по телевизору вашу первую программу.

— Мы тоже ее регулярно смотрим. А не видели вы случайно фильм «Вечерний звон»? Его недавно транслировали.

— Нет, к сожалению.

— Жаль. Очень познавательный фильм о деревне.

— Погоди, погоди, чтой-то за «Вечерний звон»? — оживилась публика, не любящая белых ворон, — почему мы не смотрели? Мы все смотрим.

— Ну, многосерийный. «Вечерний звон».

— Никакого «Вечернего звона» мы не смотрели.

— Ну, «Вечерний звон» же.

— «Вечный зов», — уточнил я.

— Тьфу. То есть, «Вечный зов», конечно.

— Мы и заграничные фильмы часто смотрим! — поддержал разговор шурин. Вот про каратэ тут кусочками показывали. Этот, как его... «Школа...» Сень, как там?

— Шауляя.

— Да. «Школа Шауляя». (Имелась в виду «Школа Шао-линя»).

— Если товарищ иностранец хочет, — вновь подхватил нить разговора помощник егеря, — то я завтра могу организовать осмотр наших угодий. Я думаю, ему будет интересно осмотреть наши выдающиеся достопримечательности.

— Нужны ему твои угодья! — неодобрительно загудела толпа. — Что у них, в Англии, кормушек для лосей не видели?

— Не скажите, — важно обиделся Сеня. — Наша работа наиболее выдающаяся. Мы — смертники. (Мартин в ужасе посмотрел на Сеню). Да, мы — смертники. И обе собаки мои — смертники. Неоднократно ходили по кабану. Мне егерь, Митрофаныч, так и говорит: «Все мы тут смертники».

— Да будет те врать! — не поддержала его, веселясь, мужская половина. — Да кто ж тут из нас не ходил по кабану? «Смертники»!

Но Сеня не унимался.

— Это вам не руль крутить! — вскричал он, — тут работа выбиралась предположительно по сердцу! И я это сейчас докажу делом! Ружье принесли?

Мартин искоса посмотрел на меня, решив, видимо, что тут затевается дуэль. Шурин выхватил откуда-то из-под дрожек винтовку и, красиво, как в фильмах про индейцев, бросил ее Сене. Сеня столь же красиво, почти не глядя, ее поймал.

Метрах в десяти в снег воткнули пустую бутылку. Народ почему-то хихикал. Сеня, зарядив винтовку, не долго думая, вскинул ее. Выстрел прогрохотал, бутылка разлетелась вдребезги. Помощник егеря скромно потупил глаза, но толпа заулюлюкала. Меня тоже посетило подозрение, что номер предназначался исключительно для Мартина, а столь скромное расстояние было выбрано Сеней для верного успеха.

— Дай-ка я, — отобрал «мелкашку» шурин, тоже, подлец, чуя затылком нашего гостя. — Стреляю через зеркало! По-русски!

— Погодь стрелять, давай сперва еще выпьем! — предложил Рикардо.

— Я т-те выпью! — сказала Люся. — Стрельнет, потом и выпьем. Стреляй, Саш.

Шурин достал из кармана ватника — заранее припасенное! — зеркало, повернулся спиной к новой посудине-мишени и стал целить. Прозвучал еще один выстрел, шурин в ужасе приник к зеркалу, потом вывернулся винтом, но было и так ясно — не попал. По извечной русской традиции поисков врага он внимательно осмотрел ружье, потом руку, потом подозрительно — лица соратников.

— Черт, палец соскочил. Курок скользкий. И вы тут тоже — разорались. Все тихо!

Шурина сочувствовали, по дружбе и из патриотических соображений. Даже Рикардо согласился потерпеть до новой попытки.

Вторая попытка шурину удалась, народ заплодировал.

— Так тебе на последней охоте надо было через зеркало стрелять! Тогда, глядишь, и попал бы! — съязвил Сеня.

— Да ты ж сам-то..., — задохнулся шурин, — да ты ж сам-то тогда ничего не убил!

— Настоящие охотники, — поучительно и важно парировал Сеня, — не говорят: «убил»! Они в соответствующем факте говорят: «взял»!

Шурин напыжился, мучительно подбирая, что ответить, но, как часто бывает, положение спасла женщина. Люся мощно, но добродушно сгребла помощника егеря в охапку и пророкотала:

— «Взял», говорят про женщину, болван, а когда убил, то убил. Смотри, как бы тебя, Сеня, а потом и твоих собак по очереди, кабан не «взял»! Смертники!

Жеребьяче ржание было ответом на люсины слова. (Чтобы не было недоразумений, уточню сразу: смеялась, конечно, не лошадь, а компания). Стали стрелять по очереди. Зеркало шурин спрятал, чтобы неповадно было кому повторить его подвиг. Бутылки легко опустошались и легко поражались. Условия усложнили, расстояние до цели увеличивалось.

Наконец, стали искоса поглядывать на Мартина. Возникло затишье. Мартин, не колеблясь, заведенный уже коллективной стрельбой, взял винтовку и прицелился. Затишье превратилось в безмолвие.

— Долго не целься! — напутствовал шурин. — Лучше стрелять, пока рука не устала.

Дилетантски гуляя стволом, Мартин выстрелил — и попал! Шум одобрения пронесся, но тут же опять все затихли, глядя на шурина.

— Повторить, — выдавил шурин, подлец.

Компания напряженно ждала. Попадание Мартина не укладывалось в их схему. Своим промахом англичанин должен был навсегда укрепить и самолюбие деревни, и пожизненность их занятий.

Тэйлор вскинул винтовку и, прицелясь моментально, выстрелил. Посудина разлетелась вдребезги, брызнув отразившими костер осколками. Оба попадания были чистой случайностью, необъяснимым везением начинающего, но что произошло с компанией! «Охотник, брат!» — были готовы воскликнуть все. Стена рухнула, магическое и пугающее понятие «иностранец» вмиг испарилось, посвящение в «свои» состоялось. Здесь был особый мир. Здесь не выражались городской заумью, слова здесь мало что значили.

Что слова и смысл их? Здесь изъяснялись умением метко попасть в цель, выследить по следу кабана и по-царски принять гостя. Какое облегчение, что Мартин умеет стрелять, что ему не чужд этот всеобщий для нормального человека интерес! А если ты еще и даешь себя принять!

Через полчаса бывший Рикардо уже обнимал Мартина, «поплывшего» от всеобщей, свободной от пут географических условностей, любви, и говорил ему:

— Раймондыч, родной ты наш! Я вот тоже, например, смотрю на тебя и думаю, вроде ты англичанин, а зато вот какой... ну, в доску свой, наш, стало быть! А еще стеснялся!

— Нет, почему, я не стеснялся! — возражал Мартин.

— Дай я тебя поцелую по-сестренски, — требовала огромная Люся.

— С удовольствием! — соглашался Тэйлор, не кривя душой.

— А чего ты в клубе дал Тришкину себя изловить? — тянулся к гостю душой шурин, — втер бы ему раз и сказал бы, что я, значит, от Саши Шушпанова, он бы не пикнул! (Шурин явно терял хронологическую нить). Ах, какая Валька моя ду... кха... как, значит, жалко, что Валька не пришла! Так сидим! (Шурин не ладил уже и с логикой, жена его была при делах).

Мартин бормотал на это:

— Нет слов. Я просто впервые так... Вот так вот...

Карлсон, которому, как извозчику, поступила команда от шурина «пить через стакан» (то есть через раз), роздал еще водки, всем выдали по бутерброду с икрой. Только шурина себе взял вареную картофелину.

— Я вообще-то к икре — так... Мы люди простые, живем скромно... — наконец, дождался я обещанного Мартину, — Но! — вдруг сломал мои предположения шурина, — думаю, что тебе тут у нас понравится! Тут хорошо. Я нашу деревню лучше всего люблю!

Он помолчал секунду, задумался, видимо, вспоминая былое.

— Вот помню... — начал он какое-то повествование, но сразу съехал не туда, — ...старики рассказывали. Раньше жизнь была другая. На Маслицу молодежь чучела жгла. Сейчас что, сейчас уже не то (!). Но! Я свою деревню лучше всего люблю.

— За деревню! — крикнул Мартин после этого прочувствованного рассказа. — И за вас, ребята!

— Ура! — грянули все.

— Ах, хопть! — вскричал шурина. Он уже успел выпить и, закусывая, едва не сломал зуб об окаменевшую на морозе картофелину, — У вас икра тоже замерзла? — спросил он с подозрительным сожалением.

— Не бойсь! Рассосем!

— Все пропьем, меха оставим! — надрывался Рикардо (Имелась в виду гармонь).

Вдогон! Вдогон! За Раймондыча!

— Ура! Ура!

Прыгали через костер. В числе первых, как-то уже по-деревенски взвизгивая, прыгал и Мартин.

— Смотри, обожжешься, — пытался я умерить его пыл, — я нашим врачам расскажу, какой ты пьяница!

— А-а! — горланил он. — Причем тут врачи! Врачи уже все знают! А милиции тут нет, никто не арестует! Гуляем! Свобода!

В конце пирушки пытались выпить с лошадьёю на брудершафт, заводя ей стакан за ногу (и, видимо, чтоб в дальнейшем называть ее на «вы»), но Карлсон воспротивился. Потом погрузили в розвальни Рикардо, нас с Мартиным отвезли к Анне Михайловне, остальные разбрелись по домам.

6

Утром я открыл глаза и огляделся. Утро было добрым. Солнечный свет заливал всю огромность комнаты до самых дальних уголков. Окна горели нестерпимой для глаз платиновой наледью. Со льдом соседствовали живые цветы на подоконнике, герань в горшках. По комнате растекалось тепло, терпкий деревенский запах нагретого старого дерева, запах уюта и с детства остановившегося времени. Посреди комнаты уже был накрыт огромный стол, где в плошках, тарелочках и мисках уже томились соленые огурчики, в пупырышках, с прилипшими кисточками укропа, грибочки-помидорчики, колбаска «за 2.90», «имени «Докторской», сало и солонина. Центр стола венчала запотевшая литровка из-под болгарского вермута, с самогоном. Бабушки в комнате не было.

— Мартин! — позвал я, — Как ты к овсянке на завтрак?

На печке, за занавеской, зашевелился наш герой, уложенный вчера туда не для экзотики, а по причине бабушкиных переживаний, вообразившей, что за граница есть сплошной южный рай. Гость, еще не вполне проснувшись, уже с каким-то, однако, странным недоумением пробурчал:

— Кашу? Овсяную? Хм.

Это было что-то новенькое, все новее и новее. Занавеска откинулась, голова Мартина показалась.

— Ух! Я сразу почувствовал, что ты меня разыгрываешь!

Бабушка появилась, захопотала, тоже счастливая оттого, что гости проснулись и теперь все сходится. Ведь ее тоже нужно понять, читатель. Ведь вода, согретая для умывания, стынет в рукомойнике, а неумытым ведь не сядешь за стол. И пока не тронуты огурчики, не дойдет дело до горячей картошки с жареной свиной, а там и до чая с пирожками, а там и до просто долгих посиделок и разговоров за столом. Ведь пока гости спят, день, хоть и начался, а не имеет смысла, потому что цепь событий разорвана.

— Садитесь, садитесь, голубчики, — говорила бабушка, — выпейте по лафитничку, поправьтесь, кушайте, я вам тут собрала немножко.

— Почему это я так себя хорошо чувствую? — с сомнением спросил Мартин. — Ты знаешь, — продолжал он, помолчав, — какое-то странное ощущение... Мне вчера было неловко сначала, а потом это прошло.

— Ну, и что?

— Нет, не то. Когда неловкость прошла, я поймал себя на мысли, что нахожусь как будто среди своих, как дома. А потом подумал: «Что за чушь! Ни дома, ни среди своих я до сих пор так себя не чувствовал.»

— Ты о самочувствии говоришь? — не трудился я разгадывать его шарады, — воздух тут хороший.

— Ты меня слышишь или нет? — кипятился он, — Я говорю о другом. Я вчера был благодарен ребятам, что они перестали видеть во мне чужого, иностранца, и приняли как своего. Но в глубине души я чувствовал, что не соответствую их оценкам. Потому, что я не могу быть одним из вас! И это вызывает у меня почему-то горькое сожаление. Мне захотелось побыть вчера хоть немного, хоть минуту, русским. Не то, что бы я хотел перестать быть англичанином, нет. Но как будто во мне недостает того, что в вас уже есть сполна. Понял?

— Понял, — сказал я.

— Я никогда еще не был таким свободным. И знаю теперь точно, что никакой свободы нет у нас!

— Мы ли вас свободней? — спросил я с каким-то библейским оттенком.

— Ты что, не понимаешь? Я говорю о сво-бо-де! У нас, при всей нашей свободе, — выбираешь из того, что тебе предоставлено. TO BE OR NOT TO BE, черт возьми! Это же иллюзия свободы — выбирать из того, что есть! Мы в плену предоставленного нам выбора! Заказать это или то, согласиться на этот контракт или на тот, помочь этому или тому — вот наша свобода. А у вас совсем другое. Знаешь, все это лубочная ерунда — сани, самовары. Но за этим что-то открывается такое невероятно большое, щемящее... Я скажу глупость, но ваша свобода как будто держится на том, что даже из навязанного вам выбора вы можете выбирать что-то абсолютно иное, постороннее, свое, личное. Или вообще позволить себе роскошь ничего не выбирать.

— Что-то туманно выражаетесь, мистер.

— А, черт! Не могу яснее! На меня что-то такое нашло вчера, необъяснимое, вне здравого смысла. Какое-то всеобщее братство, слияние со всеми, растворение в друзьях, через костер захотелось попрыгать! Видела б моя жена!

Мартин как-то недобро сощурился, задумался, будто чего искал в себе.

— А ну-ка, чего мы сидим! — требовательно вдруг расщурился он.
— Налей-ка мне самогону. Самогону хочу!

— Да у нас водочка осталась.

— Самогону!

— Ну что ж, давай дриньканем, — потянулся я к бутылке.

Мартин вдруг вспыхнул.

— Послушай! Пожалуйста, не говори так. Здесь это не вполне уместно. — Вот, — он вдруг опустил на стол поданную ему рюмку. — Вот, надо поймать, пока не ушло. Ты сказал сейчас эту глупость, это ч у ж о е слово, и как будто некий клинышек вбил в наше с тобой взаимное понимание. Ты сфальшивил. Понимание! Понимание, вот что! За словами, за говорением, даже таким бессмысленным, как вчера. Ведь вы же, — он едва ли не с ужасом посмотрел на меня, — ведь вы же все — хитрецы! Вы же все друг друга понимаете без слов! И что ты мне плел в лондонском кабаке насчет русского языка? А? «Истинно русскими нас делает русский язык-ы-ык!» — Мартин передразнил меня, — Где он тут, твой русский язык? Почему эти русские люди, которых я до безумия полюбил, говорят на нем тем не менее еле-еле? А? «Ребенок с языком впитывает гармонию мира!» Где же логика? Где же тут логика?

А и к черту твою логику! — отвечал я, смеясь, — Нет тут никакой логики. Это у вас логика, а у нас — русская действительность!

— Значит, твоя теория трещит по швам? Да? Значит, напел?

— А и к черту все теории. Давай лучше по маленькой.

— Знаешь, — продолжал Тэйлор, когда мы «поправились» (больше по обычаю, чем то требовалось), — мы сейчас позавтракаем, и — ты только не возражай! — я пойду один, похожу по деревне, подумаю, может быть с кем-нибудь еще и поговорю. Я хочу все это понять до конца. Тут дело во мне одном. В магазине ничего не нужно купить? Деньги советские у меня есть.

— Ну, купи чего-нибудь, — сказал я лениво, — если чего найдешь.

Но я все еще недооценивал моего друга.

— Из-под прилавка куплю! — заявил он решительно. Протянутую телогрейку он отверг и, одевая цивильную куртку, сказал:

— Здесь тоже нормальные люди живут.

7

Наше большое русское «духовное родство», которое допекло Мартина, часто совершенно не совпадает со столь же большими по ужасу внешними, бытовыми формами. Мартин вернулся раскрасневшийся, с мороза. В одной руке он держал за хвост еще капающую рассолом селедку, а в другой — две сотенные купюры.

— Что это за деньги? — насторожился я. — Ты почему, браток, селедку купил, а?

— Да нет, нет, не волнуйся. Я с продавщицей познакомился. Она дала мне эти деньги и попросила, чтобы я через тебя передал ей джинсы. Пятидесятый размер, надо не забыть. Я не мог отказать.

— Неси назад! — завизжал я. — Хотя нет, стой, я сам!

— Любань, ты б хоть селедку ему завернула! — стыдил я пять минут спустя оборотистую продавщицу. — Иностранец ведь! Не поймут нас на Западе.

— Да понимаешь, мне неловко как-то, — оправдывалась та, — бумаги опять не дали, а в газету неудобно.

И, подмигнув мне, добавила:

— А что, иностранец-то, говорят, вчера... того... давал жару-то, а?

— Кто говорит? — зарычал я.

— Да нет, я так, что ты! Нарядоваться не могут! Говорят, мол, иностранец, а душой — прям совсем наш!

8

Мы уезжали. Во время сборов к калитке подкатила целая колонна машин, и шурин, выскочив из кабины первым, крикнул:

— Слава Богу, успели!

— Раймондыч, жив? — все меряя по себе, спешил уже Рикардо.

Привезли и Сеню. Все собрались и все замолчали, как бывает при всяком расставании. Трогательным было это расставание. Мартин запросто обнялся с каждым из провожающих, на глазах его — такого ли англичанина я помнил? — навернулись слезы. Ему, смущаясь, насовали кучу

подарков, а Сеня преподнес отлично выделанную им самим шкуру бобра.

— Если когда-нибудь... надумаешь... получится... — сказал, запинаясь, шурин, — будем ждать.

— Поверьте, — пробурчал Мартин, — мне никогда не хотелось так не уезжать. Мне нигде еще так хорошо не было.

В историю деревни на глазах входила новая легенда. Всему еще надлежало быть вскоре. Появление здесь Мартина еще не отстоялось в разговорах, спорах и уточнении деталей. Событие еще не догнало деревню по прошествии времени. Еще будут опрошены свидетели и очевидцы, станет героем молодежи арестовавший Мартина Васька Тришкин, станет объектом насмешек с глупой гордостью во всем сознавшаяся продавщица Любания, выстрелами Мартина нет-нет, да попрекнут друг друга промахнувшиеся на охоте...

Но ты, дом... Ты не «догнал» еще и Мартина, да и меня самого тогда еще не «догнал».

Таких домов уже нет на земле. Тебя, всякий раз возвращавшего мне детство, я и покидал всякий раз так, будто сюда уже никогда не вернусь. А почему — понял только потом, когда уже было поздно.

Это был не музей, хотя все старинные вещи оставались на своих местах. Это был даже не жилой музей, хотя все старое и начинающее ветшать сразу чинилось и штопалось, продолжая свою жизнь. Здесь все было не то, что было живой памятью о прошлом, а само прошлое избрало этот дом своей резиденцией. Можно было дотронуться рукой не до старой вещи, а до живого и продолжающего жить былого.

Сюда нельзя было войти, не оставив за дверью большую часть новоприобретенных предрассудков, принимаемых нами за жизненный опыт. Они мельчали в таком соседстве. Я переступал порог и оказывался в другом мире, времени, измерении ценностей. Молодые предки смотрели с фотографий, они тоже оставались хозяевами этого дома, вот только сегодня отсутствовали.

Да и нынешнее штопанье было не спасением вещи, а восполнением самого прошлого, пополнением того монолитного целого, неведомого за этими стенами. Это не было старческим крохоборничаньем, «починкой лампочек». Так берегут скрипку, которая лишь со временем приобретает звучание, так некоторые блюда нельзя приготовить быстро, так набирают новых солдат в ряды старой гвардии, наваливая на них весь опыт, тради

ции и славу предшественников. Здесь не признавали «чистых листов» и «понедельников», здесь берегли, а новое вращало и пополняло, продолжая ту же мелодию. Да и не было здесь ничего, граничащего с убожеством, потому, что вещи были наполнены временем изнутри, настоялись на нем и законсервировались им. Мы стаптывали ботинки, меняли одежды и стиль их, а коврики, набранные из разноцветных кусочков материи, гобелены с пасторальными сценками, занавески и шторы молча смотрели на наши старания.

Через какие бури ты, дом, прошел, а ни единой детальки в тебе не изменилось. Ты не поддался ни на одно веянье времени, не изменил своим расчетам на вековую обустроенность. Ты отказался принять во внимание, что в любой из дней сюда может войти какой-нибудь гамадрил с маузером, как уже было однажды, да нашлись тогда дома побогаче, то есть поновей.

Итак, прощай, дом, прощай — и уже навсегда. И Вы, Анна Михайловна, прощайте. Конечно, мы еще когда-нибудь увидимся, Вы это лучше меня знаете. А иначе зачем же тогда в с ё? Но я не могу себе ничего объяснить. Как Вы жили — плохо ли, хорошо? Бедно или богато? И что здесь вообще можно мерять, с чего начинать?

Вы никогда не жаловались на жизнь. Хлопоча о ближних, никогда не напоминали о себе. Вы ходили в церковь, пока ее не сломали. Вы жили среди нас тихо, незаметно. Кто считался с Вами, Анна Михайловна, когда мы ссорились или принимали собственное великое решение? Оставаясь в тени, Вы говорили тихое, любящее слово — и все улаживалось как бы само собой. Вы были нам меркой, а мы носились с нашей современностью. Такие люди уходят, и все разваливается. Ваш смысл обозначился с Вашим уходом — и вот уже вещи ветшают, превращаясь просто в старые вещи, и никто не чинит их, а появляются в доме новые, знать не желающие о прошлом. И старые вещи себя уже стыдятся, когда устанавливаются газовые плиты и японские телевизоры в бревенчатых углах, и цветы уже не выносят соседства со льдом. Да право, большевики ли виноваты? И что делать, если времени, кроме Вас, некому уже противостоять? С новыми вещами теплей и уютней, но откуда чувство, что все это — потери, откуда эта горечь непонятная?

ГЛАВА III

1

И вот через год я снова очутился в Лондоне.

Близилось Рождество. Казалось, праздник без остатка весь вынесен на улицы. Как бы не в силах оставаться в витринах, выплеснулись наружу и щедро рассыпались повсюду и все волшебные вещи Рождества — бородастые Санта-Клаусы, коробки, ленты, флаги, гигантские хлопушки, магические клюки и чулки, шары, звезды, колпаки волхвов и старые рождественские хиты группы «Слэйд». Здесь над природой хорошо поработал художник — в ветвях деревьев по вечерам бегали огоньки, а исполинские еловые ветки были декорированы лентами золотой фольги и монограммами. Все окружающее было замешано на этом, и уже почтовые тумбы, телефонные будки и двухъярусные автобусы включались в игру, становясь частью этих волшебных вещей.

А Лондон был уже частью меня. Я ревновал его к прохожим. Он был слишком мой, чтобы принадлежать еще кому-то, чтобы его кто-то еще любил и понимал, и любовался им. Я не чувствовал себя, как впервые, чужаком, что боится несоответствия принятому здесь, теперь незнакомые люди ходили по моему городу.

Ах, как замечательно такое одиночество! Как щемяще и как по душе оно тебе, Алексей Милюков, мечтательный собственник и эгоист!

В юности, на вечеринке, ты замечал иногда удивительное создание «не из этой компании», девочку-незнакомку, но неслыханно свою по принадлежности к тому образу мира, которого ты сам был частью.

А ее здесь берегли как сокровище, и со всепрощающим пониманием смотрели на тебя. И твое внимание к ней для всех было очевидным, а это особенно угнетало, ведь никто тут не имел на нее права, кроме тебя, эгоиста, но лучшего на свете ее ценителя и обожателя. Тебе нужно было поразить ее немедленно, а язык твой тяжелел так, что окружающие тебе удивлялись. И умности все были невпопад, «к чаю» или к чужой развязной легкости. Попахивало занудством.

Ты танцевал с ней, ты держал ее в дежурных объятиях. Но, как во сне происходят одновременно две взаимоисключающие вещи, так ваше продолжающееся знакомство становилось истечением его времени, вечер

кончался, ты ее терял на глазах. «Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные».

А, впрочем, терял ли? Ибо у любого драгоценного события есть не только отведенное ему время и место, но и остающийся для подарка в будущем — образ в его нетронутой, незамутненной изначальности. Мы застаем своих любимых свободными и чистыми сердцем, они же таковы в последний раз. Мы еще не знаем всех тяжестей, уже свалившихся на них. И эти телесные рамки, портящие все дело, эти формы, жесты и слова, уводящие от главного! Сегодня — время уклоняться от объятий! Мы сфальшивили бы, дерзко завоевав наших дорогих, заставив их воспринимать наши цели впрямую. Но сегодня... Сегодня так с ними нельзя, а завтра уже будет невозможно, и это не ты медлил. Ты просто не захотел легкого пути.

Как удержать этот новый, близкий сердцу и уже схваченный в прощальных объятиях, Лондон? Как вернуть те юношеские посиделки, как снова сцепить все воедино?

И о чем я тогда не мог сказать той девочке? Какая необъяснимая вещь, — не мог сказать я по причине невыразимости и самодостаточности той встречи, — нас, истинно счастливых, истинно понимающих всё людей, горстка. Мы не все знакомы, но у нас не умирают, а живущие не делятся на далеких в пространстве и на поколения. Мы даже не продолжение одних и начало новых, мы тоталитарны в своем единстве и господстве неочевидного для прочих смысла. Мы — всепобеждающее в финале меньшинство.

Нас мало, избранных, счастливых праздных, мечтателей и полуночников. Нас мало, нам трудно, негодяи уводят наших женщин, наше ангельское воинство, своих будущих судий. Но как параллельны миры, мы не пересекаемся с прочими в своей избранности. За лучшим, за самым ценным в нашем понимании никто из них не гоняется, не старается урвать, перехитрив прочих. Нашего у нас — не отнимешь. Мы говорим тайным языком. Рассвет — наш пароль, первый утренний луч — сигнал, читальный зал — место тайных встреч, явочная квартира, и поди, попробуй, провали. Время неумолимо, но мы неумолимы тоже, — не мог сказать я той девочке.

А потом нас здесь не будет. Какое там переселение душ! Как, и, главное, в кого э т о можно переселить? Но я знаю одно точно, что взрыв бесплодного обожания, прокатившийся по годам, сделает свое

дело. Эта девочка подойдет ко мне там и скажет:

— А ведь и я тебя любила тогда.

2

Все было на месте — и блистательная Оксфорд-стрит, и поворот на Чаринг-кросс, и Национальная галерея, и собор святого тезки Мартина. Мой вам добрый совет, соотечественники: миновав Трафальгарскую площадь с Нельсоновской колонной, не покупайтесь, как я когда-то, на правое ответвление дороги. Берите левее, и вы попадете на Уайтхолл. Минуйте дом с огромными воротами, с бессменными двумя гвардейцами на лошадях, и только потом перебирайтесь на другую сторону улицы, ибо там впереди скоро уже покажутся огромные часы Биг-Бена.

Я пришел к Вестминстеру на пять минут раньше полудня, но Мартин уже ждал меня. Он курил и нервно посмеивался. Сюрпризы начались сразу же.

Часы ударили двенадцать, группа японцев, увешанных звукозаписывающей аппаратурой, оцетинилась микрофонами, но Мартин, проходя мимо, брякнул громко, на русском:

— Ах,... ...!

— Что с тобой? — изумился я, — твой мат записался им на пленку!

— Пусть, на память! Черти нерусские! — отвечивал наш герой.

Мы перешли на другой берег Темзы, двинулись по набережной в сторону Тауэрского моста. Я уже ходил этим путем однажды и любил его. Здесь не было следов городской толчеи, перекрестков, светофоров, потоков машин. Городская жизнь кипела на той стороне, представляясь отсюда отнесенным на расстояние нагромождением эклектичных зданий, сквозных конструкций, подъемных кранов и дымящих автомобильных верениц. Все это было в дымке, все наблюдалось со стороны, лишенное деталей. Отсюда Лондон, как игрушку, можно было подержать в руках.

Здесь царило удивительное спокойствие безлюдных пространств. Дорога набережной то выводила на огромные пустые площади и пристани, то вдруг оборачивалась теряющейся в зелени тропинкой, ныряющей внезапно под один из мостов. И мосты были, как в детстве, преувеличенных размеров, с двутаврами в обхват и заклепками с колесо.

Трудно, почти невозможно, но, кому посчастливится, — ходите,

ходите этим путем. По ежеминутной смене картин и перемене в ощущениях, по этой добровольно-щемящей отстраненности от совершающегося в стороне праздника, по тихому обожанию, опережающему осознание происходящего, — Лондон отсюда наиболее понятен русскому человеку.

Хотя... Поручусь ли я сам, что опять имею в виду только Лондон? Английский ли город Лондон тысяча девятьсот восемьдесят такого-то года с Биг-Беном, тихой набережной и кораблем «Белфаст» на приколе? И не Москву ли семидесятых, непонятно как всплывшую здесь, я вам опять предлагаю отсюда оплакивать?

3

Вот мы и подошли к Тауэрскому мосту. Вдруг, при виде тюрьмы, мысли мои о России начали приобретать плоть, хотя и в каком-то странном, фантазмагорическом виде. «CAN GORBATCHOW REFORMED BY RUSSIA?», — вдруг перед самой моей мордой приклеил к стене плакат какой-то субъект. Мы встретились с Президентом СССР глазами, и мне показалось, что он хитро, по-гоголевски, подмигнул, как бы говоря: «Извини, тебя это не касается. Это для них. А пока они разберутся...»

— Что за чертовщина! — выругался я. — У вас же не расклеивают плакаты днем!

— Ума не приложу! — отвечал Мартин. — Все пришло в движение! Старая добрая Англия совсем... — Тэйлор опять употребил крепкое слово.

— Совершенно с вами согласна! — вынырнула откуда-то вдруг благообразная старушка в меховом манто. — И то, знаете, как приятно иногда в центре Лондона услышать родную русскую речь! Вы откуда, молодые люди?

— Кто откуда! — буркнул Мартин, — Однако, извините.

— Ругайтесь, ругайтесь, пожалуйста. Соскучилась, навевает воспоминания, Я приехала когда-то из Одессы. Как вам нравится Горбачёв?

— Если быть честным, то нам больше нравятся женщины, стихи Пушкина и пиво, — ответил Мартин.

— Ну, прощайте, — сказала старушка и, уходя, проворчала недовольно: — Гляди-ка. Горбачёв им нехорош. А еще и матерятся как! Нет, нет, русские ничуть не изменились!

— Бежим! — крикнул мне Тэйлор.

— Эй, привет, ребята, посетите лекцию «Живущий марксизм»! — обращаясь на английском, уже пытался остановить нас некий молодой лондонец, сопровождаемый товарищами. У каждого в руках было по серпасто-молоткастому транспаранту, и каждый из группы был одет в рваные джинсы, но рваные фабричным способом, с имитацией хламья. Такие джинсы были последней новинкой сезона.

— Посетите лекцию «Живущий марксизм» и вы узнаете...

— Марксизм умер! — зарычал Мартин.

— Как? — опешили марксисты.

— Не тратьте время. Я сам присутствовал. Умер, слово джентльмена!

— Кто это? Что за бред? — спрашивал я уже на бегу, еле поспевая за другом.

— Наши бездельники, буржуйские дети. С жиру бесятся. С этими сукиными сынами через костер не попрыгаешь! Летим в кабак, пока нас тут в компартию не приняли!

Мы как будто куда-то спешили. Я искоса поглядывал на нервного, беспрерывно болтающего Мартина и втайне поражался перемене, с ним произошедшей. «Остапа несло».

— Ну, кому тут объяснишь, — суетливо подхохатывал мой друг, — что «WHAT CAN I DO?» — это не плаксивое «что я могу?», а русское, жизнеутверждающее «водки найду!», и кто поймет, что это прекрасно и весело потому, что у вас водки днем с огнем не сыщешь?

— Ты посмотри-ка! Уже понимает! — изумлялся я. — И сам острит!

— Да, это я острою! А стрит не острит! А вон, видишь, группа немцев? Гешмак, натюрлих! Как у них только Гёте родился!?

— Ну, вероятно, как и у вас Шекспир!

— Не надо мне эль в глаза пускать! Русский юмор нагружен абсурдной русской действительностью. Я могу шутить теперь только на русском! Когда я перевожу это на английский, у коллег крыши едут! Для них это слишком, широкогато получается. Да и ваших дураков что роднит? Все, кто с трибуны поганил Сахарова, поганили себя и своих соратников. Мало того, что они просто не широки. Мало того, что любые оскорбления, это прорвавшиеся наружу затаенные подозрения на собственный счет. Но — юмора у них нет тотально, потому что русский юмор — это понимание скрытой сути вещей, их трогательности и абсурда, этой потайной мощи розового разряда.

— Браво! — восхитился я.

— Но не будем о возвышенном. С работой у тебя как?

— Нормально.

— А у меня неприятности! Я понял, наконец, почему я не люблю начальства вообще и своего в частности. А потому, что я с а м т а к м о г у! И даже лучше!

4

В пабе, по случаю Рождества, каждый стол был украшен еловой веткой с шишками, горели свечи. Все было уютным, домашним. И музыку посетители, как нарочно, заказывали в автомате «милую сердцу всякого россиянина», — то «Отель Калифорния», то «Богемскую рапсодию», а то и самого «Хей, джуда». Это был, конечно, тот самый кабак, где мы впервые говорили с Тэйлором, — я понял, куда Мартин спешил, минуя иные пабы. Старый столик наш оказался занят, да это была не беда. Мы заказали того же пива, закурили.

— А с женой своей я развелся, — вдруг устало сказал Мартин, — не русская она какая-то. Антисоветчица.

— То есть, не в том смысле, — продолжал он, — что против советской власти, а так, вообще. Ничего русского в ней нет, ни понимания, ни душевной теплоты. Ругается только: «красные гориллы», «совки» да «со-вдеповская банда». Она мастер этого стиля, но ничего — сверх того. Какой-то большевизм наизнанку. Я не вынес.

— Ты ее оставил одну в этом чужом... окружении? — брякнул я.

— Почему же в чужом? Она тут плавает, как рыба в воде, она прекрасно устроилась. Все, что им надо — деньги, наряды... Лондон! — как-то ёрнически воскликнул он.

— Знаешь, часто, когда родители лягут спать, я ухожу в дальнюю комнату и включаю русский канал, — продолжал Мартин. — Там всякое передают, но я сижу перед телевизором и слушаю русскую речь, и впитываю ее, и какой-то энергией заряжаюсь, как голодный. Как будто какая-то ностальгия по России, но откуда? Как шпион, который тоскует по родине!

— Полковник Портнов тоже был человеком! — улыбнулся я.

— Это еще откуда?

— А есть у нас один, Штирлиц. Это на тему.

— Что за Штирлиц?

— О, это наш калт муви. Рассадник анекдотов. Вроде бы все в германской ставке русские.

— А почему полковник Портнов? Ах, да, — рассмеялся Мартин, — моя же фамилия Тэйлор. Тэйлор, значит, Портнов. У нас Тэйлоров, как собак нерезанных. А Портнов, выходит, один. Ну что, дриньканём?

Я хмыкнул.

— Тебе же не нравится это слово.

— Ни черта ты не понял. То там, а то — здесь. Дриньканём, пока при памяти!

5

— В последнее время я прихожу к мысли, — говорил еще Мартин, — что родиться в России это не наказание, а подарок, роскошь. Многие из ваших здорово заблуждаются относительно Запада. Я, как иностранец, свидетельствую: тут, на Западе, тотальная обыкновенность! Всеобщая сытость, почти всеобщая устроенность. Границы добра и зла размыты, акценты смещены, стороны соблюдают соглашение о перемирии. Что нам осталось? Мелочи. Вот тогда все и потонем в болоте. Мелочи — вот что заставляет нас шевелиться. Ваш старый идеологический штамп оказался провидческим, мы — общество без будущего.

А у вас в России д ы ш а т ь м о ж н о. Добро и зло находятся друг против друга. Дрянь вылезает на поверхность, но и какие качества открываются у людей! Россия сейчас — поле битвы, которая аукнется нам всем.

— Она всегда — поле битвы. Отдохнуть уже хочется от битв.

— Не перебивай. Может быть, вы никогда не станете европейской страной в нынешнем понимании. А если станете, мир многое потеряет. Кто еще ради внутренней свободы может относиться с таким аристократическим пренебрежением к благам цивилизации, священным для нас, — карьере, достатку, сытости? Вы же идеалисты, вы же все братья, ваша единственная тайная цель — всем обняться в финале! Вам будет неинтересно жить в этом рациональном мире. Вам нужно будет огрубеть, перестать бросать шубы под ноги и отдавать последнюю рубаху. Вы недостаточно грубы и опустошены для европейцев!

— Пушкин сказал, что Европа нам вторая родина.

— Он польстил Европе.

— Не круто ли забираешь? Мне очень нравится Англия. Ты мне хоть Англию-то не порочь. Это очень терпимая, добропорядочная страна.

— Но она столь же холодно терпит и нищего, и художника. У нас общество устроено логичнее, но кто будет влезать в чужую шкуру! У вас же всякий — часть другого, вы все состоите друг из друга. Закона не соблюдает никто из вас, но какой-то высший закон не дает России погибнуть. Какая сила ее ведет?

Мартин хлебнул пива и сказал раздраженно:

— Что со мной происходит? Почему я так остро чувствую фальшь снобизма? Это самодовольство, более неприятное, чем самодурство, это преувеличенное до слепоты чувство собственного достоинства — худшее из худших, равнодушие из равнодуший. Не надо верить снобам. Снобизм идет от желания защититься от чего-то настоящего, от неумения смотреть в глаза правде жизни, той щемящей простоте, которая составляет ее суть.

И какой бред: политика, курсы валют. А все дело — в том даре жизни, в загадке жизни, в том вопросе «кто я?», за которым следует «зачем я?». Уж Европа вам вторая родина! Европа вам только рифма на слово «жопа»!

Конечно, без Диккенса не было б у ваших писателей того чувства Рождества. Но послушай:

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,

Как месяца луч в углубленье дупла.

Ему заменяли овчинную шубу

Ослиные губы и ноздри вола.

Что это за наваждение? Ваш поэт, описывая событие, бывшее на Востоке, вдруг делает его без остатка русским! Он присваивает его! Умом понимая, что это лишь русская версия Рождества, я чувствую, как меж строк всплывает какая-то иная правда, поглощающая логику и факты. Так не было, этих погостов, верхушек ольхи, оглобли в сугробе не было! — но все было именно так, и только через русскую призму можно почувствовать и понять это событие.

Говорят, русская поэзия непонятна на Западе. Да потому, что Запад тупица, «ленив и нелюбопытен». Если поэт хочет сказать о жизни все, он должен писать на русском языке. Ты только не смейся.

— Я не смеюсь.

— Гениальный Рильке может быть единственный, кто понял это. И эта его потрясающая неправильность, сказанная на русском: «Я так один»!

Я ничего не понимаю. Что-то происходит со мной. Недавно я опять работал с русскими, много переводил, много общался. Когда они улетали, русский режиссер отозвал меня и тихо спросил: «Скажи, Мартин, напоследок, только честно, все-таки, кто ты? Ты наш или — их? «Я — их», — сказал я в расстройстве, пошел в кабак, то есть в паб, и там в разговоре с барменом меня опять понесло о России. И бармен сделал мне комплимент: «Слушай, а ты очень и очень неплохо говоришь на английском».

Я что-то потерял, я утратил старую картину действительности. Я как будто раздваиваюсь, какое-то сумасшествие зреет во мне. Чтобы опять, по-прежнему, нормально жить в этой стране, нужно убить в себе то зыбкое, человеческое, что я приобрел за последнее время, нужно снова стать бесчувственным.

Надо мной уже смеются! Я пытался все это объяснить на вечеринках своим друзьям, хотя у нас не принято говорить на проблемные темы во время отдыха. Впрочем, и друзей в вашем понимании тут нет. Встречаемся, хлопаем друг друга по плечу, выражаем радость по поводу встречи. Я им пытался рассказать о России, а они смотрят тупо, как бараны... И ни черта не понимают!

Всё тут уже снивелировано. А вас как ни бей, как ни отнимай книги и свободу, все снова возрождается и прорастает через любое убивание. И всегда находятся люди, с безграничным размахом чувствующие за всех, берущие на себя грехи чужого несовершенства. У вас всегда остается задел для будущего, и отчего так? Да поставь этих дураков, — Мартин махнул рукой на посетителей, но потом — шире, как бы охватывая и прочих, — поставь их в ваши собачьи условия! Они бы, как американские индейцы...

— Но вы не индейцы! — топнул я ногой, вспыхив. — И условия эти мы создали себе сами! Своими руками! Мы наш, мы новый мир построили, мать его!

Мартин вдруг бессильно опустил голову.

— Проклятая страна... — пробормотал он. — Она держит меня, она не хочет отпустить. Я ничего не понимаю, я запутался. Но я ничего и не хочу понимать или объяснять. Русскость самодостаточна, как ты говоришь. Это состояние души — или оно есть, или его нет. Россия, Россия.

Я ее ненавижу. Я люблю ее всем сердцем. Я не жгу клубов, но я — бунятинский тип, Мартин Раймондович Портнов.

6

Освещенная улица виделась в проеме окна. А в сгустившихся сумерках вечерняя жизнь Лондона еще более оживилась. Непохожесть вечера на тот, давний, первый, была в том, что теперь не внешний мир сузился, сойдя в темноте к уютно освещенному столу, а эти потоки машин, световая река фар, праздничные вывески и деревья с мерцающими огнями сами начали вдруг как бы укрупняться, шириться, расти — и вот всему этому бурлящему, светящемуся великолепию стало уже тесно в проеме окна — я будто выплывал полыхающему неонам и фарами городу навстречу, и растворялся в нем. Шли приготовления, последние, уже на стыке с праздником.

Неожиданно пошел снег. Ударили башенные часы. И, растворяясь тоже, закружились в снежной карусели, празднике, друг друге — рождественские елки, фонари, полисмены, автобусы, телефонные будки, коробки, игрушки, ленты. В витрине напротив заработал исполинский механизм — толкнулся с места маховик, сцепились зубья, поплыли, вращаясь, колеса.

Мне почудились странные вещи. Сквозь снежный танец, если взглянуть, можно было различить и огни Москвы, и освещенное окно деревенского дома, с протянутой от него по сугробам световой дорожкой. И девочка, совсем юная, была тут, с нами, с целым городом, с целым светом. Снег шел белый, и танец, на который она меня приглашала, тоже был белый. Она хотела танцевать со мной. Девочке Лондон был к лицу, шел ей, как наряд.

Есть вещи непреходящие, есть ценности несравненные. Есть предметы и есть образы. Есть Биг-Бен, стрэтфордский домик Шекспира, камни Стоунхеджа. Есть Откровение Иоанна, картина «Троица» и стихи Пушкина. Они из разных времен и мест. Но есть в них та часть, та, может быть, малость, которая касается нас одних, где несть ни русского, ни англичанина, ни разных веков, ни дальних стран. Что из того, что задолго до нас поставлен Стоунхедж, написаны «Троица» и «Ромео и Джульетта»? Мы уже были включены туда при их создании, мы уже подразумевались.

Это и для нас нынешних строилось и писалось, это мы уже жили частичкою своей души в них целую пропасть времен до нашего появления на свет. Мы родились, Бог наполнил нас смыслом и одарил волей, чтоб мы наполняли смыслом новые и не давали умирать старым предметам и образам. Эти малости, разбросанные по временам и пространствам, может быть, одни и составляют смысл нашего прихода, присутствия в своем времени, чтобы не рвалась волшебная цепочка единства живого. Мы здесь затем, чтобы быть частью этих исключительных вещей и, как Анна Михайловна, восполнять их.

Иоанн Богослов, живописуя небесный город, старательно передавал непередаваемое через земные представления и мерки. Ибо, что может быть могущественней землетрясений и молний, дороже золота и алмазов, ярче солнца и стекла, таинственней звезд и комет? Есть ли в действительности тот «город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой»? И не Лондон ли, не ностальгическая ли Москва 70-х или Москва 91-го с танками и дождем, не старая ли изба в деревне, имеющие свою и нашу душу, будут тем городом?

И нынешний Лондон в круговерти снега был уже не городом, а ощущением. Русские художники понимали Царство как трапезу верных, образ Его Царства был — собрание за общим столом усталых земных путников.

И это был уже не Лондон с его «ужасом подлинника», это был подлинник образа, превысивший действительность.

Потому, что, как сказал Мартин, «всё пришло в движение».

ВЛАДИМИР САЛИМОН

Стихотворения



До Бога высоко,
и все же не настолько,
насколько далеко
от Пензы до Подольска.

От Курска до Торжка.
От стула до кровати —
всего-то два шажка —
но как это некстати...

Я руку протянул —
во тьме нащупал стул.
Хотел с кровати встать.
Жестка моя кровать.

Мой сон причудлив и тяжел.
Одно и то же снится —
пришла пора опохмелиться,
настало время пить рассол.



Счастливым стать бы мог,
когда б в бараний рог
я дал себя согнуть
однажды.
Как-нибудь.

В какой-то тьме кромешной,
в каком-то страшном сне,
где яма на Манежной,
а в яме той — на дне

я без пальто, без шапки
лежу, поджавши лапки.
Точь-в-точь побитый пес.
Скукожился.
Мороз.



В кругу друзей не обойтись
стаканчиком вина,
по крайней мере — на Руси
поэты пьют до дна.

Дождь достигает ближних крыш.
Мне кажется, — сейчас
он, приподнявшись на мыски,
дотянется до нас.

Я ощущаю по спине
бегущий холодок
и удивляюсь сам себе —
о, как же я продрог.

О, как замерз я, как озяб.
Когда б тому виной
был дождь, иль град, иль снегопад,
иль ветер ледяной.

Но остывает в жилах кровь
не как в реке вода,
а — не с того и не с сего,
вдруг —
раз и навсегда.



Головы не повернув,
то есть без оглядки,
то есть вовсе недосуг
собирать монетки.

Наше время не пришло.
Наше время вышло.
Как-то исподволь — тайком —
все лишилось смысла.

Тошно стало водку пить.
Скучно женщину любить.
Закадычного дружка
почитать за дурака.

Стыдно. Страшно. Жуть берет.
По причине неизвестной
нету жизни никакой —
ни духовной, ни телесной.

Ничего такого нет,
чтобы сразу было ясно —
Божьей милости поэт
удостоен не напрасно.



Огня, воды и медных труб
не превозмочь никак,
а то, что жизнь — напрасный труд,
не знает лишь дурак.

Все утро глядя в потолок,
дыру в нем проглядел
и понял я — сколь мир жесток,
сколь белый свет не бел.

Не брат я брату своему
и другу я не друг,
и той, которую люблю,
не любящий супруг.

Я сам не знаю, что со мной.
Должно быть, глупый бес,
ко мне явившись в час ночной,
за пазуху залез.

Он шарит у меня в груди.
Как фантик, комкает в горсти —
и так, и сяк,
не то, не сё —
сокровище моё.

АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВ

Три рассказа

К приезду Н.

Вчера он позвонил и сказал, что приедет завтра. Нужно убратсья в квартире. Он не любит беспорядка, неряшливости. В их доме — стерильная чистота. Сейчас начну.

Новый год позади. Гостей не было, в гости не ходил. В двенадцать часов выпил стакан пива и лег спать. Спал в одежде, под курточкой, без сновидений. Никого не поздравил.

Простуда тянется с прошлого года и конца ей не видно. Постараюсь скрыть от него простуду. Он не любит этого. Все больное и немощное вызывает в нем чувство отвращения. Он крепок, здоров, никогда не лежал в больнице.

Пластмассовая елка стоит как-то криво. Нужно поправить ее. Кривая елка может вызвать на его лице кривую усмешку.

«Вечно у тебя что-то кривое», — скажет он. И прозу мою он считает кривой, мелкой.

Однажды он прямо сказал, что я специально выискиваю мелкое и кривое, чтобы угодить западному читателю и получить за это доллары и марки. Но довольно об этом, довольно.

Он — мой друг. Мы дружим уже более тридцати лет. Мы вместе учились в школе, а потом в Литературном институте. Я опоздал с документами, и он упросил ректора Пименова принять мои документы.

В поезде «Москва—Мариуполь» он прижал в тамбуре вора, который вытасил у меня деньги. И он напомнит мне об этом завтра, и я вынужден буду бормотать слова благодарности.

Продолжай, продолжай уборку. Это — сюда, это — туда.

Вспомни что-нибудь хорошее, светлое. Вспомни цветущую сирень, море, цветущие сады, парки, овраги, вспомни совместные прогулки, планы, мечты. Погода хорошая, слякоть прошла, подморозило, тонкий снежок, тонкий месяц завис в чистом небе над мансардами с уютно освещенными окнами, и эта улица по замыслу архитектора задумана в форме скрипичного ключа, и это красивая рождественская ночь, и только заткнутое одеялом разбитое окно дома, где живут горькие пьяницы, портит картину, и завтра, после застолья, мы выйдем освежиться на улицу, и...

И все будет хорошо. А сейчас продолжай уборку. Все будет хорошо.

Простуда когда-нибудь кончится, и все будет хорошо.

Гарь и трупы войны когда-нибудь кончатся, и все будет хорошо.

А сейчас продолжай уборку.

Завтра придет Н., и мы обнимемся, и от его могучих объятий моя чахлая грудь хрустнет. И потом будут долго болеть ребра. Однажды, обнимая меня, он сломал мне ребро, но не будем об этом.

Мы — друзья, и нашей дружбе уже более тридцати лет. И все же будет лучше, если он завтра не придет.

СКОЛЬЗКО

И вчера было скользко, и сегодня. Скользкость бывает прямая, косвенная и волнистая. В небо смотреть некогда, разве что когда уже поскользнулся, лежишь, но этого допускать нельзя.

Вот и Б. поскользнулся, лежит и смотрит в небо, но ничего видеть не может, потому что мертв.

Мертв и закопан.

А поскользнулся он на косвенной скользкости, то есть, имея больное сердце и зная об этом, продолжал и пить, и курить. Вчера похоронили.

Из-за скользкости и обрыва контактного провода опоздал. Пришлось их ждать. Они вернулись, и мы сели за стол. Я оказался между Д. и хмурым незнакомцем в грязном свитере. Сквозь пары борща, блинов и водки я поглядывал в сторону А.

Это наша сотрудница. Она недавно у нас. Она не знает о том, что пришел я сюда не из-за водки выпить, а из-за нее. Никто не знает и не должен знать. Это мое личное дело. Может, что-нибудь и получится. Всякий живой должен думать о живом.

Вдруг этот костистый мрачный тип в грязном свитере стал мне шептать что-то на ухо. Мне его слушать не хотелось. Что может интересного, полезного, умного сказать человек с таким лицом, в таком грязном свитере? Прошли те времена, когда прислушивался к таким типам. Нет у них никакой тайны. Бредят они.

А за столом между тем наступила тягостная пауза, и я решил сказать что-нибудь вразумительное по поводу того, зачем мы все здесь. И я поднялся с полной рюмксы и сказал, что мы здесь должны понимать, что не из-за водки же мы здесь, а из-за человека, которого уже нет среди нас, но он есть среди нас и будет всегда, но уже не материально, а духовно.

Конечно, я все это говорил ради А.

Я это понимаю и ничего предосудительного здесь не вижу. Мертвым — могила, живым — жизнь, любовь, наслаждение.

Почему, собственно, человек должен впасть в пессимизм по поводу смерти?

Да ее нет, ребята! Ее просто-напросто нет, и каждый из нас, из вас должен поверить в это! То есть и это, последнее, я тоже сказал, и мне показалось, что в общих парах борща, блинов, водки и внимания мои слова производят на А. самое нужное впечатление.

И тут я сказал, что покойник любил музыку и что он будет рад сейчас в могиле знать, что мы вовсе не хнычем и не грустим, а слушаем его любимые мелодии шестидесятых годов, а особенно он любил песню про дельфинов, и если есть такая техническая возможность, то нужно немедленно устранить то недоразумение, которое называется трауром.

Но тут из кухни в комнату вошла старуха в черном, кажется, мать покойного, и попросила меня покинуть помещение, что я и сделал.

Шел домой, скользил, а у дома глухонемых даже и упал, но тут же вскочил. Ну, а дальше просто прибыл домой и включил телевизор.

А потом лег спать.

В Италии

В Италии ему предложили выступить перед студентами университета.

Он выступил. Он сказал:

— У нас май, и у вас. У нас он холодный, и у вас. В прошлом году я посадил пять ведер картошки, а собрал три. Она сгнила. Пролетая над

Альпами, я подумал о ней. Нужно дренажировать почву. Там грунтовые воды. Царапнешь землю и — вода. Нужно дренажировать и повышать слой грунта. Там возят землю. С ними можно договориться. Еще нужно опустить в траншеи фундаментные блоки. Их семь и две половинки. Они заросли травой. Нужен кран. Я нашел крановщика. Он сказал, что приедет, но не приехал. Я снова его нашел, и снова он не приехал. Я договорился с другим, но и тот не приехал. Я нашел третьего, он приехал, но без троса. Он уехал за тросом, но не приехал...

Весна. Что о ней скажешь? Она может погубить. Она меня погубила. В детстве и юности я ее и любил, и ненавидел. Она выворачивала душу. Она обманывала. Она намекала на возможность рая на земле. Я... я не знаю. Я не могу продолжать в эту сторону. Все обрезано лопатой. Я натываюсь на лопату. Она сверкает, она заточена отцом до опасности бритвы. Весной мои родители становились сумасшедшими. Все вокруг оглашалось их криками. Они ссорились и дрались. Я помню их искаженные ненавистью лица, их грязные кулаки посреди весеннего, разрытого огорода. Они вползали в землю и тащили меня за собой. У меня были цветные карандаши и бумага. Я хотел рисовать цветущую сирень, но меня вбивали в землю, в навоз. Мне внушали, что земля спасет меня. Она меня погубила. Я совершил побег. Я убежал от них в Якутию. Там не было огорода. Там были тайга и сопки. Я вдруг ощутил свободу. Мне хотелось плакать от счастья. Я был счастлив. Я знаю, что это такое. Но мое счастье длилось недолго. Оно длилось несколько дней.

На день шахтера меня ударили ножом, и я снова оказался дома, где меня снова вдавили в землю. Меня задушили землей и навозом. Я был раздавлен, разрезан...

Да, сейчас, когда одна нога уже над бездной, я уже не так остро воспринимаю эту проблему. Я смирился. Я нахожу удовольствие ковыряться в земле. Я уже снял с повестки дня былую нервозность, давно снял. Что теперь говорить? Странно продолжать настаивать на том, что уже давно остыло...

Пролетая над Альпами, с бокалом красного вина, я подумал о картошке. Я не хотел ехать к вам. Я хотел остаться дома, чтобы в срок посадить картошку. Я лишь формально здесь. Про цветущую сирень сказать мне решительно нечего. Зачем притворяться, лукавить? Я не художник. Я здесь ошибочно. Это недоразумение...

Он сморщился, махнул рукой и покинул трибуну.



АЛЕКСАНДР ШАРЫПОВ

Ворота

Рассказ

Епископ Крутицкий, говорят, ставил Пашу Дурную в один ряд с Прокопием Праведным, первым юродивым на Руси. А весь ее подвиг состоял в том, что она красиво одетым женщинам плевала в лицо.

Диоген, допустим, тоже плевал — но когда больше некуда было плюнуть. Или у Куприна — крестьянин в рыбу плюнул, перед революцией. Это я тоже понимаю. Если бы она в одежду плевала! Нет, тут что-то не то.

Я думал обо всем этом, идя к моему другу Сереге, после того, как Коля Шальной, встретившись у меня на пути, — я забыл, куда и шел до этого, — треснул меня по уху ни за что, ни про что. Сумасшедший, что с него возьмешь?

Их почему-то в моем городке жило достаточно много — Коля Сика, Коля Шальной, Гера Безмозглый, Сережа Пустохин; была еще Галя Шага, с походкой спотыкающегося конькобежца... Но что-то вот в них не то. За державу обидно. Ведь мы всегда были сильно юродивыми.

Ладно Паша Дурная — в ее плевании была хоть какая-то избирательность. А Сережа Пустохин только смеялся все время. Галя Шага — матом ругалась, по поводу и без повода, на все и вся. А Коля Шальной — хоть рот у него был больше, чем у Софи Лорен — вообще ничего не говорил. Он почти все время сидел в некоем ступоре — косматый и белокурый, как Шатов из «Бесов» — иногда только вскакивал и начинал метать, что ни попадя, — когда, например, на него накидывали старое велосипедное колесо. Если попадались мелкие камушки (которые мы и сыпали перед тем), он развивал бешеную скорострельность — будто перед ним крутился пропеллер, и ему надо было синхронизироваться с лопастью-

ми. Но разве это дело юродивого? Юродивый должен говорить правду в лицо.

Федька Юродивый протопопа Аввакума будил во Всенощную: «Как же тебе не стыдно, — говорил, — ты же поп!»

Или это какая-то новая стадия? Переход к чему-то от слов? К модернизму? К самоуглублению в себя?

Книжный червь с черной бородой, хотя и был только нумизмат, Серега всегда напоминал мне раввина. И говорил всегда — с ходу вникая в суть, как будто об этом и думал, и только ждал, когда придет кто-нибудь, чтоб этого пришедшего огоршить.

— Все мы пришельцы врат, — объявил он мне. — Потому что приняли иудейство без обрезания. Если бы приняли обрезание — были бы пришельцами истины.

Тут-то я и вспомнил эту историю с воротами. То есть — саму-то историю помню смутно. Да сейчас и не разберешь, что там было на самом деле. Ворота вспомнил, вот что. Ворота, во всяком случае, были.

Тоже ведь парадокс. Столько вокруг произошло, столько правды и неправды наговорено; а в памяти что осталось? Доски крашенные.

По справедливости, их бы и следовало приклеить к бумаге. Но надо искать положительные ходы.

Историю помню смутно. Жил в нашем доме некто Костолопатин, и решил он отремонтировать эти ворота. Создать зазор — чтоб, отворяя, не приходилось их волочить. Почему бы не отремонтировать? Я держал шуруп пассатижами, когда он спросил: «Подхалтурим?» — и стукнул по нему молотком. Но ворота опять сели.

Он их опять отремонтировал, а они опять сели.

С нашей, ребяческой точки зрения, пусть бы они сидели — хоть шайба не пролетает. Но Костолопатин — смутно помню — поменял столбы. После этого ворота исчезли вовсе. Без ворот жизнь замерла. Не поиграешь даже в метлу.

Прошел почти год. К ноябрьским — как помню — праздникам Костолопатин поставил новые, стальные ворота. В ночь после этого раздался глухой удар. Подумали, что бак от мороза лопнул, — стояли там такие, на случай пожара баки. Но вышло совсем другое.

Утром возле новых, стальных ворот обнаружены были старые наши ворота. И тут же, прислонясь к забору, сидел Коля Шальной. Подумали, что он пьяный, так как ни на что не реагировал, даже на колесо.

Потом увидели у него за ухом кровь. Вот, собственно, вся история.

То, что он был избит, это, как я теперь понимаю, вымысел. Несмотря на свою фамилию, Костолопатин был тихий в общем-то человек, говорил тенором. Потом не спать целую ночь... Нет, я не верю. «Придумать можно все, кроме психологии,» — говорил Лев Толстой.

Коля, с другой стороны, был явно равнодушен к воротам. Однажды он ходил там — никто не видел, кроме меня. Как раз когда Костолопатин создал зазор в первый раз. Он ходил, сжав кулаки, от столба к столбу. Несколько раз делал маневр: уже, казалось бы, уходил — но быстро возвращался и тут же смотрел вниз. Потом озлоблялся на землю и пинал ее яростно. И опять ходил от столба к столбу. Его что-то тревожило во всем этом. Какая-то заложенная тут проблема. И конструкция ему явно не нравилась. Растопырив руки, он хотел встать вместо ворот, но если вставал к одному столбу, то не мог достать до другого, а если переходил к тому, то отрывался от этого.

Я не досмотрел тогда, а теперь думаю, что он помогал садиться воротам. И в новые ворота — сам стукнулся головой. Он решил проблему вот каким образом: столб должен быть один и стоять посреди дороги, а ворота — отходить в разные стороны как руки. Но когда притащил свое открытие — увидел новые, стальные ворота. Естественно, психологически — прийти в отчаяние. И биться в них головой.

Как у нас есть понятие — выбиться в люди, так и он, по-моему, — без понятия — в юродивые.

Может, он бился часто — и упал; а может, остановился, потом разбежался и ударился изо всех сил. А может, даже не сбавил скорость, когда увидел ворота — своего рода психическая атака — чтоб показать презрение или взять на испуг.

— Кстати, Саня, — сказал Серега, разливая квас, — а ты помнишь второго Колю?

— Сику?

— Ну, да. Знаешь, откуда пошло «Сика»?

— Откуда?

— Оказывается, у него фамилия была Сикорский! Как у этого, который вертолет изобрел!

— Да ты что?

— А вы даже не думали, что у них бывают фамилии; вот я вам всегда говорю, — вступила на кухню жена, откуда ни возьмись, — не

любите вы Божиих людей! Разве можно так издеваться, колесо накидывать! Если бы это было в прошлом веке, все бы поняли, что Бог хочет сказать через него: «Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель...»

— Елена! — поднял голову нумизмат. — Не трожь пионеров! «Царство над миром принадлежит ребенку» — Гера... клит сказал, — он посмотрел на меня и вдруг захохотал, — Мусенька, Муся, — прервал смех, увидев кошку внизу, — иди сюда... Иди сюда, Муся, я тебя мускатиком напою...

«Да... — думал я, возвращаясь домой. — Сикорский!» А что, если и Коля Шальной хотел использовать ворота как крылья? Ведь смерд Никита использовал — именно деревянные. А может, он и в небо взлетел? По логике — так ведь оно и было. Даже земной шар обогнул в воздухе. И летел бы дальше, но врезался в эти стальные ворота. Не разглядев в темноте.

Вы скажете, квасной патриотизм. Отвечу: вы ничего не понимаете в квасе. Я когда выпил настоящего, нумизматского квасу, мне показалось — я сам лечу.

Да и кто говорит, что он русский? А может, римлянин. Может, он на родину летел. Точно, — я-то думаю, на кого он похож? Вот на эти бюсты лобастые, римлян. Потому и не говорил ни хрена.

Силантий-то оказался немецкий шпион. Палки-то убирал с дорог, перед войной!

А насчет неверия — вот как раз в то же самое время, когда Колю нашли, один парень рассказывал про Чехословакию — тоже думали, заливает.

Может, Коля пролетал над Чехословакией — потому и задумался. Нет, людей надо любить...

Я стал думать, сколько неизвестных еще, и тут в моей памяти всплыло, что был ведь еще Сева Неизвестный! Теперь-то все знают, что это такая фамилия, а тогда смеялись над ним.

«Скульптор Эрнст, — твердил я про себя, двигаясь дальше, — Неизвестный глину месит, день и ночь не спит, не ест... руководство МОСХа бесит...»

Но самое поразительное случилось, когда я пришел домой. Войдя к себе, взял я Есенина, — не знаю, почему, с самой школы не брал — и тут обнаружилось, что Шага, оказывается, — это сокращенное от Шаганэ!

Открыл наугад — и наткнулся: *Ни к чему любви моей отвага
И зачем? Кому мне песни петь?
Если стала неровной Шага,
Коль дверей не смог я отпереть...*

Бревна

Рассказ

С чехами же все было по-другому. Раздался звонок в дверь — обычно я ночью не открываю, кому надо, он и так войдет, правильно я говорю? — через дверь ко мне за всю мою жизнь только одна женщина вошла ночью, да и та с железными зубами — а тут задумался о чем-то и открыл машинально. Стоит человек — я сразу не понял, в чем дело: темно, лампочку вывинтили; потом пригляделся — а у него из глаза сук торчит.

Я аж отшатнулся — думаю, сейчас он на меня упадет, его просто так поставили. А он спокойно — как мне показалось — перешагивает через порог, протягивает руку и говорит:

— Мы все преступники. Мы должны покаяться, как Лукин.

— Подожди, — говорю, — какой Лукин, заходи, хоть чаю попьем, — а сам думаю: «Господи, твоя воля. Надо принимать все, как есть».

Он проходит на кухню, садится. Открываю термос, наливаю чай. Он говорит:

— Зачем мы сломали Дубчека? — и поворачивается ко мне, едва не опрокидывая стакан своим суком.

И тут я узнал его: журнал у меня брал. Просил что-нибудь эротическое — я и дал ему этого чеха, Кундеру.

«Невыносимую легкость бытия».

Только я вспомнил — и стало ясно: вот сейчас остатки честности покинут меня, и все будет лицемерием. Все, что я ни скажу.

Ну и пусть, думаю. Тогда я и не буду ничего говорить.

И вот сижу я, как последний лицемер, и думаю только: почему я бревен не чувствую? Вижу этот сук в его глазу, а бревен в своих глазах —

я повел головой — не чувствую. В самом деле.

А он говорит:

— Неужели у нас нет честных людей? Один Лукин?

А я думаю: когда же я подцепил эти бревна? Неужели в 68-м году? Как же тогда было... Постой: в киножурнале мигало что-то продолговатое, то белым, то черным - это же и была Чехословакия. Потом... «Сокровища византийского купца». Не помню, про что... Парень с аккордеоном пел про звезды Мехико! Меня аж в жар бросило от этого воспоминания — какое яркое. А потом?

Потом я купаться пошел... Вот тогда, наверно, эти бревна в глаза и въехали. Точно! Это же у клуба сплавщиков было.

— Что в бейсболе? — почувствовав, что прослушал вопрос, переспросил я, отнимая руку от подбородка.

— Я говорю: почему Кундера пишет с болью, а мы без боли? Не как Достоевский?

Я пожал плечами. Потом думаю: а знал ли вообще про чехов, например, Чехов?

— Ты скажи, что у нас за страна, — он говорит, — что мы за люди? Он пишет: у нас в одном городе перестреляли всех собак. Меньших братьев наших! А потом напали на чехов. Что они нам плохого сделали?

Я кивнул, потом вспомнил, как фильм «Чапаев» начинается: «Василий Иванович, чехи хутор заняли...»

Потом диафильм вспомнил — непонятное стало твориться с памятью, одно за другим возникает, да так ярко! — где объяснялось, что фамилия «Чапаев» происходит от «чап», «чап» — потому что предки у него были сплавщиками.

Но, думаю, у Чапаева точно не было бревен, иначе бы он не утонул. Я вот не утону, потому что у меня бревна.

Впрочем, смотря какие. Березовые вряд ли помогут. Сосновые хо-рошо.

— И после этого мы у них еще и в хоккей выигрывали!

Это-то зачем? Да, я не знаю, — говорил он со слезой в голосе, — отдали бы им этих снеговиков!..

Я кивал молча. В самом деле. Штятсны... Глядя на выключатель, я нагнул голову вперед; но свет не погас.

— Империя, — он выпятил губу. — Прежде чем оккупировать, научились бы пользоваться туалетом! Ты посмотри, — он постучал пальцем по журналу, — как ходила Тереза и как сын Сталина. Он же не мог попасть... Стыд и срам!

Тут я стал кивать реже. Потому что не люблю подглядывание. Вот, например, когда читаю Гаврилова, про это — я чувствую, что он сам сидел. В кукурузе. С композитором. А вот Кундера — сидел ли он с сыном Сталина? Или с Терезой? Не знаю — чего-то вот в его описаниях нет.

— А песни? Что мы пели? «Тереза, Тереза, Тереза, три зуба, четыре протеза...» А вот он пишет про чешек:

«Они ходили в мини-юбках на длинных ногах, каких не увидишь в России последние пять-шесть столетий!»

Тут я совсем перестал кивать. Видел русских девушек этот злобный старик? Я вот во Владимире видел чешских.

Такие же, как наши, только «мыло» говорят «мыдло».

Толком, правда, не успел разглядеть: друг, Толя, подкузьмил, сказал, что ко мне едут немцы. Я сломя голову помчался мыть свой унитаз. Немцы, конечно, не приехали — да и какие немцы могут ко мне приехать?!

Что-то он не так понял по телефону.

Хотя, кажется, они словачками были. Может, хоть словаки нас не ненавидят? Со своего бережка. Поэтому и отделились от чехов?

— Нет, — он покачал головой. — Мы слишком большая страна. Он правду пишет. Поэтому всех давим. Слишком большая.

«Вас забыли спросить,» — чуть не сорвалось у меня.

— Не знали, что делали... — выпрямив спину, он поглядел в стакан. — Я тоже не представлял себе... Но вот же черным по белому... После этого — как можно жить? Я не мог... Я покался. Трудно? А кто говорит, что нет? И сейчас на все натыкаюсь. Но как легко на душе!..

— Подождите, подождите, — мне показалось, что я ослышался, — вы, стало быть, чувствуете, что у вас в глазу... что-то есть?

Он поднял обе брови. Потом направил свой сук прямо на меня:

— А как же?..

Я смотрел ему в глаз, хлопая синхронно ресницами.

— Дотроньтесь пальцем!

Он приоткрыл рот, не понимая. Потом взял сук за торец.

— А... я почему не чувствую? — слыша всю глупость вопроса, тем не менее спросил я его.

Он отодвинулся от меня.

— Как же ты будешь чувствовать? Сначала воткнуть надо...

— Так вы сами себе воткнули?!

— Разумеется!

— Что ж вы мне голову морочите? — я встал в крайней досаде. — Я тут вас слушаю битый час... Да у меня времени совершенно нет!

И я чуть не вытолкал его вместе с журналом. Выглядело, наверное, грубо. Сейчас жалею. Да, все мы люди. Но как, ей-Богу, надоела эта халтура! Только я с чаем разобрался; столько времени убил на этот чай!

На пороге он еще упирался:

— Эдип... — говорит.

— От меня привет, — говорю, — передайте своему Эдипу, если увидите.

— Эдип тоже не знал, что делал! — закричал он. — Но когда узнал, он выколол глаза пряжками...

— Самострел! — сказал я ему и захлопнул дверь.

Потом прошел к себе в комнату, сел за стол, склонился над прерванной рукописью.

Не писалось.

Я выдвинул ящик стола; порывшись в бумагах, вынул на свет записку:

Koleje cislo 11A pokoj 312

Эх, Толя, Толя...

Как же мы так.

В раю

Рассказ

В раю все живое действительно появляется из земли, но не как у Мильтона, — лев якобы скребет лапами, помогая себе, и потом трясет гривой, — у человека, по крайней мере, дело обстоит так.

Бугор рождающий почти не виден, пока в это место кто-нибудь не воткнет крест. Тогда он начинает расти.

Когда вспучивается настолько, что выворачивается глина с песком, — начинают откапывать человека. Но он не только не помогает, но даже не может двигаться, — выкопав, его несут на руках. Три дня он лежит на столе. Все плачут. Потом только пробует встать; и даже когда встанет, — долго болеет и, вспоминая о прошлом, сильно пьет.

Потом перестает пить, откапывает родных и знакомых — тут очень важно, в раю, чтоб кто-нибудь хотел откопать. И опять пьет, еще пуще прежнего.

Ему снится женщина.

Потом перестает пить, идет на вокзал, минут пять стоит там в каком-то оцепенении, — вдруг подъезжает вагон, прямо перед ним открываются двери — и выходит та самая женщина, которая ему снилась. Он обалдевает настолько, что сначала даже не рад. Тем более, она с каким-то мужчиной. Но потом они понимают, что все это неспроста, и начинают встречаться. И сначала ругаются, но, вспомнив о прошлом, спохватываются и начинают любить. Сперва неумело, потом все чище и чище.

И так во всем.

И постепенно он понимает, что любить надо всех. И тот мужик становится его другом. В это время он уже способен удивляться всему. Он, как дитя малое, — чувствует, что над ним Бог.

И этот мир опостылевает ему. Он хочет родиться и разом покончить, — с криком влезает в мать и, дав плод, тайны мира постигает внутри; потом отходит к отцу. А отец, немного погодя, — к своему отцу вместе с ним, а тот — к своему, и так дальше, пока праотцы не выкопают Адама и через него вместе со всеми не уйдут к Богу.

Тогда уже не будет добра и зла, а будет одно.

Так было десять миллиардов лет назад, и так будет, когда свет дойдет до предела. Красное смещение тогда сменится синим, расхоронившиеся галактики начнут сходить, исчезнет идиотизм и наступит рай на земле.

ОЛЬГА ЗАВАДОВСКАЯ

Сумерки



Октябрь шуршит на улице моей,
Гоняет листья, собранные нами.
Октябрь лежит собакой у дверей,
С холодным носом, добрыми глазами.

Сметаю в кучу дней последних свет,
И запах листьев ставлю, как наливку.
Живучих астр нарву себе букет
И затворю тихонечко калитку.

И в зимний дом, притихший и пустой,
Я буду приезжать по воскресеньям,
Глотнуть настойки осени густой
И окунуться в теплый свет осенний.

...И ощутить любви прикосновение.

19.10.1994



И.И.Шварцу и жене его Тоне

Трещали в доме половицы.
Кто б мог заснуть — я не могла.
Дом перелистывал страницы
Любви воскресшей и тепла.

Рояль могучим добрым зверем
Вошедших в комнату встречал,
А фотографии за дверью
С ним говорили по ночам.

Об этих таинствах при свете
Шептал хозяину рояль.
И кто из них двоих в ответе
За радость нашу и печаль?

А в этом доме все дышало,
И оживало слово в нем,
Срывалось ливнем, замирало
И накаляло мысль огнем.

А в этом доме руки жили,
И так легко, как в детском сне,
Одни — мне музыку дарили,
Другие — сердце грели мне.

И, продолжая этот праздник,
Я как подарок сберегу:
Два силуэта очень разных,
На белом сиверском снегу.

До невозможности знакомых,
Идущих друг за другом вслед,
Два силуэта возле дома
В единый слившись силуэт.

27.02.94 Сиверск

СКАЖИ, АЛИСА...

Конечно, сказки есть. Есть случай,
И совпадение, и судьба.
И каждодневности тягучей
Прервется мерная ходьба.

Конец июля. Дача. Вечер.
Прощальный ужин вчетвером.
Дом колдовал. Горели свечи
И музыка гуляла в нем.

У ног моих лохматый Аргус
Сопел в пылу собачьих грез,
Ты сожалела, что не август,
И нет еще падучих звезд.

А ночь звала к себе, дышала
У растворенного окна.
Мы вышли к ней. И покрывало
С шедевра сбросила она.

Застыли мы: живое небо
Мерцало тысячами звезд.
И вроде было, а все же небыль —
Медведицы роскошный хвост.

И в дополнение к спектаклю,
К нам, неподвижным четверем,
Четыре звездочки, как капли,
Скатились праздничным дождем.

Я не шучу — ведь мы не дети,
Хоть сказке верить все не прочь.
Скажи, Алиса, ты — свидетель
Того, что было в эту ночь.

04.02.94

СУМЕРКИ

Сумерки бережат душу,
Обнимая всех подряд,
Музыкой наполнят уши,
Обожгут закатом взгляд.
Сумерки рождают тени;
В шепот сходят голоса.
Обостренных ощущений
Наступает полоса.
Фонари еще не спят,
И меня свой наряд,
Быль и небыль в мягком свете
Начинают маскарад.
Сумерки стирают грани
У реальности моей...
Все сбывается в обмане
Чуть горящих фонарей.

17.10.94

ЛЕВ ТАРАН

Алик плюс Алена

Роман Александра Лещева

Отрывок из романа

Сочинение под длинным названием «Алик плюс Алена. Роман Александра Лещева» принадлежит перу поэта Льва Тарана, с которым приключилась история вполне обычная для российского литератора. Он умер, так и не дождавшись публикации своих основных вещей, в мае 1994 года.

Сюжет «Алика плюс Алены» пересказать практически невозможно. На ста с лишним страницах машинописного текста этой мастерски сработанной стихоподобной прозы изложено, кажется, все, что следует знать об экзистенции советского человека и его месте в мире перегнувшего социализма. Бесчисленные персонажи романа, зеркально отражаясь, кривляясь, слипаясь и раскатываясь, как шарики ртути, рыщут по душной Совдепии в поисках кислорода, идеалов, выпивки и любви.

Дата написания романа 1976–1977 гг. Автор трех поэтических книг, две из которых вышли в незапамятные времена в Красноярске, а одна — в Москве, в конце так называемой «перестройки», он не печатался ни у «официалов», ни в «самиздате-тамиздате», предпочитая суете образ жизни кроткого, пьющего маргинала, зарабатывающего свой кусок хлеба на «скорой помощи».

Думаю, когда роман выйдет целиком, он, выражаясь языком М. Булгакова, «принесет сюрпризы» и займет свое место на полке шедевров нашего скудного времени.

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

ИЗ ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ

Алик Боев в Ленинграде

Алик Боев третий день бродил по Ленинграду..
Все три дня — серые грязные низкие рыхлые тучи.
Казалось: они своими лохмотьями цепляются за крыши.
Казалось: вдыхаешь в легкие — их сырую студеную смесь.
Серые грязные сырые тротуары.
Парадные дома, словно съезжившиеся, такие же серые и грязные.
Узкие сырые зловещие подворотни. Темные глухие жуткие колодцы дворов.
Вот-вот, кажется, выскочит некто с окровавленным топором...

Музеи вскоре опротивели Алику. Скучотища! Везде одно и то же.
Разочаровал и знаменитый Медный Всадник.
Жирный бугай. Жалкий змий. Серый сырой камень. Страшная черная фигура.
Птичий помет на плечах. Позеленевшие от окиси сапожки.
Такой громадина и — сапожки.
«А когда-то, — с болью вспомнил Алик, — Пушкина знал наизусть.
Коллекцию фотографий и рисунков собирал. И любил этого Всадника.
И так мечтал увидеть его наяву. Увидел!»..

Алик стал искать в Ленинграде прибежища: злачные места.
И вскоре достиг кое-каких успехов.
Ресторан «Трюм». Дегустационный зал «Нектар».
Коктейль-холл «Янтарь», пивной бар «Пушкарь».
«Даже рифмуются между собой!» — мрачно усмехнулся Алик.

Особенно изумил пивбар: супермодерн, полумрак, интим.
Вдоль стен — крохотные столики на двоих — почти в темноте.
Посреди общего — стола затененные лампы на черной лаковой глади.
Бармены чуть ли не в мундирах — с бляхами, кисточками и позументами.
Пиво подают в красивых глиняных кувшинах. Литровых, не меньше.
Вместо пепельниц — те же кувшины. Но уже побитые.
И самое странное: сплошные молокососы — одни и с девками.

Даже женский туалет предусмотрен. Не в пример Москве.
И все же московские пивные — тесные шумные безобразные —
среди этого супермодерна Алик вспоминал с нежностью...
То же самое и в «Янтаре»: полутьма, интим, дизайн.
Свечи на столах. На потолке мигают — красные, синие, зеленые лампочки.
И опять же: великое множество молокососов — одних и с девками.
От нечего делать Алик стал прислушиваться к их разговорам.
Особенно интересовал жаргон. И кое-какие словечки попали в сети.

Самое распространенное: «фирма», «фирменное»!
Фирменный костюм. Фирменные джинсы.
— Фирма! — говорят они, закуривая дефицитные сигареты.
— Фирма! — говорят они, если коктейль понравился.
— Фирма! — говорят они, увидев хорошенькую девочку.

«Корифан»...
— Два корифана подрались в ликбезе. Слышал?
— Из-за чувы?
— Вчера один корифан прицепился ко мне в автобусе:
«Где ваш билет?» — Я моментально сделал ноги...

«Стабильно»...
— С диаматом у меня стабильно.
— А с крысой?
— Да тоже стабильно!

«Местами»...
— Как тебе лента?
— Местами!

- Нравятся вон те метлы?
- Местами!
- Как съездили?
- Местами!..

Шустрить...

- Вижу, этот козел шустрит вокруг моей кадры...
- Петька явно шустрит. В комиссары лезет...

Говеть — то же самое, что и кайфовать.

- У предков «Наполеон» был в заначке. Мы его, конечно, тут же изъяли. И так хорошо разговелись. Такой кайф словили!
- Смотрю он сидит с ней — и говеет!
- Я спокойненько вытаскиваю шпору, а он говеет себе, в отключке!
- Андрюха вчера новые пласты припер. Из-за бугра. Такие кайфовые! Такие кайфовые! Мы весь вечер говели!

«Схомутать»...

- Мы там таких симпотных телок схомутали, пальчики обсосешь!

Еще несколько выражений;

- Неплохо бы вон ту посадить на корень!
- Вы уже с нею факались?
- Давай сюда свои косточки! — это они так расстаются.

— Нет у них заблуждений нашей молодости, — вяло подумал Алик, — Зато и разочарований, падений таких — не будет. Все легче. А, впрочем, и тогда были такие. И сейчас есть другие — чистые. Но их в этих бардаках не встретишь. Все повторяется! И ему стало жаль — ТЕХ, ДРУГИХ...

Вот и Васильевский остров. Знаменитая стрелка. Кем только не воспетая. Плавная дуга гранитного парапета. Стрелка — дуга. Дуга — стрелка. Скользкие ступени. Мокрые камни у берега. И вода — серая, мутная, студеная и гнилая. Нева похожа, как пишут поэты, на вздувшуюся вену.

— А, может, она похожа, — подумал Алик, — на распухшего утопленника, Вот и Ростральные колонны. Два, безвкусно закамуфлированных фаллоса. Ростральные колонны! Ростральные колонны! — восхищаются идиоты. Вот и помпезная коллонада биржи. Величественный образец плагиата. Вот и... И обрушился дождь, необычный для Ленинграда — ливневый. Чтобы переждать ненастье, Алик решил заглянуть в кунсткамеру.

Он попал в маленький овальный зал — без окошек, плохо освещенный. И там... Самая богатая в мире коллекция человеческих уродцев. Петр выписал ее, а, точнее, умыкнул из Голландии. Умыкнул вместе с хранителем и собирателем. Назначив его директором. Так ловко умыкнул, что голландцы потом целый век не могли понять: куда же подевалась их драгоценнейшая коллекция?

В круглом зале — на полках, сверху донизу, от пола до потолка, опечатанные стеклянные банки с заспиртованными младенцами. Коллекция тщательно пронумерована и разбита по разделам...

Циклопы.

Посредине огромного гладкого лба — белый помутневший глаз. Носа нет. Сразу расселина рта. И обычный подбородок. Ручки, ножки, туловище — как у нормального младенца.

Мозговые грыжи.

Из межглазья свисает длинный морщинистый мешок. Старческая мошонка. В другой банке — из темени свешивается огромная бурая груша. В третьей — затылок как бы вытягивается, превращается в булаву.

Безрукие; безногие...

Банок с такими младенцами больше всех остальных.

Младенец — с одной рукой. Младенец с одной ногой.

Младенец — безрукий. Младенец — безногий.

Младенец — без рук и без ног.

Младенец с недоразвитыми конечностями:

какие-то завитушки: словно улитки вместо ручек.

Ступни, без голеней и бедер, растущие прямо из туловища.

Младенцы без туловища.

Умненькое лицо. Развитые руки. Широкая грудь.

А дальше?... Кишечник свободно плавает в жидкости.

Янусовидные.

Это младенцы со сросшимися черепами.

Большая неправильной формы голова. И два лица. И два туловища.

Сросшиеся младенцы.

Их, как и безногих-безруких, очень много в коллекции.

Вот прильнувшие друг к другу как страстные любовники.

Вот рвущиеся друг от друга — не менее страстно.

Им никогда не разъединиться — ни тем, ни другим.

В подтверждение выставлены скелетики таких сросшихся.

Одна на двоих грудина. Один на двоих крестец.

Безмозглые.

Привычное младенческое личико — и скошенный, как отрубленный, лоб.

И, наконец, безголовый младенец.

Ручки, ножки, туловище — все нормально. Обыкновенное тельце.

И у этого маленького человечка — от плеча до плеча ровная гладкая кожа.

Алик ничего больше не мог смотреть в кунсткамере.

Уходил и снова возвращался в овальный залец.

Как замороженный, снова и снова останавливался у стеллажей...

Отодвигался в середину зальца — и вновь подходил к банкам.

Люди, двигавшиеся рядом, с радостью натыкались на дверной проем.

— Пойдем-пойдем отсюда! — торопила мамаша своих оторопевших детей.

— Зачем выставляют такое вообще в музее? — рассердилась пожилая

женщина.

— Смотри-смотри! — прыская, толкали друг друга молоденькие девицы.

Парочки, попавшие сюда невзначай, стыдливо отводили глаза.

Одинокие мужчины, махнув рукой, сразу же шли дальше.

Алик стоял и думал: у всех этих трупиков были матери, носившие их в своем чреве в течение положенных девяти месяцев. А как поступали их мужья, когда узнавали о случившемся? Алик внезапно вспомнил о себе. Нет-нет, нельзя об этом думать!

Он выскочил из музея. Бросился в троллейбус. Мост. Площадь. Невский. Опомнился уже где-то у Литейного. Сошел. Углубился в переулки. И вдруг посчастливилось. Набрел на «Рюмочную». Взял три порции — три крохотных стопки — сто пятьдесят грамм. И три бутерброда: два с колбасой и один с селедочным маслом. Хватанул. Закусил. Потом повторил... Вроде бы полегчало. Бабу! Надо бабу! Как там по-ихнему — посадить на корень!

Алик еще поблуждал переулками. Пересек Литейный. И там — вскоре — наткнулся на метро. Станция «Чернышевская». Ну что ж! — обреченно подумал он. — Метро так метро! И лестница подхватила его, увлекая в немыслимую глубину тоннеля.

И вдруг... (О это вечное «и вдруг»)
Рядом-совсем близко-мимо-мелькнул знакомый профиль. Боже мой, Камя! Тот же загадочный взгляд. И впалость щек. И кривая бровь. И нос — тонкий и чуткий... И губы — властно и страстно сжатые. Камя! Камя! Бабушкин перстень. Детство! Чудо! Камя!
Сколько раз — подростком — вглядывался в этот профиль. И...
«Только не потерять ее! — твердил Алик. — Только бы не потерять!»
Он прыжками сбежал вниз. И сразу же — бегом — через ступени.
К выходу.

— Девушка, девушка! — Алик задышался. — Мы должны с вами познакомиться.
— Чего ради я должна с вами знакомиться? — холодно отрезала Камя.
И не оглядываясь, быстро вышла на улицу. Алик снова ее нагнал.
— Понимаете, — голос у Алика срывался. — Камя! Мечта детства! У бабушки был перстень... Вы точь-в-точь похожи...
— Ну и что? — возразила Камя. — Почему я должна знакомиться с вами?

И вдруг рассмеялась. И весело продекламировала:
— Я потеряла нежную камею. Не знаю где, на берегу Невы...

— Я прошу вас, — задыхался Алик. — Не подумайте ничего плохого! Мне ничего от вас не нужно... Подарите мне вечер! Всего один вечер... И все! И больше ничего не надо!

— В ваших речах нет логики, — ответила Каменя. Но голос потеплел.

— Прошу вас... прошу вас... очень вас прошу...

И Алик бухнулся на колени. Посреди тротуара.

Что вы! Что вы! — испугалась Каменя. — Немедленно встаньте! Ведь люди вокруг. — Она помогла Алику подняться. — На нас смотрят! Вот и брюки запачкали... Не думала, что вы такой... Отчаянный!

Они присели на скамейку, и Каменя платочком стала оттирать грязь.

— Ну и ну! — приговаривала она. — Впервые такого человека встречаю!

— Может быть, посидим где-нибудь, — неуверенно произнес Алик. — Чтобы тепло... чтобы музыка... чтобы поговорить можно было...

Пятна на брюках полностью так и не оттерлись.

— Вы знаете, я здесь недалеко живу, — предложила Каменя. — Зайдемте ко мне. У меня паста специальная есть.

Они вошли в узкий и мрачный двор — с двумя арками. Облупленные стены. Штукатурка. Куча мусора. Обрывки бумаг. Подъезд темный и грязный. Пыльные окна.

— Только не говорите маме, что пойдем в ресторан, — попросила Каменя. Открыла дверь. Длинный коридор. Двери. Двери. Двери. Как в бараке. Расшарканный пол. Засаленные стены. Обрывки обоев. Стародавние шкафы.

Из кухни злобно глянули сморщенные и скрюченные старушонки.

— Теперь разговор им! — печально улыбнулась Каменя.

Они обосновались на третьем этаже ресторана «Москва».

— Здесь посвободней, — сказала Каменя, — и кормят неплохо...

Оркестр играл отрывки из какого-то новомодного мюзикла.

— Неважно, играют неважно, нечисто, — заметила Каменя. Алик не возражал.

В соседнем банкетном зале пиновала какая-то компания. Пожилые мужчины и женщины с багровыми мордасами. Видать торговля. Они выходили поближе к оркестру. И танцевали. Чудовищное зрелище!

— Им уже за пятьдесят, — вздохнула Каменя. — Подумать только! Неужели и мы... потом... станем такими же... нелепыми...

Каменя вдруг разоткровенничалась. Начала рассказывать о себе. (Алик давно заметил: люди перед ним всегда легко раскрываются. Все подряд: и мужчины, и женщины, и молодые, и старые. Везде: и в поезде, и в самолете, и в бане, и в ресторане, и где угодно.) Вот и Каменя. С виду — холодная и непрístupная. Разоткровенничалась. Оказалось, задерганная баба. Сплошные разочарования. Тепла мало. Приятелей много, кавалеров хоть отбавляй. А любимого нет! — Человека нет! — тихо призналась Каменя. Алик тоже разоткровенничался. Рассказал ей свою историю с Аленой. Рассказал первому человеку в жизни. Даже сам удивился! — Мы с вами, — Каменя ласково взяла его за руку, — два сапога пара! И в глазах ее сверкнула неподдельная бабья слеза...

Ненароком речь зашла о Ленинграде...

— Мне не понравился Ваш город. — напрямую сказал Алик. — Какое-то жуткое впечатление. Сам не знаю почему. — А мне нравится? — взорвалась Каменя. — Думаете, идиотка, как все! Город-музей! Город дворцов и памятников. А каково в этих дворцах? Весь центр, две трети города, представьте себе — сплошные коммуналки! — Уже начали переделку, — сказал Алик. — Сам видел. — Начали? — усмехнулась Каменя. — Начали! А до нас когда доберутся? Вы заходили, видели. Вот так живет большинство ленинградцев. Как нам с мамой надоели соседи. Опротивели! Осточертели! А никуда не денешься! Всю жизнь, понимаете, с ними! Вот говорят: ленинградцы — вежливы, услужливы, тактичны. Это на улице! А что они творят в коммунальных кухнях!

Уже запоздно Алик провожал Каменя домой.

Остановившаяся и целуясь, они неторопливо поднялись по лестнице. Алик не понял: какой по счету этаж. Но запомнил: последний. Каменя вытащила из сумочки ключи. Но не торопилась открывать двери. И Алик вновь жарко обнял ее. Ладони заскользили по спине. — Не надо, не надо! — просила Каменя. — Не будьте, как все мужчины. — А какие все мужчины? — Все мужчины, — Каменя иронически хмыкнула, — щипкие и нахалы!

— Тогда я обращаюсь к тебе от имени всех мужчин! — воскликнул Алик.
— Зачем ты (ТЫ!) повторяешь все эти избитые женские глупости?
— Завтра-завтра, — шептала она, уже не в силах сопротивляться. —
Завтра у мамы суточное дежурство. С четырнадцати часов.
И ты ко мне придешь. И ничто нам не будет мешать.
Завтра-завтра... Я отпрошусь пораньше с работы.
А здесь не надо. Здесь грязно и неудобно. Могут выйти.
Здесь у меня ничего не выйдет. Не надо! Не надо. Завтра...

Все эти «не надо» — Алик понимал — и гроша ломаного не стоят.
Он целовал Камею всасос — властно и грубо.
А когда устал, ласково прильнул к шее.

И вдруг... опять это — («и вдруг»!)

Из под воротника кофточки пахло душным сероводородом.
Волны зловония и раньше окатывали его... Временами...
Но ему казалось, пахнет в подъезде... А тут!
Мадемуазель смердит! — сокрушенно подумал Алик. — Ужаси какие...
Отпрянул от Камеи. Отодвинулся. Пыл пропал.

— Так значит, завтра, в два, — обрадовалась Камея. — Я буду ждать.
К нам три звонка: два коротких и один длинный. Запомни!
— До свидания, милый! — нежно прошептала Камея.
— До свидания, милая, — отозвался Алик, сбегаая по лестнице.

Назавтра, утром, по совету Камеи, Алик отправился на Мойку.
«Последняя квартира Пушкина». В музей.
Еще с ночи лил дождь. И ожидавших оказалось мало.
Гид — молодая бабенка. Не торопилась, как обычно. Не «шустрила».
Рассказала много милых и интимных подробностей.
Например, то, что Пушкин любил работать лежа
Специальный секретер стоит и сейчас у его дивана.
Подолгу останавливалась у рукописей: черканых-перечерканых.
Не разобрать ни строчки — зато много красивых женских головок.
И повсюду столбики цифр — подсчеты, подсчеты, подсчеты.

Как известно, его семейство едва сводило концы с концами. Прочитала и подметное письмо, окончательно решившее судьбу поэта, в котором сообщалось, что его — Александра Пушкина — «единогласно выбрали коадьютором великого магистра ордена рогносцев и историографом ордена...», — что особенно взбесило Пушкина. Он, в самом деле, хотел быть у Николая историографом.

Потом они еще долго стояли с гидшей вдвоем. И она, увлекшись, рассказывала такое, чего Алик никогда раньше не слышал. И словно упала завеса. И возник человеческий облик поэта. Со страстями и крушениями, радостями и горестями. Повеса, обольститель, покоритель дамских сердец, быстро и пылко влюблявшийся и так же быстро охладевавший, попался в эти же сети: Натали — любимая, драгоценная, единственная — отвергла его. Влюбилась в светского щеголя — Дантеса. Полюбила — неудержимо и властно. Первая ее любовь. Как резко бледнела она на балах, когда появлялся этот щеголь. Как трепетала, когда он приближался к ней. Беременная, на шестом месяце, она объяснилась в любви.

Любил ли ее Дантес? Кто знает!
Любил! — внезапно озарило Алика. — Любил!
Иначе зачем пошел на самую крайнюю крайность? Взял в жены Катрин. Женился на сестре, чтобы только чаще видеть свою возлюбленную. Чтобы на законных основаниях бывать в доме Пушкиных. И так же на законных основаниях — приглашать к себе.

Алик подумал: а что было бы, если вместо Пушкина — Каренин? Если вместо Натали — Анна? Если вместо Дантеса — Вронский? Разве виновны они в том, что одним из углов, в общем-то банальнейшего любовного треугольника, оказался великий русский поэт?

Как не любила она своего «ревнивого старика»!
Поневоле дея в постели его неистовый пламень.

Скорее всего, закрыв глаза и воображая Дантеса.
И, наконец, роковая неизбежная дуэль... Роковая — для всех троих!

Бродя по мокрым пасмурным переулкам, Алик понял:
об этом нужно, просто необходимо об этом написать.
Описать трагедию трех людей: одинаково несчастных! Одинаково
невинных!

Никого не клеймить. Никого не оправдывать. Написать все, как было.
Воспеть Дантеса. Воспеть всю искренность, всю нежность его любви.
По силе — наверняка! — не уступавшей страсти самого Пушкина.
Воспеть Натали. Воспеть ее впервые возникшее чистое чувство.
Так поздно пришедшее. Так непоправимо поздно.
И Пушкина воспеть. Его последнюю трагическую любовь.
Его безответную любовь. И робкую пассивность любимой женщины.

Начать рассказ надо бы с пятидесятих годов. Дантес и Натали
встретились в доме Александрины — где-то под Веной, в Австрии.
Стояла мягкая осень. Золотые и красные деревья. Листья шуршали.
Бедные любовники. Постаревшие. Медленно бродят по аллеям.
Прямо с их диалога и начать: они говорят друг другу милые глупости.
Справляются о здоровье. Подробно рассказывают о своих детях.
Обсуждают различные светские новости. Вспоминают старых знакомых.
Но сквозь оговорки, недосказанные вопросы, ответы невпопад,
мерцает еще не потухшая, но давно уже невозможная страсть.
И воспоминания, воспоминания, воспоминания. То — его, то — ее.

И сразу оборвалось в груди: не смогу, не сумею..
Вспомнилось — в юности, нет, еще раньше — в детстве
мечтал стать великим поэтом. Таким же, как Пушкин.
Часами корпел над строчками. Черкал. Выправлял. Вымарывал.
Черновики выглядели, как пушкинские. Только без женских головок.
И все понапрасну. Бросил — после первого же разбора в редакции.
Ничего не получится и в прозе. Тоже пробовал.
Да если бы и умел, все равно ничего не получилось бы.
Надо такую груду бумаг перелопатить — и архивных, и опубликованных.
Да и потом все настолько запутанно — не продерешься к истине.
Надо писать по наитию, по интуиции... А этого не простят!

Алик опомнился в районе Моховой улицы, вчерашняя «Рюмочная»
Зашел. Взял две стопки. Полегчало. Забылся.
Глянул на часы. СКОРО ДВА! че-тыр-над-цать!
Идти или не идти? Что за вопрос? Конечно, идти!
Вчерашний инцидент? Некоторое отвращение?
Подумаешь! Семнадцатилетний мальчик, что ли? Ну, дернула!
Обычный физиологический акт. В том-то и дело, что обыкновенный.
Держать в себе эту гадость, когда подpiraет? Нелогично.

Алик попросил еще одну стопку. Выпил, не закусывая. И вышел.
И вдруг...

Послушайте, Лещев,
это уже четвертое «и вдруг» в одном куске.
Непрофессионально, дорогой. Нарушены элементарные правила ремесла.

Пошел к черту! Профессионально, непрофессионально. Какая разница?
В общем, Алик ощутил позыв. Позыв на низ. Нестерпимый!
Он спросил у встречного патлатого юнца, где ближайший сортир.
Тот сказал: у Литейного. Пояснил, как пройти. До угла проводил.
Настоящий ленинградец! Фирма!
Была ужасная пора.
Об ней свежо воспоминанье...
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье...
Печален будет мой рассказ.

Евгений

Стремглав, не видя ничего,
Изнемогая от мучений,
Бежит туда, где ждет его
Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом...
...Что это?...

...Он остановился...

Сортир, к которому стремился Алик, на который возлагал такие надежды,
сортир оказался з а к р ы т ы м...

«Закррито ввиду аварии», — было начертано на бумажке.
Алик спросил у прохожего, по виду ленинградца, где ближайший.
Тот задумался. Недоуменно оглядывался по сторонам.
— Вы знаете, — ответил, — я как-то не интересовался этим вопросом.
Да! — обрадовался он. — В Таврическом садике есть!
— А где Таврический садик?
— Недалеко от метро «Чернышевская». Знаете? Как раз по пути...
— Знаю! — обрадованно крикнул Алик и ринулся в сторону метро.
Вскочил Евгений, вспомнил живо
Он прошлый ужас, торопливо
Он встал, пошел бродить. И ВДРУГ
Остановился и вокруг
Тихонько стал водить очами
С боязнью дикой на лице.
Он очутился под столбами
Большого дома...
Алик никак не мог найти метро.
Метался из стороны в сторону. Из одного переулка в другой.
Улица Белинского... Улица Некрасова... Улица Короленко...
Улица Рылеева... Улица Салтыкова-Щедрина... Наконец, улица
Маяковского!

Где же Чернышевский?
Словно сговорились русские писатели: смеются, хохочут...
А тайны — где Чернышевский? — не выдают!
Спрашивать у прохожих — просто не было сил.
Еще немного — и прямо в штаны. Соппротивление было на исходе.
Что-же-де-лать? Что-же-де-лать? — скандировал он про себя.
И он по улице пустой
Бежит и слышит за собой
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
И озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко скачущем коне...

Алик остановился как вкопанный: знакомая арка!
Во дворе еще одна арка. Дом номер пять. Напротив — желтая церковь.
Дом Камеи? Дом Камеи! Алик узнал. Это добавило сил.
«Спасен! Спасен!» — твердил он про себя.
Пробежал двор. Ворвался в подъезд. И прыжками на последний этаж.
Хотел нажать кнопку — три звонка... И тут силы оставили его.
Пока она выйдет на звонок. Пока проведет в комнату.
Да и там — не спрашивать же сразу о сортире?
Поговорить надо. Потом вежливо-неторопливо: «Где можно помыть руки?»
А если туалет занят? Нет-нет-нет! Нет времени, нет сил!
Алик рывком сорвал с себя брюки. Тут же, на половике, и присел.
Несколько секунд хватило: сбежать по лестнице.
— Может, надо было, — злобно подумал Алик, — позвонить три раза?
И ему вдруг стало жаль Камею. И себя тоже жалко.
Он облегченно вздохнул, выйдя в сырые грязные переулки,
в этот город, город неистребимых коммуналок...
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия...

ЮЛИЯ МИХЕЕВА

Быть никем



Не оглядывайся, Орфей,
Не узнаешь свою невесту —
Ей давно на земле не место.
Не оглядывайся, Орфей.

Воды Стикса чище, Орфей,
И спокойней, чем воды мира,
Где твоя надрывалась лира...
Мне спокойнее здесь, Орфей.

Уходи без меня, Орфей!
Здесь, в Аиде немом и диком,
Так уютно твоей Эвридике.
Уходи без меня, Орфей!

Скоро, скоро тебя, Орфей,
Так разлука со мной измучит,
И тебе шумный мир наскучит...
Как я этого жду... Орфей...



Петля больничного покоя
И неба простыня —
От угасания такого
Избавь, Господь, меня!

От ангелов в халатах белых
За спинами врачей,
Избавь меня от яблочек спелых
На тумбочке моей.

Избавь от муки глаз любимых,
Когда я закричу,
Что мало мне тех дней счастливых,
Что жить ещё хочу!

1993



Вот она — тьма внутренняя.
Здесь скрежет сердца и боль зубная.
Пусто. И зыбь утренняя,
снова, я чувствую, подползает.
Древнего, первобытного,
холода струйка между лопаток,
тянется. Сна забытого
силюсь в глазах удержать остаток.
Нужно ли? Отпускаю...
Незачем слушать в левое ухо
шепчущего. Я знаю,
как неприметен ангела крик для слуха.

1993



Я хочу быть никем.
Быть никем. Быть забытой травой.
Чтобы ветер дурной
Безразлично летал надо мною.
Быть забытыми главами сказок,
Золотыми главами церквей,
Сумасшедшими всплесками красок
На забытой палитре моей.
Не мечтать ни о дне, ни о часе,
Когда Бог улыбнется и мне.
Я хочу быть никем. Неподвластной
Ни любви, ни себе, ни судьбе.

1991



Переродиться. Вырваться наружу.
Былое — на алтарь чужим богам, —
Ягненком трепетным и неуклюжим, —
Без жалости и гордости отдам.

Не жертва. Избавленье и свобода
От радостей вчерашних и обид.
Всё — в жертвенную чашу небосвода,
Всё, что привычно ранит и болит.

Не умереть. Вернуться к предрожденью,
К преджизни где-то там, на облаках,
К предчувствию зеркальных отражений
И запаху грудного молока.

1992



Нам, разминувшимся во времени,—
Так ненавистен бой часов.
Но звуки наших голосов
Ещё не преданы забвению.

И очертанья наших лиц —
Ещё не стёрты, хоть и зыбки.
И беспричинные улыбки
С губ беспокойных не сошли.

Мы помним каждый взгляд и жест...
Но лёд под нами слишком тонкий,
А в памяти так мало толку
И не предвидится чудес.

Хоть нам не встретиться уже,
И не сойтись руке с рукою —
Мне отчего-то так спокойно
И беспечально на душе.

1993

ЮРИЙ КУДЛАЧ

Саксофон

Рассказ

С самого детства я мечтал играть на саксофоне. Виноват в этом, конечно, мой старший брат Миша. Он, как сказали бы сегодня, был «фаном» кинофильма «Серенада Солнечной долины». Заразив меня своим фанатизмом, он, безусловно, оказал мне дурную услугу, потому что, еще не видя фильма, я впервые познал чувство зависти. Это было сладкое чувство: оно сочеталось с восторгом и преклонением перед предметом моей зависти — Гленном Миллером. Миша произносил это имя по сто раз на день. Оно звенело у него во рту как стеклянный леденец, когда он ударяется о зубы. Часами Миша мог говорить об этом фильме, изобретая все новые подробности его создания или из биографий снявшихся там музыкантов, которых он называл, как своих близких знакомых, по именам. И, конечно же, имя Гленн звучало в мишиных устах как удар вешнего колокола.

Весьма красочно Миша показывал в лицах, как поводил плечами пианист, сопровождая этот показ презрительным комментарием, потому что пианиста в фильме играл вовсе даже не пианист, а простой киноактер; как контрабасист ловил открытым ртом каждую ноту, бабочкой выпархивающую из-под его мощных пальцев; какой походкой вразвалочку выходил к микрофону певец в странной для того времени шапочке с большим козырьком (теперь все носят такие); как синхронно поворачивали в разные стороны тромбонисты свои кулисы. Миша даже пытался танцевать, изображая тяжелый стэп.

Но особенно поразил мое детское воображение саксофонист: Миша выходил на середину комнаты, вдохновенно откидывался назад, закрывал глаза, как-то по-особенному раскорячивал ноги, подносил к губам воображаемый мунштук и... «мне декабрь кажется ма-е-еем.» Это было упоительно! Моя судьба была решена.

Когда впервые на банальный вопрос родственников, кем я собираюсь стать, я ответил, что саксофонистом, никто на мой ответ внимания не обратил. Саксофонистом, так саксофонистом. Мало ли какую ерунду болтают дети? Говорил же я совсем недавно, что буду ватманом (так в нашем городе называли водителя трамвая). А до этого я утверждал, что непременно стану продавцом мороженого. Но мои родственники недооценили моей решимости.

Вскоре состоялся тяжелый разговор с матерью. Она не поверила своим ушам, когда узнала, что ее ребенок, на которого она возлагала столько надежд, собирается всего-навсего играть на саксофоне. «Ну, пусть на скрипке! На рояле, на худой конец, — говорила мама, — но на саксофоне! На этой клистирной трубке!! Может быть, ты еще скажешь, что хочешь играть в джаз-банде?! Музыку «толстых»?!!» И узнав, что именно этого я и хочу больше всего на свете, мама прямо-таки впала в неистовство. «Только через мой труп!» — заявила она и, гордо откинув голову, удалилась в кухню.

Через пару месяцев она привела меня к пожилому человеку по имени Алексей Иванович. Перед тем, как попасть в наш город, Алексей Иванович довольно долго жил в Тбилиси, поэтому в его речи прослушивался легкий грузинский акцент. Я, никогда до этого не слышавший такого акцента, сразу решил, что это — своеобразная манера шутить, и поэтому постоянно глупо хихикал в ответ на каждое сказанное Алексеем Ивановичем слово. Из-за этого Алексей Иванович сначала принял меня за идиота и отнесся ко мне с повышенной предупредительностью.

На первом же уроке Алексей Иванович объяснил мне, что прежде, чем начать играть на саксофоне, нужно научиться играть на кларнете. Это явилось полной неожиданностью для меня. Когда же я узнал, что сначала придется осваивать так называемый классический репертуар, глубокое уныние охватило меня. А как же вдохновенно закрытые глаза, а как же раскоряченные ноги, в конце концов?! Но отступить было некуда: во-первых, стыдно перед мамой, а во-вторых, думал я, если другого пути нет, то ради светлого будущего и раскоряченных ног придется потерпеть и эту муку.

...Прошло несколько лет, которые, право же описывать не стоит: обычные годы учебы со своими радостями, огорчениями, разочарованиями и надеждами. Но образ самозабвенно дующего в мундштук саксофониста не потускнел в моем воображении и продолжал оставаться для меня идеалом. Каждый день, ложась в постель, я, прежде чем заснуть, представлял себе, как я вразвалочку выхожу на авансцену, подношу к губам свой саксофон, слегка откидываясь назад, раскорячиваю ноги и... «мне декабрь кажется ма-а-аем...»

За время этих мечтаний я успел окончить музыкальное училище и поступить в консерваторию по классу все того же кларнета. В свободные от занятий вечера я потихоньку от всех играл в различных полусамодельных джазовых оркестрах. Играл, конечно же, на саксофоне.

Нашим джазом руководил шустрый молодой человек с вполне подходящей фамилией Танцюра. Звали его Евгений. К публике Евгений относился с полнейшим пренебрежением, утверждая, будто он только зеркально отражает то, что публика думает о нас. И действительно. Людям, с нетерпением ожидающим начала сеанса, было совершенно наплевать на то, что мы им играем. И как. Танцюра этим пользовался и, так как он был в сущности неплохим музыкантом, создавал для нашего небольшого оркестра репертуарный винегрет: от Баха и Чайковского до джаза разных направлений. Все эти произведения были аранжированы самим Евгением, что дало кому-то из музыкантов повод сострить: «Публика дура, а Женя Танцюра».

И вот однажды перед началом нашего очередного выступления подошел ко мне наш руководитель и небрежно сказал:

— Слышь, Эдик, ты это... сегодня вместо Коли солягу слабаешь, а то у него это... зуб болит... Но смотри у меня! Чтoб все олайт! Понял?

Что тут со мной сделалось — передать не могу. Вот он, миг торжества моего! Вот мгновенье, о котором мечтал всю жизнь!

Начался концерт. Мое сердце колотилось так, что я едва слышал нашего барабанщика Митю, хотя стучал он, будь здоров! Мы сыграли первый номер, затем второй — мое соло было в третьем. Сейчас... сейчас!

Оркестр начал третий номер, но я уже не играл — я впился глазами в Танцюру и ждал его знака... И вот он, этот знак: давай, Эдик!

Я встал со своего места и вразвалочку, именно такой походочкой, какой шел один из кумиров моего детства, подошел к микрофону. Чувствуя на себе взгляды публики, я поднес к губам мундштук, набрал

полную грудь воздуха, вдохновенно закрыл глаза, откинулся назад, раскорячил до предела ноги и... услышал чей-то шепот:

— Мудак, штаны застегни!

Я скосил глаза и остолбенел: брюки полностью расстегнуты, из ширинки торчит кусок рубашки и просматриваются трусы в красную клеточку. И тут раздался гомерический хохот публики.

Согнувшись пополам, прикрываясь саксофоном, я уполз за кулисы.

...Все это произошло очень давно. Я стал композитором, пишу много разной музыки — и серьезной, и развлекательной. Но для саксофона я никогда не написал ни одной ноты.

А мой старший брат Миша до последнего дня своей жизни рассказывал новые подробности из истории создания «Серенады Солнечной долины» и, раскорячивая свои старческие дрожащие ноги, играл на воображаемом саксофоне. При этом глядел на меня с укором.

Ганновер

Август 1994

Магический квадрат

Рассказ

На платформе никого не было. И вообще вокруг никого не было. Большие хлопья снега, мягко покачиваясь, медленно опускались на землю. Было очень тихо и спокойно, как бывает в первое утро нового года.

Он услышал звон бубенцов и нервно обернулся, почти уверенный, что сейчас из-за отдаленного пригорка появится украшенная разноцветными лентами тройка. Но никто не появился, потому что, во-первых, наступил уже март, а, во-вторых, платформа, на которой он стоял, находилась вовсе не в России.

Слово «эмиграция» нравилось ему по звучанию. Что-то в этом слове было неуловимо женское. Оно распалось на две части: «грация»

вызывала в его воображении некую юную грациозную девушку, одетую, а точнее, полуодетую в соответствующую часть дамского туалета. Кроме того, почему-то виделась Италия, юг, море, красивые загорелые белокурые итальянские женщины — «Грация, синьора!» Первая же часть слова ассоциировалась с актрисой, в которую он был втайне от самого себя влюблен когда-то, в дни своей молодости, когда знаменитый французский фильм поразил его поколение щемящей и нежной любовью.

Никто не встретил его в маленьком курортном городке. День начал склоняться к вечеру, снег продолжал валить и нужно было что-то делать, что-то решать — не оставаться же на этой забытой Богом платформе. Тем более, что под навесом расположилась его семья: жена, сын и замерзающая в корзине кошка. Глядя на них, беспомощных и ждущих от него каких-то действий, он вдруг вспомнил эпизод, который произошел вчера. Не зная здешних порядков, да и вообще ничего не зная и не понимая в этой стране, они по ошибке сели в вагон первого класса. Измученные долгим путешествием, они обрадовались пустому чистому вагону, уютному купе. Рассовав по углам многочисленные чемоданы, сумки и узлы, они выпустили из многодневного заточения бедную кошку и уселись на мягкие диваны в предвкушении отдыха. Вдруг дверь резко отворилась и на пороге показался мужчина в форме. За его спиной прорисовывалось еще два неясных силуэта. Из интонаций мужчины явно следовало, что они сделали что-то не то, но что именно, они никак не могли понять. Наконец, до них дошло, что они сели не в свой вагон — конечно же, им надлежало ехать во втором классе. Рассерженный мужчина ушел, жестами дав им понять, чтобы они немедленно выметались. В коридоре нетерпеливо попыхивал ароматной трубкой высокий элегантный господин, рядом с ним застыла сухая, как старый деревянный столб, дама. Стало очевидным, что места именно этих холеных самоуверенных людей они по незнанию заняли. «Швейцарцы», — подумал он (поезд шел в Базель) и, бестолково и постыдно суетясь, потащил с полок чемоданы. Стало жарко, меховая шапка съезжала ему на глаза (впоследствии по таким шапкам он в любой стране безошибочно определял соотечественников), нелепый, никем не виданный в Европе полушубок стеснял движения, мешая и раздражая. Жена хватала мешки, сумки, роняя нужные и ненужные бумажки, сын бросился ловить забившуюся под диван кошку. Испуганная кошка начала жалобно кричать. Стоящая в коридоре пара наблюдала за всем этим с холодным, безразличным презрением. Последнее, что он увидел уже из коридора: холе-

ный господин отворял окно, желая проветрить купе. «Суки!», — с внезапной ненавистью стукнуло ему в висок.

...Надо было что-то решать, и он направился к вокзалу. По правде говоря, он не был уверен в том, что небольшое белое здание, стоящее на платформе, — вокзал, но другой кандидатуры не было. Вокзал оказался запертым, и на его робкий стук никто не отозвался. Прижавшись лицом к стеклянной двери, он попытался что-нибудь разглядеть внутри, но ничего не разглядел, да и разглядывать там, собственно, было нечего: темно и пусто. Он вернулся на платформу, решительно не представляя себе, что делать дальше, как добираться до места, которое являлось конечной целью этого колоссального переезда через половину земного шара — до таинственного, загадочного и манящего Замка. Сколько раз он с напускной небрежностью говорил своим друзьям там, дома: «Первое время мы будем жить в Замке, а там видно будет». И друзья горько усмехались и завидовали, — конечно, кто из них мог мечтать о таком счастье! А воображение уносило его в мир Вальтера Скотта, он слышал отраженные от каменных стен тяжелые металлические шаги рыцарей, ощущал на своем лице жар огромного очага; ему снились грубые голоса, стук кружек, хруст раздираемого мяса и визг собак, дерущихся из-за костей. Он увидел тусклый блеск кинжала, предательски обнаженного в мрачном сводчатом подземелье; он слышал хрипкое дыхание честного поединка, отвратительный лязг мечей, предсмертный стон побежденного. Его тонко волновал шелест женского платья, тихий смех и призывный шепот, доносящийся из-за неплотно прикрытой огромной резной дубовой двери.

Как-то раз ему удалось раздобыть крупномасштабную карту. К своему удивлению, он обнаружил на ней Замок. Он был обозначен квадратом. Но это был не простой квадрат — магический. Часами он вглядывался в карту, пытаясь за геометрически простой формой разглядеть подъемный мост, узкие бойницы и наполненный темной болотной водой ров. Зеленая краска вокруг квадрата внезапно проросла вековыми дубами, которые, как ему казалось, должны помнить Робин Гуда. И хотя Замок находился не в Англии, такова была романтическая аберрация его сознания.

...Он увидел желтую телефонную трубку. Сквозь боковое стекло мелькнуло написанное большими буквами слово «ТАХІ». Он потянул дверь, но она не поддавалась. Не понимая, в чем дело, он принялся дергать дверь, но она не желала открываться ни внутрь, ни наружу. Отчаяние

охватило его, как вдруг неожиданно дверь качнулась и мягко поехала куда-то в сторону. Чувствуя себя совершенным дикарем, он вошел. Внутри было чисто и светло. Он долго стоял, пытаясь понять надписи на чужом языке, догадываясь, что это инструкция, объясняющая, как вызвать такси. Но его знаний явно не хватало, чтобы понять странные, многосложные слова. Да это уже и не имело значения, так как все равно было не ясно, как пользоваться самим телефоном. Вдохнув, он вернулся на платформу.

«Попробую поймать», — сказал он жене и пошел по рыхлому снегу туда, где, по его ощущению, должна была быть дорога. И действительно, через некоторое время он оказался на обочине какого-то шоссе. Мимо проносились сверкающие лаком и чистой необыкновенные автомобили. Их водители недоуменно оборачивались на его одинокую нелепую фигуру, и значение этих взглядов он уже понимал. Он стоял долго, пока не увидел большую машину с табличкой «ТАХІ» на крыше. Автомобиль мягко и совершенно бесшумно затормозил. Он открыл дверь и хотел сесть, но водитель остановил его каким-то вопросом. «Что?», — по-русски переспросил он. Водитель что-то быстро говорил, но, встретившись с ним взглядом, все понял и, доброжелательно усмехнувшись, сделал приглашительный жест.

Спустя несколько минут машина уже везла их в Замок. Он сидел рядом с водителем, пораженный обилием каких-то неведомых приборов, экранов и экранчиков, светящихся успокаивающим зеленым светом, кнопок и тумблеров. Впереди сверкала хромированная мерседесовская звезда. Машина скользила словно шайба по льду. Из-за тучи показалось закатное солнце, розово озарив и без того неестественно, как в кино, красивый сельский пейзаж, и постепенно напряжение стало отпускать его. Он прикрыл глаза, сосредоточившись на скорой встрече с Замком — этим воплощением своей мечты. И, действительно, вскоре автомобиль свернул на какую-то узкую дорогу и, немного попетляв, въехал во двор Замка.

Да, это был Замок, но совсем не такой, какой рисовался ему в фантазиях. Странное эклектичное здание с двумя боковыми флигелями, относящимися к разным эпохам, явно нуждалось в ремонте. Облупившаяся грязно-желтая краска придавала зданию унылый вид. Положение не спасали две башенки, претендующие на средневековые, и смутно видневшиеся в высоте фигуры, изображавшие не то рыцарей, не то менестрелей. Во дворе стояло несколько мусорных баков, заполненных доверху. То, что

не поместилось в баках, валялось рядом.

Вещи, выгруженные таксистом, мокли в снежной грязной каше. Острейшее разочарование сжало его сердце. Жена, прислонившись к какой-то выщербленной, загаженной колонне, заплакала. Сын мрачно, исподлобья, посмотрел на него. Это был упрек за то, что он принес семью в жертву своим романтическим бредням, уговорил и фактически заставил бросить дом, друзей, привычный быт, возможность говорить на родном языке, понимать и быть понятым.

«Ну что ж, надо устраиваться», — сказал он, чтобы что-нибудь сказать, — «пойду поищу кого-нибудь». Вскоре он нашел плотного человека с неприятной улыбкой, за которой скрывалось какое-то знание. Человек сказал, что никто их здесь не ждал, и никому они не нужны. Сделав это заявление, человек дал ему ключ и добавил, что им очень повезло: комната маленькая, поэтому никого к ним не поделят — они смогут жить отдельно. Он поднялся в башню и вошел в отведенную ему комнату. То, что он увидел, поразило его: комната была совершенно пустой, если не считать двух железных солдатских коек без матрацев и белья. Над головой нависала низкая покатая крыша, в которой было прорезано маленькое окошко. Оно прилегало к раме неплотно, и из щелей сочилась вода. Тут он заметил, что один матрац в комнате все же был: он лежал в небольшой луже на полу. В углах зеленела плесень и омерзительно пахло гнилью. Жуткий, непреодолимый приступ неведомой доселе клаустрофобии схватил его за горло. Ему остро захотелось домой, в свой уютный зеленый город. Мысль о том, что он пробудет в этой комнате хотя бы одну минуту, показалась ему физически невыносимой. Задышавшись, он вышел в коридор и побрел по бесконечным переходам, еще не зная, что ему предстоит прожить здесь долгих шестнадцать месяцев и что эти месяцы, быть может, будут самыми счастливыми в его новой, второй жизни.

Гайнцвер

Февраль 1994

ТАИСИЯ ЧАЙКО

Доллар

Рассказ

«Какая крутая все-таки эта лестница» — думала я, поднимаясь в контору и волоча за собой огромную сумку, набитую всяким добром «на продажу». В комнате, куда я еле добралась, никого не было. Из соседней слышались разнообразные звуки, полностью характеризующие понятие «рабочий день в разгаре». Шаркали чьи-то башмаки по обшарпанному паркету, кто-то кричал в телефон, трещала допотопная пишущая машинка.

Не знаю, из каких соображений, возможно, в силу вредного характера, но я никак не связывала слово «офис» с нашей конторой. В моем понимании он ассоциировался с солидными людьми и такими же делами, и чтоб интерьер, как на журнальных картинках! Но когда на тебя уныло смотрят стены с облупившейся трехгодичной краской, убогие письменные столы без выдвигаемых ящиков, а под ногами скрипит, осердясь, разошедшийся пол... Здесь уместнее, родное до каждой буковки, слово — контора.

Комната, где я находилась, была небольшая, в углу стоял сейф, посередине — два стола. Пара стульев завершала обстановку. Штор на окнах не было, поэтому лучи солнца попадали частично на один из стульев. «И тут солнце, — сказала я сама себе, — когда его нет — плохо, но когда много, даже слишком много — тоже плохо. Особенно, если нажаришься весь день на базаре и никакого спасу от него нет». На противоположной стене, аккурат напротив меня, висело длинное узкое зеркало, из которого с интересом смотрела сидящая на стуле усталая

замурзанная женщина средних лет. «Иисусе! Да ведь это я! А морда-то черная от загара, как старый кирзовый сапог». Я отвернулась и перевела взгляд на стол. На нем лежала небольшая кучка денег — российские купюры различных достоинств и наши новенькие тенге. «Эх, — подумала я, — и когда мои начальники поумнеют. В комнате никого нет, лестница рядом — заходи и бери. Еще в сейфе ключ торчит! Совсем хорошо!» Пока я внутренне негодовала, мое внимание привлекли бумажки грязно-зеленого цвета. «Доллары», — мелькнуло в голове. Никогда не видя их живьем, я много раз слышала, что они зеленого цвета. Даже помимо распространенного названия «баксы» их еще называли «зелень», «зеленка». Со стула встать было лень и я, вытянувшись всем корпусом, двумя пальцами выловила из кучи первую попавшуюся купюру и с большим вниманием стала разглядывать. С одной стороны, кроме надписи «One dollar», еще помещался портрет какого-то дядьки преклонных лет, а с другой — пейзаж.

— Так, так, так — сказала я шепотом. — Значит, вот ты какой, американский доллар. Давай познакомимся.

Вдруг старичок на портрете подмигнул.

— Давай, — послышалось явственно. С испуга я выронила денгу, и она спланировала прямо на мои колени.

— Обожаю лежать на женских коленях, — хихикнул портрет.

Не понимая, что происходит, я во все глаза уставилась на него. «Ну дела, — пронеслось в голове, — это все Григорян. Возьмется со своими экстрасенсами да колдунами, вот и результат — дядька на долларе заговорил».

— Ты, милая леди, не пугайся, я хороший, — старичок на портрете улыбнулся во весь рот. Понемногу придя в себя, я даже разглядела, какие у него красивые ровные зубы, фарфоровые, наверно. Я улыбнулась в ответ и поглядела на себя в зеркало. Половина моего рта была одета в металлические напыленки желтого цвета «под золото».

— Н-да, — сказала я сама себе, — никакого сравнения.

— Я хороший и совсем простой, — продолжал старичок.

— Кабы вы были простого классу, вас бы на портрет в денгу не тиснули, — нашлась я, — и часто вы так пугаете людей?

— Не так, чтобы очень. Но бывает... Вижу, сидит дама усталая, одинокая, сердитая. Дай, думаю, поговорю с ней по душам. А то все молчу, молчу...

Из зеленого его лицо стало розовым, видимо, лежание на женских коленях подействовало благотворно. Между тем, в соседней комнате все так же шумели, по коридору проносились всякого рода личности, своими железными набойками, как гвардеец на плацу, топала Ленка, а я потихоньку общалась.

— Вы кто? — задала я бесцеремонный вопрос, — и откуда вы меня знаете?

— Я знаю все.

Его лицо приняло философское выражение.

— Интересно, а в двух словах нельзя?

— Попробую. Я знаю все банки мира, всех крупных и мелких дельцов, темные и светлые финансовые дела. С моей помощью страны процветают и хиреют. Я могу все продать и все купить. И, возможно, это звучит нескромно, но на мне держится мир. Я всемогущий!

«Какой нахал!» — возмутила я. Во мне загорелось жгучее желание поставить его на место.

— Но ты всего-навсего бумажка, и я могу сделать с тобой все, что захочу, — от волнения я не заметила, как перешла на ты, — вот возьму и плюну на тебя, брошу на пол, буду топтать ногами или разорву, наконец.

Старичок иронично улыбнулся и погрозил пальцем.

— Э, нет, шалишь. Ты никогда этого не сделаешь. Я знаю человеческую природу.

Он был прав.

— Послушай, а как ты сюда попал, на окраину Казахстана?

— Я уже говорил, нет такого уголка в мире, где бы меня не знали и не уважали. Включая теперь и Казахстан. Ваша худосочная тенге мне не конкурент. Она кто? Доходяга! И все мало-мальски грамотные люди приобретают меня. И тебе советую.

На это я только горестно вздохнула.

— Знаю, знаю, — сказал дядька, — у тебя сын, который в этом году пойдет в школу, и ты не можешь свести концы с концами.

«Нет, — подумала я, — он невыносим. Я его точно разорву и наплевать мне на природу». Стало, не выразить до какого состояния, обидно и за себя, и за бедную, несчастную тенге, которая, не успев родиться, уже была зачислена в ранг доходяг каким-то заморским гастролером.

— Послушай, — спокойно начала я, — ты толстый, счастливый и здоровый, а хихикаешь над русской бабой, тенге критикуешь. А может,

как истинный джентльмен, взял бы, да и влился в нее. Глядишь, она бы потяжелела, потом с Божьей помощью и разродилась. Детки бы пошли — долларятки или, скажем, тенгушатки, там, смотришь, и народу полегче бы стало. А ехидничать — много желающих. И не стыдно тебе?

В сердцах я взяла купюру с собственных колен и положила на край стола, «Сиди там, — подумала я, — пригрелся».

Поразмыслив, дед на портрете сказал: «Нет, не стыдно. Я всего лишь бумага. Сильная, властная, но бумага. Человеческие эмоции мне чужды. А насчет помощи... У вас правительство имеется, оно и должно о своем народе заботиться».

Я искренне засмеялась.

— Ты наше правительство видел!? Вся их забота на лице. Чтобы я, среднестатистическая тетка, чуть-чуть поверила, будто они пекутся обо мне, им надо хотя бы похудеть до приличных размеров. Особенно премьеру. А ты — заботиться...

— А ваш президент что говорит?

— Что наш президент говорит? Надо подождать и потерпеть. У васенских есть всякие рычаги, и предложения интересные от насенских бизнесменов поступают.

— Оказывается, ты не все на свете знаешь, — заключила я. — Скажу по секрету. У нашего президента замечательный талант. Он убедительно говорит. Выводы, конечно, потом, но когда слушаешь, такая накатывает любовь к Родине, такой дух патриотизма витает, что хочется снять с себя последний заштопанный бюстгальтер и отдать его в фонд развития Казахстана. А про рычаги и предложения мы давно слыхали.

Между тем шум в соседней комнате пошел на убыль, перестала работать машинка, кто-то потопал вниз по лестнице.

— Серега, — донесся из коридора Валеркин голос, — ты в «Птицу» езжай, возьми там курей жареных, колбасы и паштет. И хлеба не забудь.

«Ага, — прикинула я, — директор зама за закуской посылает. Рабочий день закончился, обедать садятся. Интересно, я сегодня выручку сдам или нет».

— В наших газетах пишут, что у вас не все в порядке с национальным вопросом, притесняют русских, — портрет с интересом смотрел на меня.

— Ох, дедуся, — вздохнула я, — этот самый национальный вопрос где-то наверху, а мы — как жили, так и живем. Хочешь, я тебе расскажу историю, которая произошла со мной года два назад? — Мой собеседник поудобнее устроился, положил ручки на рамку, приготовился слушать.

— Все наши женщины рано или поздно попадают в медицинские учреждения на кое-какие операции. На такую операцию попала и я, потому что еще одного ребенка не потянула бы.

— И ты его убила? — Горестно спросил дед.

— Да, — я немного помолчала, собираясь с мыслями, — так вот, когда все было закончено, меня вывезли на каталке в коридор и почему-то оставили там. Не знаю, почему. Может, в палатах места не было. Накаченную наркозом, накрыли тонкой простыней и положили на живот пузырь со льдом. Я замерзла, лежала и тряслась, как лист на осине в безветренную погоду. Мне бы уснуть, но из-за холода не могла. Время от времени проходили женщины, сородницы, так сказать, среди них я видела одно, два знакомых лица. Потом провал в памяти и оч нулась от того, что кто-то натягивал на мои выглядывающие из-под простыни ноги шерстяные носки. Это была пожилая полная казашка. Затем она принесла из палаты байковое одеяло и накрыла меня им. Сделала она это естественно, как само собой разумеющееся. Когда я оклемалась, бегала по всей больнице, хотела поблагодарить еще раз. Но ее уже не было, вероятно, выписали, а носки так и остались у меня на память.

А дети? Далеко ходить не надо. Вчера. Прихожу домой с работы, а там «полна горница гостей». У моего сына лучшие друзья — Жанат, Руська и Васька. Я скорей к плите, ужин готовить, они в другой комнате играют. Слышу — скандал. Все сильнее и сильнее, потом что-то как грохнется об пол. Выхожу из кухни, а они дерутся. Фантики с динозаврами от жвачек не поделили. Я — дама на расправу скорая, хватаю тапок и чтоб никому обидно не было, всем досталось. Заработал — получай. И какая в сущности разница, что Жанат с Руськой — казахи, а Васька — еврей. Об этом забыто. И я буду очень рада, если их дружба сохранится надолго.

Закончив свой длинный монолог, я попросила деда.

— И не тычь меня, пожалуйста, носом во всякие национальные вопросы. Ерунда все это.

За стеной включили магнитофон: «Ксюша, Ксюша, Ксюша. юбочка из плюша...» — весело запели девки из «Комбинации», призывая Ксюшу

ни с кем сегодня не гулять.

— Знаешь, милая леди, — сказал старичок, — существует на свете единственная вещь, которой я не пробовал и не знаю, это — русская водка.

— Щас, — ответила я, поняв намек, и направилась к двери. — А ты пока финансы покарауль, шастают тут всякие, я на всякий случай дверь прикрою.

В соседней комнате уже было все чин-чинарем. Женский штат нашего малого предприятия во главе с директором сидели вокруг стола, на котором стояла немудрящая закуска, привезенная Серегой из «Птицы», и соленые огурцы имелись. Водку дальновидно разлили в чайные чашки и пиалушки. Глаза у штата блестели, щеки покрывал пурпурный румянец, только у Ленки, как всегда, лицо пошло пятнами. Без лишних слов я взяла со стола огурец, кусочек хлеба, куриный окорок, сложила на тарелку и, прихватив пиалу с водкой, направилась восвояси.

— Эй, непьющая, ты куда? — донеслось уже в коридоре. Затем последовал взрыв хохота. Только я поставила всю снедь на стол, как она приняла микроскопические размеры. Старичок из рамки протянул руку, взял пиалу и стал с интересом разглядывать национальный орнамент.

— Никогда не видел такие рюмки, — заметил он. Покачал пиалу из стороны в сторону, зажмурился, понюхал содержимое.

— Ишь ты, — подумала я, — дегустирует, интеллигент несчастный. Потом он набрал в рот небольшое количество жидкости, пополоскал и проглотил. Глаза его округлились.

— Дед, ну кто так водку пьет? Это тебе не джин с тоником. Ее надо пить на выдохе — залпом. Водка — напиток серьезный и требует к себе серьезного отношения. Проинструктировав таким образом, я с любопытством стала наблюдать последующее действие. Набравшись храбрости, старичок махом опрокинул посудинку, замотал во все стороны руками и открыл рот, чтобы набрать воздуха.

— А теперь закусывай, закусывай — суетилась я, — сначала огурчиком соленьким. Вот так. И вдогонку курочкой. А содовой у нас, пардон, не имеется. Кончилась.

Портрет глубокомысленно жевал и, видимо, прислушивался, что же такое творится у него внутри.

— Папаша, — попросила я, — ты только песни не пой, ладно? А то нас с тобой на фиг с работы турнут. За аморалку.

— За какую-то такую аморалку? — спросил дед, дожевав.

— Ну, как же, дойдет до твоего начальства: в бывшем эсэсэсэр водку с русской теткой пьешь. По душам тебе, видите ли, захотелось поговорить. Досье на тебя заведут. А меня — за то, что старичков на долларах спаиваю.

Он, посмотрев на меня, весело и залиvisto засмеялся. А я смеялась от того, что мне нравилось, как он смеялся. Нахотавшись вдоволь, дед поднял палец, загнутый крючком:

— Сила! — изрек он.

— Вот это ты прав, — согласилась я, — по части водки мы — мастаки.

— Танюха! — на пороге вырос Валерка, — много наторговала? Иди, выручку сдавай.

Я встала со стула, положила купюру на свое место — поверх кучи, мысленно попрощалась. Старичок мой опять позеленел, принял прежнее неподвижное положение. Директор подошел к столу, сгреб деньги, небрежно сунул в карман спортивных брюк. Выходя за ним из комнаты, я скосила глаза на его обувь. Он был в пляжных сланцах на босу ногу.

«Контора она и есть контора!» — подумала я.

Дуська

Рассказ

Добропорядочная Фрау лежала на своей широкой берлинской кровати, ворочалась с боку на бок и никак не могла уснуть. Нечто темное, лохматое копошилось в закоулках ее памяти, не давало покоя и просилось наружу. Можно было наглотаться снотворного, да и дело с концом, но Фрау сделать этого не пожелала, надо было выловить это «нечто» и посмотреть в лицо.

«Господи Иисусе! Да что же это делается? Откуда, что и почему» — недоумевала Фрау - «Погоди, погоди, Танечка, давай все по порядку.

Так, утро. Уборка, стирка — ничего особенного. Дальше. Сын читал по-русски. Что читал? «Два капитана» Каверина.»

Она сама когда-то читала эту замечательную книгу, где умный и сказочно везучий Саня Григорьев выводит на чистую воду хитрого и очень умного Николая Антоновича.

«Вьюга, ящик, палочки должны быть попердикулярны». «Смешно. Палочки должны быть поперпендикулярны... Нажим — волосяная линия — нажим... Точная аналогия. Стоп! Поймала».

Фрау села на кровати, зажгла свет, глянула на часы. Второй час. «А может, все-таки таблеточку, а?, заерзала паскудененькая мыслишка. — На черта все это надо?» Но, решив раз и навсегда разобраться с палочками и линиями, надавать им по морде и выбросить из памяти вон, она встала, накинула на себя шелковый, приятно обдавший холодком, халат и босая протопала на кухню. Сварила себе кофе, бросила на стол пачку сигарет, зажгла свечу, и, подперев голову рукой, она уехала в далекое-далекое прошлое, сокровенное, никогда и никому не рассказанное.

Мужик сидел на желтом, щербатом полу, прислонившись спиной к шкафу. Кроме черных, сатиновых трусов до колен на нем ничего не было. Между его широко расставленных волосатых ног стояла табуретка, на которой лежала школьная тетрадь в узкую линейку. Его подбородок, заросший двухнедельной щетиной, прилип к телу, и начинающая облетать лысина светилась китайским фонариком.

Мужик был пьян. Его рука, совершив в воздухе сложный пируэт и наметив траекторию точного попадания, с громким чавканьем плюхалась в чернильницу.

— Вот смотри, — наставлял он Девочку, — пишем букву «Н». Нажим — волосяная линия, нажим — волосяная линия.

Это ничего, что от него разило перегаром, а написанные буквы все, как одна, числились у нег в приятелях и валились то в одну, то в другую сторону, — шел урок чистописания. Девочка сидела рядом на полу и делала вид, что процесс написания пьяных букв ей страшно интересен. А когда мужик заглядывал ей в глаза, сияясь понять, пошла ли ей учеба в прок, она усердно кивала головой, что могло означать следующее «Вот спасибо, дядя Ваня! Ты — один хороший человек. А то я совсем запуталась в этой чехарде с линиями, не знаю, где какую писать. Если бы не ты, совсем пропала бы.»

В углу на кровати с никелированными спинками мирно кемарила

Дуська — ядреная баба лет тридцати, разметав по подушке жиденькую шестимесячную химзавивку. Одна ее титька лукаво подмигивала из-за черных гипюровых рюшек и дядька Ванька Сивкой — поглядывал иногда на кровать, пытаясь собрать в кучку свои непростойные мысли.

— «Пишем букву «Фе». Видишь, она какая? Руки в боки. С одной стороны овал и с другой». Тут он посадил кляксу и буква «Ф» действительно стала похожа на крикливую, базарную тетку с подбитым глазом. — «Ах, мать твою ети,» — ругается дядя Ваня на кляксу.

На столе, который стоит посередине комнаты, художественно расположены рюмки, закуски, окурки. Бутылки не видно, ее заменяет небольшой кувшин синего стекла, в который по мере опустения доливается самогонка. Дуська по части самогонварения была большая мастерица: и отфильтрует ее, родимую, и гвоздички добавит, и закрасит растворимым кофе «под коньяк». Благодать. И в магазин бегать не надо, перед соседями светится.

Девочка с матерью проживала на четвертом этаже крупнопанельного дома, которые в семидесятых годах строились пачками. Хрущевка. Если землянки, коммуналки, не говоря уже о дворцах, остались воспеты в литературе и истории отечественного домостроения, то у хрущевок судьба иная. С землянок начинались города, поднималась целина, все пели знаменитую песню «Землянка». Коммуналки печально известны скандалами. О Дворцах и говорить нечего, о них написаны книги. Но вы когда-нибудь слышали песню «Хрущевка»? Желающих воспеть немислимую тесноту и немислимую слышимость, когда можно буквально по словам разобрать творящийся в соседней квартире сыр-бор, почему-то не находится.

Пока дядя Ваня печалился над кляксой, химические кудряшки оторвались от подушки.

— Ой, доченька пришла, — и Дуськина оплывшая физиономия расплылась в улыбке. «Здравствуй, жопа, Новый год! — подумала Девочка, — я уж уходить собираюсь».

Полежав немного, послушав, как проходит обучение дочери, она с кряхтением начала подниматься с кровати. Материнский долг звал. Подошла к столу, взяла пустой кувшинчик и неровными шагами направилась к заветной кладовке, где стояла двадцатилитровая бутылка. Покончив с чистописанием, Девочка села на табуретку у края стола. Перед ней Дуська поставила банку сгущенного молока, большими кусками накромила сухой, копченой колбасы, наловила огурцов из банки, прикрыв оную ржа-

вой, металлической крышкой. Одеваться она не пожелала, но почему-то на голову повязала красный шерстяной платок. Стали ужинать. Дядька Ванька воодушевленно разлил «коньячок» в мутные рюмки.

— Мам, не пей, — стала просить Девочка, ну, пожалуйста!

— А я разве пью? Ты че, доча? Ну, подумаешь рюмашку. Давай, Иван. Не прими Господь за пьянку, прими за лечение.»

Но рюмашкой дело обычно не заканчивалось.

— Свисток — вбрасывание, — каждый раз комментировал материн кавалер, после чего усердно истребляя огурцы с колбасой.

Видя, как на старые дрожжи мать быстро хмелеет, и ее заплетающийся язык начинает нести всякую ахинею, потом, как они полуголые кривляются под «Чилиту», к горлу Девочки подкатывает комок, а сердце разрывается от жалости и отвращения. Она встала и прошла на кухню. Там она пододвинула к окну стул, вскарабкалась на него и открыла настежь окно. Одно жгучее желание руководило ею — лечь на пол, под валившую морозную реку, немедленно простудиться и немедленно умереть! Встал вопрос — убирать или не убирать половичок? Для скорейшего умирания оно бы и надо, но перспектива того, что ее найдут на этом некрасивом голом полу, остановила ее, и она решила оставить его. Вытянувшись во весь свой восьмилетний рост, волчком заскулила:

— Ну, паскуда! Блядь такая! Вот погоди, я заболею и умру. Наплачешься тогда.

Девочка представляла, как она лежит в гробу с распущенными, длинными волосами, в красивом длинном, белом платье, как у одной теньки в одном кино, на голове — венок. А она вся такая красивая. И цветы, цветы, цветы... И вот ее несут хоронить. А народу видимо-невидимо. И весь ее 2-В класс присутствует и Борька Гусяков тоже. И все плачут, плачут. И Дуська тоже плетется. Вся убитая горем, слезы — рекой, волосы на себе рвет: «Ой, доченька, дорогая, что же я наделала? И зачем я тебя так обижала!!!»

От этих жалобных мыслей, Девочка плакала еще горше, с всхлипываниями и подвываниями. Так сладко, как в детстве она больше никогда не плакала, а, повзрослев, и вовсе разучилась. Иной раз и надо бы, да не идут они, проклятые!

— Ты мне опять истерику закатываешь? — на пороге, подбоченясь буквой «Фе», стояла Дуська.

— Мам, можно я к бабушке поеду? — спросила сквозь слезы Девочка. — Я ей таблетки купила, она сегодня без таблеток.

Этот вариант, как всегда, устраивал всех. Дуська, своим деревянным языком немного поерепенилась для порядку, а тут еще дядя Петя (я хотела сказать, дядя Ваня) помог:

— Да пусть едет, — донеслось из соседней комнаты, — время всего дсвятый час.

Желание умирать мигом пропало, слезы высохли. Покидав в портфель книжки-тетрадки, одевшись, Девочка пулей вылетела из дверей. Бежать! Бежать из этого постылого дома, от этих пьяных, противных людей!

Иногда, «это самое», чего так желал дядька Ванька, происходило и при Девочке. Она делала вид, что спит, сама, укрывшись одеялом с головой, кусала себе губы, мучаясь от стыда и ревности. Дуськина разгульная жизнь самым отрицательным образом повлияла на дальнейшую жизнь Девочки, когда та, став взрослой и сама занимаясь «этим самым», страшно комплексовала. Ей казалось, что она делает нечто грязное и постыдное, и ничего с собой поделаться не могла.

Подойдя к остановке, она первым делом оглядела стоящих в ожидании автобуса людей. Будучи опытной ночной путешественницей, Девочка знала, что больше всего надо бояться одиноких мужиков с рыскающими глазами, которые обещают купить шоколадку. Стоять надо с пожилыми тетеньками, которые в случае чего помогут отбиться. И сейчас она выбрала подходящую кандидатуру в лице пожилой, усталой женщины и стала рядышком. Поставила портфель между ног, сама сунула руки в карманы. Забыла в спешке рукавички. Ничего, жить можно!

Вскоре, из-за угла дома, граничившего с остановкой, послышались звуки гармошки. В те времена еще ходили в гости и, бывало, даже с гармошкой. Показались дед с бабкой.

— Раз, хуяк, пиздец,

И света нету.

громко пел дед под собственный аккопанемент.

— Да тише ты, кобель старый, — старалась приструнить своего деда бабка, — люди же вокруг.

— Замолчь, гангрена, — огрызнулся дед и с новой силой, назло всем врагам, и в первую очередь собственной старухе, продолжал петь матерные частушки. Люди на остановке засмеялись. И в первый раз за весь

день Девочка улыбнулась. От сознания того, что своим исполнением он привлёк всеобщее внимание, старик всю разошелся. Скрюченные от тяжелой работы и мороза пальцы тыкались в кнопки, а ноги притоптывали на особо выдающихся моментах.

Наконец-то подошла двойка.

— Сорок пятая аптека, — поверещала кондукторша, — следующая остановка «Кинотетр «Казахстан».

Старые, тесные автобусы были тем хороши, что, если встать возле кабины водителя, да если автобус не пустой, то спокойно можно ехать «зайцем». Кондукторша к этому времени до того устанет лаяться с народом, требуя пять копеек за проезд, что ее с места трактором не столкнешь.

— Следующая остановка «Заряжбаза», — ей выходить. Она обернулась назад и увидела веселого деда, мирно спящего на плече у своей «гангрены».

Из пассажиров никто не пожелал больше выйти и Девочка, очутившись на обочине одна, проводила глазами красные огоньки уходящего вперед автобуса. Одна. Темно. Страшно. Ну, тепер, ножки, милые не подведите. И, схватив портфель с драгоценными таблетками «Антастман», по цене тридцать шесть копеек за пузырек, она побежала бегом. Вон, вдали виднеется одинокий столб с единственной лампочкой на всю округу. Аккурат, напротив этого столба и располагается заветная калитка.

Над этим Богом забытым закутком, состоящим из нескольких десятков трущобных домишек, возвышались трубы огромной вонючки — флагмана цветной металлургии страны. Этот монстр дымил днем и ночью, обеспечивая оборонную мощь страны, выдавая на гора первосортные свинец и цинк, и нещадно отравляя при этом собственных рабов.

Вот уже Девочка миновала маленький магазин, в который днем выстраивается километровая очередь за забайкальским хлебом, а за белыми батонами, когда привозят, вообще драка. Вот пробежала дом Сивоковых. Галька, наверное, спит, а Людка, сука толстая, учила Девочку на прошлой неделе мыть полы:

— Плашка за плашкой, плашка за плашкой. Намочила — вытерла.

Тебе, Танька, восемь лет, а ты полы, дура, не умеешь мыть. А потом они ели батон с маргарином и тетя Пана не догадалась дать Девочке кусочек.

Но вот и столб. Ура! Здесь можно уже пешком. Нащупав с обратной стороны крючок, она распахнула калитку. Во дворе загрохотала собачья цепь, и огромный пес Фингал вылез из будки, радостно виляя хвостом.

— Ой, ты мой хороший, ждешь меня, — ну, как не погладить пса! Фингал встал на задние лапы, передние положил на плечи и пару раз лизнул ей лицо. Они всегда были рады друг другу.

— Танюшка, двери закрывай, избу застудишь, — послышался сухой, старческий голос. Привыкшая к поздним Девочкиным визитам, бабушка давно ни о чем не спрашивала.

— Баба, я тебе таблетки привезла, — сказала Девочка, расстегивая непослушными руками портфель.

Почти половину комнаты занимала ровно гудящая печка, к которой и примостилась Девочка, скинув верхнюю одежку. Напротив печки, примерно в метре от нее, на оттоманке лежала ее бабушка — Любовь Фоминична. Когда-то много лет назад, ее маленькой девочкой на скрипу чей телеге привезли в Восточный Казахстан. А дед, — ее муж, настрогав ей четверых детей, бегал с сабелькой по сопкам, и добегался — его расстреляли то ли красные, то ли белые. Этого никто толком не знал. Проработав всю жизнь агрономом в колхозе и не заработав ничего кроме астмы, в свои пятьдесят семь лет это была древняя, беззубая старуха, у которой, кроме прекрасных кос в руку толщиной, ничего не осталось. Время от времени ее душил мощный, выворачивающий душу кашель, от которого, казалось, и без того скособоченная избушка окончательно завалится. Девочка на всю жизнь запомнила эти, по большей части ночные приступы, и сознание собственной беспомощности. Она была готова отдать все, чтобы облегчить бабушкины страдания. Отогревшись как следует, Девочка забралась на оттоманку и обняла изнуренное болезнью, худенькое старушечье тело. Теперь ей было хорошо, спокойно и уютно.

— Баба, — сказала Девочка, — я тебя люблю.

В ответ Бабушка похлопала Девочку по руке.

— Спи, деточка.

Где-то «Кукурузник» стучал башмаком по высокой трибуне и обещал показать всем Кузькину мать. «Хоть бы завтра не было войны», — думала Девочка, засыпая.

На дворе стоял 1962 год.

ЯНА ЛЕШЕРТ

ГИМН БЫТИЮ



Пока жива — я ощущаю,
И этим жизнь моя полна.
Что значит вечность неживая
В сравненьи с мигом бытия?

Где каждый шорох сердцу дорог,
И песнь дождя, и неба гул,
Жужжанье пчёл и ветра ворох,
И волн неистовый разгул.

И позабыть смогу едва ли,
Увиденные мной хоть раз
Рассвет в степи, коней купанье
И изумленье детских глаз.

Все таинства прикосновений:
К щекам — снежинок, к вёскам — губ,
Песка горячего к спине ли,
Иль просто материнских рук...

Все ароматы и все вкусы —
Всё, чем земля моя полна.
Я не отдам и полминуты
Из полнокровья бытия!

24.12 1991



Мир будет вечно суетлив,
и был таков.
Попеременно чист и лжив
в сплетеньи слов.
И будет властвовать судьба
над всем — своя,
И будет вечною борьба
добра и зла.
Всё будет вечно отмирать
и вновь родить,
Чтоб в бесконечности вязать
живую нить.
А новой будет только жизнь —
она одна,
И надо каждому испить
её до дна.
Но если слишком горек вкус
и нет плеча —
За тех пред Богом помолюсь
в семи свечах.

16 04.1992



Луну порывисто настиг
Озноб мятущейся сирени,
Как будто на рублёвский лик
Взметнулись врубельские тени...
В безумстве факелы ветвей
Роняли искорки соцветий,
А неба фосфорный елей
Дышал загадками столетий

20 11.1990



ИГОРЬ ГЕРГЕНРЕДЕР

Грозная птица галка

Новелла

Меня зовут Гергенредер Игорь Алексеевич, я родился в сентябре 1952 в семье русских немцев. Место рождения — город Бугуруслан Оренбургской области. Сюда в 1941 были депортированы, по причине национальности, мои родители; здесь они провели пять лет в так называемой Трудармии — за колючей проволокой лагеря.

После смерти Сталина мой отец получил разрешение преподавать в средней школе русский язык и литературу. Ему было пятьдесят, когда родился я. Никто вокруг не знал, что трудармейский лагерь был не первым его местом заключения. Не знали и того, что много лет назад он уже бывал в Оренбуржье: воевал здесь за идеалы Белой России. Мне исполнилось двенадцать, когда, дав слово хранить об этом строжайшее молчание, я услышал от отца рассказ о его жизни.

В конце лета 1918, в Сызрани, он вступил в Народную армию Комуца, стал рядовым 5-го Сызранского полка 2-й добровольческой дивизии. До шестнадцати лет ему оставалось три месяца.

Отец прошел грустный путь отступления от Волги до Ангары. Участвовал в бою на реке Салмыш в апреле 1919, в сражении на Тоболе в сентябре того же года, в других боях. Был дважды ранен. Заболев тифом, лёжа на вокзале Иркутска, попал в плен к красным. Они не узнали, что он был добровольцем, и поэтому он отделался сравнительно легко: провел два с лишним года в одном из первых советских концлагерей. Освободившись, уехал из Сибири в Брянск, где его никто не знал. Паспортной системы в то время еще не было, и прошлое удалось скрыть.

Поступил на работу в милицию, но его вскоре выгнали «за социально-политическую пассивность» — не посещал политзанятия, не желал вступать в комсомол. Был НЭП; отец жил, играя на деньги в шахматы в кафе и в парке. Позже выучился на чертежника, на переплетчика, потом заочно окончил пединститут.

Он вел мелкую жизнь незаметного советского обывателя, тая в себе пережитое. Мне, единственному сыну, открыл его ярко, образно, ибо рассказчиком он был отменным. Год за



годом я сживался с его рассказами, я вырос на пройденных им боевых эпизодах, они стали как бы и моим прошлым.

В 1976 я окончил факультет журналистики Казанского университета, работал в различных газетах, начал писать прозу. С 1985-го мои рассказы и повести стали выходить в журналах и в коллективных сборниках. Но темы Гражданской войны я пока не касался, продолжая обсуждать ее с отцом. Он умер на 89-м году жизни.

Я с семьей переехал в Германию. И почему-то особенно почувствовалось, насколько сегодняшняя Россия близка к ситуации 1918 года. Основываясь на услышанном от отца, я написал ряд новелл. Одну из них и предлагаю читателям.

ИГОРЬ ГЕРГЕНРЕДЕР

В середине октября 1918 наша 2-я добровольческая дивизия отступала от Самары к Бузулуку. Было безветренно, грело солнце; идем проселком, кругом убранные поля, луга со стогами сена, тихо; кажется, и войны нет.

Около полудня наш батальон вошел в деревню, где мы должны закрепиться. Разбегаемся по дворам с мыслью перекусить; не успел я заскочить в избу, как с улицы закричали:

— Лёнька, к начальнику дивизии!

Розыгрыш. Зачем я, ничем не приметный рядовой, могу понадобиться генералу? Тоже мне, остряки! Однако на улице в самом деле ждал вестовой верхом, держал за повод лошадь для меня. Оторопев, я спросил, для чего вызван?

— Скажут... — не глядя на меня, неохотно бормотнул пожилой вестовой; у него было унылое лицо крестьянина, ожидающего зиму после неурожайного лета. Штаб дивизии расположился в селе Гребени, до него верст шесть. По дороге я стал думать, что разгадка вызова нашлась. Мой старший брат Павел командует конной дивизионной разведкой. Он похлопотал — и меня берут в разведку? От этой мысли было так радостно,

что я суеверно боялся: неудержимая радость все испортит. И заставлял себя думать о чем-нибудь другом. Например, вот-вот хлынут дожди, а отступление продолжится, и тогда тащиться по проселкам станет еще скучнее...

Вестовой направил коня к чисто выбеленному зданию сельской школы. В классной комнате на столе расстелена карта-трехверстка. Над ней склонились офицеры штаба. С ними — начальник дивизии генерал-майор Цюматт: русский немец, как и я. Погоны змейками, мундир свободно сидит на сухоньком торсе, белоснежный воротничок перехватывает морщинистую шею. Мне, пятнадцатилетнему, генерал кажется глубоким старцем: даже брови седые. Белые ухоженные усы нацелены вниз; меж стрелками усов розовеет выбритый подбородок.

Вытягиваюсь, руку к козырьку, называю себя. Генерал просит извинения у офицеров и, обращаясь ко мне, кивает на дверь сбоку:

— Пройдемте в курительную.

Следом за ним выхожу в узкий, ведущий на задний двор, коридорчик. Здесь стоит лавка. Цюматт достал портсигар, предложил мне закурить. Благодарю, поясняя, что не курю; на самом деле, когда попадается табак, я покуриваю. Жду, когда же он скажет... Скажет — и мое мучительное волнение взорвется восторгом.

Он затянулся так жадно, что я услышал потрескиванье в папиросе. Стоит в облаке дыма; у него встревоженные глаза нервного молодого человека.

— Ваш брат Павел пал за Россию! Пал смертью храбрых!

Зажав папиросу во рту, Цюматт взял меня за руки. Стоим минутую, третью... он не выпускает мои руки.

— Сядемте, — пригласил сесть с ним на лавку.

Он объяснил, как Павел и его конные разведчики помогали дивизии. Почему мы отступаем? Потому что наш сосед справа — дивизия чехословаков — все время отходит, даже не предупреждая нас. Чехословаки не собираются всерьез воевать с красными, умирать в чужой стране за чужие интересы. Наш фланг то и дело оказывается открытым, и только разведка, нащупывая противника, спасает нас от охвата справа.

Совершая глубокие рейды по территории, занятой противником, разведка определяет плотность его сил. Когда их концентрация на чехословацком участке окажется слабой, генерал перебросит туда полк

прикрытия. Остальными силами — при поддержке соседа слева: 1-й добровольческой дивизии — нанесет красным неожиданный удар.

— И мы разобьем их без никакой помощи чехословаков! — Цюматт поспешно поднес папиросу ко рту, костлявая рука дрожит. — Представляете, как я каждый раз ждал возвращения вашего брата?

Попрощался генерал немного картинно:

— Он принадлежал к числу тех офицеров, из которых вырастают крупные военные деятели! Дорогой мой, служите, как ваш брат!

Вестовой проводил меня к разведчикам. Я услышал, как погиб Павка.

Постоянной линии фронта не было, и разведка — тридцать конников — без труда проехала в расположение противника, на ночь остановилась в незанятой им деревне Голубовке. На крыше сарая залег наблюдатель. Лошадей не расседлали. Один Павел расседлал свою молодую кобылу. Среди ночи наблюдатель поднял спавших: в Голубовку въезжает какой-то отряд. Стали вскакивать на коней, и тут красные открыли огонь. Отстреливаясь, разведчики вырвались из деревни. Четверо оказались ранены, и не было Павла.

— Остановились в Мордовской Бокле, в десяти верстах от Голубовки, — рассказывал мне узкоглазый молодой человек с реденькими усиками и бородкой. — Днем приехал по своим делам крестьянин из Голубовки. От него узнали...

Павел, седлая кобылу, задержался. Когда поскакал со двора, красные были уже рядом, простреливали улицу продольным огнем. Лошадь под ним убили. Он — в ближние ворота; взобрался на гумно, отстреливался, нескольких нападавших ранил. В него, вероятно, тоже попали. Патроны кончились: спрыгнул с гумна, саблю держит, шатается, а красные — вот они, перед ним. Кричат: «Бросай шашку!» Не бросил, замахиивается — его и застрелили.

— Крестьянин уверен, — закончил разведчик, — что кто-то из своих, из голубовских, привел красных.

Через несколько дней мы нанесли противнику удар, который планировал генерал Цюматт. Наш полк был заблаговременно переброшен на участок, только что оставленный чехословаками: они, по своему обыкновению, продолжали отходить без боя. Красные нас атаквали, но под огнем залегли. Мы бросились в контратаку. Захватили около сорока пленных, походный лазарет, две двуколки с патронами.

Сутки спустя наш батальон готовился наступать с пологого холма на открывшуюся в седловине деревню. Вечерело. Наполнив патронами боковые подсумки, я набивал брезентовый патронташ, когда раздался конский топот — возле меня соскочил с лошади узкоглазый разведчик.

— Вот эта самая Голубовка! — он показал на деревню. — Через час вы в ней будете. Глядите: церковь, две избы вправо, за ними, подальше, — три двора. Там мы ночевали... Узнаете, где Павел похоронен... гмх, или... Извините!

Он сел возле меня на траву. Помолчав, рассказал: утром они захватили красного — из тех, кто нападал на разведчиков в Голубовке. Вот что выяснилось. Красные в ту ночь стояли в деревне — от Голубовки верстах в четырех. Их было не больше полуста, и, когда прибежал голубовский пацан: у нас, мол, разведка белых ночует, — командир не решился напасть. Но тут подъехала на телегах рота рабочего полка. И двинулись...

— Мальчишку, конечно, отец послал, — разведчик глянул мне в глаза. — Глупостей не наделяйте! А вообще... — с минуту думал. Вдруг у него вырвалось: — Я бы расстрелял!

Сказав, что ему пора, попрощался, вскочил в седло и уехал.

Мы не оказались в Голубовке ни через час, ни через два. Красные, засев в окопах перед околицей, встречали нас плотным огнем винтовок, и командир полка приказал прекратить лобовые атаки.

Темнело. Мы отошли за холм и встали лагерем. Съев по котелку каши, разожгли костры, уселись возле них группками.

Наш батальон в основном состоит из вчерашних реалистов, из гимназистов вроде меня. Прошло немногим больше двух месяцев, как мы в Сызрани вступили в Народную армию Комуча. Тех, кто побывал на германской войне, среди нас почти нет. Александр Чуносков — один из таких редких людей. Был в войсках, что воевали в Персии с высадившимися там германцами. Ему года двадцать три; рослый, плотный. Ходит, держа винтовку под мышкой. Любит, чтобы его звали Саньком. Он — старший сын богатого крестьянина. Отец послал его в Народную армию с напутствием: «Жалко, но надо! А то х...ета безлошадная нас уделает».

Санёк нашел неподалеку болотце и, процедив воду сквозь тряпку, сейчас кипятит ее в котелке.

— Ленька, чай, мыслями в Голубовке, — говорит в раздумьи, ни к кому не обращаясь, — казнит братниных убивцев...

Молчу. Думаю о Павке. Думаю — почему я не мучаюсь горем? Когда я услышал о его смерти, я словно бы в это не поверил. Мне тягостно, но боли, ужаса нет. Из-за этого чувствую себя виноватым. Возбуждаю в себе мысли о том, каким хорошим был Павел.

У меня есть еще два старших брата, сестра. Чем Павел был лучше? Тем, что старше? Тем, что в 1915 ушел добровольцем на Кавказский фронт, вернулся подпоручиком? В Народной армии, где крайне не хватало офицеров, его сразу же поставили командовать дивизионной разведкой. И вот в двадцать один год, провоевав три месяца, он погиб.

— Генерал, — говорит мне Санёк, — тебе потрафил: братана хвалил. Чего его восхвалять? Кругом враг, а он лошадь расседлал — командир! А все так сделай? И накрылась бы разведка. По дури попался орёл. Любил вы...бнуться! — Санёк с удовольствием выделил матерное слово.

Я понимаю, что он прав. Для меня это — пытка. С дрожью бросаю:

— Ну, чего привязался?

— Павел погиб от предателя, — замечает мой бывший одноклассник Вячка Билетов.

— А он те на верность клялся никак: мужик, что пацана послал? — с ехидцей спросил Санёк. — Может, он и был за красных? По его понятию — хорошо сделал.

— Значит, Ленька и отплачивать не должен? — зло вскричал Вячка.

Санёк поставил котелок перед собой на землю, стал размачивать в кипятке сухой хлеб.

— Если не отплачивать, то и воевать не хрен. К тому же, братан — своя кровь — говорит рассудительно, как старик. — Может, бил ты по башке, жизни не давал: до расчета это не касается. Не рассчитался — не человек.

— Ишь, как! — вмешался вчерашний телеграфист Чернобровкин.

— А военно-полевой суд на что?

— Прямо у начальства забота теперь — суды собирать!

— А иначе, — не сдался Чернобровкин, — сам под суд попадешь.

Как за грабеж.

— Грабеж — дело другое, хотя и тут: как посмотреть... — Санёк дует на размоченный в кипятке ломоть хлеба. А у Леньки — дело без корысти.

На рассвете мы обошли Голубовку с севера, наткнулись на дозор красных. Поднялась стрельба; опасаясь окружения, противник оставил деревню, и мы вступили в нее.

Я и мои друзья искали указанное разведчиком место, где погиб Павел, приблизились к церкви. У одного из дворов стояла нестарая баба в валенках, хотя снег еще не выпал. Бросилась к нам:

— Солдатики, у нас вашего офицера убили, у гумна! А красным сообчили Шерапенковы-соседи. Они погубили, они! — притворно завывая, показывала нам рукой на соседский двор.

— Обожди! — властно обронил Санёк. — Где офицер лежит?

— Схоронен! Мой-то сам и старшенький на кладбище снесли, после батюшка вышел — похоронили...

Она привела нас к могиле на тоскливом, почти без деревьев, кладбище. Я смотрел на свежий холмик земли и вдруг почувствовал: вот тут, неглубоко, лежит Павка. Серо-синий, ужасный, как те трупы, которых я успел наглядеться. Павка — такой ловкий, быстрый в движениях, такой самоуверенный, бесстрашный.

— Крест втыкнуть поспешили, — сказал Санёк.

— Поставим, миненький! — баба стала приглаживать землю на могиле ладонью. — Чай, мы зна-ам...

Острейшая жалость к Павке резнула меня. Из глаз хлынуло. Я услышал голос Санька:

— Ну всё! Снялось с него. А то он был оглоушен. Теперь будет мужик — не пацан.

Баба упала на колени, тычется лицом в землю холмика. Как мне гнушно!

Шерапенковы нас ждали. В избе чисто, будто в праздник. Топится побеленная на зиму печь. В правом углу — выскобленный ножом стол. Над ним — тусклые образа. Свисая с потолка на цепочке, горит лампадка зеленого стекла. Слева, на лавке у стены, сидят крестьянин, баба и четверо детей. Среди них старшая — девочка, ей лет двенадцать. Цветастая занавеска скрывает заднюю половину избы.

— Извиняйте, что без спроса! — Санёк снял заячью шапку и, придерживая винтовку левой рукой под мышкой, перекрестился на иконы. — Вот он, — указал на меня, — родной брат офицера убитого.

— Так... — крестьянин встал с лавки; волосы густой бороды мелко дрожали.

Дети тарачились на нас в диком ужасе. Младший, лет четырех, разинул рот, смотрит с невыразимым страхом и в то же время чешет затылок.

— А куда дели сынка, какой призвал красных? — равнодушно, точно по обязанности, спросил Санёк.

— Лешему он сын — аспид, собака! — вскричала крестьянка.

— А на нас нету греха! Поди, угляди за ним, уродом...

Из-за занавески вышел подросток в потрепанном пиджаке.

— Кому меня надо? — спросил низким, с хрипотцой, голосом мужика.

Я увидел, что «подростку» никак не меньше двадцати пяти.

— Мой меньшей брат, — сказал крестьянин; потоптался, добавил: — Бобьль.

Тот стоял, небрежно расставив ноги в шерстяных носках, одну руку уперев в бок, другой держась за отворот пиджака. Бритое лицо выражало спокойную насмешку.

— Я красных притащил! Так захотел!

В словах столько невообразимой гордости, что Вячка Билетов пробормотал:

— Он в белой горячке...

Санёк рассмеялся, вглядываясь в человека:

— Смотри-ка, грозная птица галка! Ох, и любишь себя! Спорим: всё одно жизни запростишь?

— Дур-р-рак! — Не передать, с какой надменностью, с каким презрением это было сказано.

Почти неуловимый взмах: Санёк двинул его в ухо. Ноги у человека подскелсь — ударился задом об пол, упал набок. Дети закричали; старшая девочка визжала так, что Чернобровкин зажал ладонями уши, болезненно морщась.

Санёк тронул лежащего носком сапога:

— Поднять, што ль, под белы руки?

Тот встал, одернул пиджак, шагнул к двери с выражением поразительного высокомерия, решимости: мы невольно расступились. В сенях обул опорки. По двору шел неспешно, деловито: как хозяин, знающий, куда ему надо. Он словно вел нас. Завернул за угол сарая, встал спиной к его торцу. Это место не видно ни с улицы, ни из окон избы.

— Ты не думай, что я от страха, — усмешливо глядит мне в глаза, — я не из-за этого говорю... Сожалею я, что отдал твоего брата. Я думал, он дешевка, а он — не-е... Нисколь не уронил себя!

Санёк хмыкнул.

— Началось. Сожаленье, покаянье. И в ноги повалится. Ох, до чего ж я это не терплю!

— Иди ты на... — равнодушно выругался маленький человек.

— Не с тобой говорят. — Он не отводил от меня взгляда: — Давай, што ль, пуляй!

Если б не этот замухрышка, Павел был бы сейчас жив-здоров. Я понимаю, что должен вскинуть винтовку, выстрелить. Но я еще ни в кого не стрелял в упор.

— Сознаешься, что сам, по своей воле побежал... выдал... привел? — держу винтовку у живота, страстно желая, чтобы меня захлестнула злоба.

— Верно балакаешь, — он улыбается. — Не угодил мне твой брат! Форсистый, саблей гремит, ходит-пританцовывает, ляжками играет. Ну, думаю, красавчик, как поставят тебя перед дулом, будешь молить...

Меня взяло. Я достал патрон, упер приклад в плечо. Сейчас ты отведешь взгляд. Я увижу ужас. Мгновение, второе... Он негромко смеется: кажется, без всякого нервного напряжения. Бешенство не дает выстрелить. Вонзить в него штык — колоть, колоть, чтобы пищал, взвизгивал, выл! Я отчетливо понимаю: если сейчас застрелю его, он, безоружный и смеющийся мне в лицо, останется в выигрыше. Мои друзья будут поговаривать об этом.

— Делай, Лёня! — Санёк легонько шлепнул меня по спине.

Опускаю винтовку, злоба рвется из меня неудержимым сумасшедшим смехом: — Не-ет, я ему, хе-хе-хе, не то... я ему получше...

— Вдруг вспомнился захватывающий роман о покорении французами Алжира. Молодой французский офицер попал в плен к арабам, и они под страхом мучительной смерти заставили его принять ислам, воевать против своих.

— Или он с нами пойдет... — не могу смотреть на него, отворачиваюсь, — или издырявлю его штыком!

— Он — с нами? — У Вячки Билетова — гримаса, точно он надкусил лимон. Издает губами неприличный звук.

— С нами... — протянул Санёк; ему забавно в высшей степени.

— Мы не можем это решать, — неопределенно сказал Чернобровкин, обратился к виновному: — Вы, конечно, отказываетесь?

Он спокойно сказал:

— Могу пойти. Но, само собой понятно, не со страху, а от сожаленья. Вина на мне.

— Но вы не подлежите службе! — воскликнул Чернобровкин. — Вы... э-ээ... маленький.

— Я на германской полных три года был! — яростно, с гордостью, произнес маленький человек.

— В обозе ездовым? — спросил Санёк.

— Правильно мыслишь. Имею два ранения. — Сбросил пиджак на землю, сорвал с себя рубашку, нагнулся. Вся левая сторона спины покрыта застарелыми язвами.

— Шрапнель, — обронил Санёк. Раны от шрапнели, бывает, не заживают всю жизнь.

— Считаю за одно, а это — второе, — человек распрямылся, показал нам на груди ямку от пулевого ранения: пальца на три выше правого соска. — Легкое — насквозь.

— А чего? — сказал Санёк. — Иди, в самом деле, с нами. Интересно будет поглядеть на тя.

— И правда, интересно, — согласился Вячка.

— Звать как? — спросил Санёк.

— Шерапенков, Алексей.

— Ха-ха-ха, Ленька! — Билетов обхватил меня за плечи. — Тезка твой! Вот это да.

Шерапенков пошел в избу собраться. Через минуту выбежал хозяин, поклонился Саньку, потом — мне.

— Благодарствуем! Вы не сумлевайтесь, он воевать будет, хотя и мозгляк. А убивать его — чего... Ой, занозистый, ирод, а жалко...

Повел нас в сарай, нырнул в погреб. Мы получили два десятка яиц и шмат сала фунта на полтора.

Шерапенков вышел в шинели, в сапогах. И то, и другое ему велико. Несуразно огромной выглядит на нем баранья папаха. Вячка отвернулся, чтобы скрыть смех. А Санёк с самым серьезным видом произнес: — Гляди, а военное-то как ему к лицу! — Незаметно подмигнул мне.

Я увидел угрюмую злобу Шерапенкова, был уверен: он постарается при первом же удобном случае не только сбежать, но до этого еще и устроить нам какую-нибудь каверзу. «Ох, и следить я буду за тобой! — билась мысль. — Убью, лишь только что замечу».

Мы пошли к ротному командиру, уговорившись, чтоб не возникло затруднений, не открывать ему суть дела. Ротным у нас бывший банковский служащий Сохатский, на германской войне получивший чин подпорщика.

Попив чаю в доме священника, он как раз спускался с крыльца, когда подошли мы. Санёк поставил впереди себя Шерапенкова. Тот вместе с папайой — Саньку по подбородок.

— Малый с этой деревни, всю германскую прошел ездовым. Просится к нам в роту.

— Где служил? — спросил Сохатский.

Шерапенков ответил, что в 177-м Оренбургском пехотном полку. Оказалось, полк входил в корпус, в котором воевал Сохатский.

— Отчего надумал с красными драться?

— Должен, господин прапорщик! — Алексей, по неписаному правилу Русской Армии, опустил приставку «под».

— У него красные невесту насильничали, — с выражением сострадания сказал Санёк, — она с горя удавилась. Он и рвется мстить.

Шерапенков обернулся: я думал, он подпрыгнет и вцепится лгуну в волосы. Было слышно, как у разъяренного человека скрипят зубы. Сохатский смотрел с изумлением. Решил, что Алексея раздражает ненависть к красным.

— Что ж, раз есть желание честно воевать — зачислим. Но предупреждаю: чтоб никаких измывательств над пленными!

В тот день основные силы дивизии стремились опрокинуть противника на линии: село Хвостово — хутор Боровский. Выйдя из Голубовки, мы получили приказ обеспечить правый фланг наступающих. В то время как полк наступал на северо-запад, на хутор Боровский, наша рота отклонилась на две версты вправо и развернулась фронтом на север.

Было три часа пополудни, погода ясная. Вдали перед нами видна деревня Кирыушкино. Вдруг из нее поползло скопление людей. Скоро донесли звуки пения.

— Стеной прут, — сказал Мазуркевич, ученик фотографа из Сызрани. — Значит, резервов у них... до чертовой бабушки!

Красные шли плечом к плечу, сплошным массивом. Если командиры даже не считают нужным растянуть их в цепи, сколько же сил в их распряжении? В рядах противника раздаются выстрелы, стали посвистывать пули. В нашей цепочке не наберется и ста штыков, а на нас шагают четвереста? Пятьсот? Тысяча солдат? Окапываться мы только начали. И хоть бы был пулемет! Сейчас они рассредоточатся, легко окружают нас на ровном пространстве и задавят. Уже можно разобрать, что они поют: «Вихри враждебные веют над нами...»

Сохатский во весь рост прошел перед цепью, бодрясь, прокричал:

— Ну, молодцы, дадим залп и в штыки — покажем подлому врагу, как нужно умирать!

— Чего умирать-то? — Шерапенков встал с земли. — Это ж рабочие из Самары, два дня винтовка в руках. Какой им: по местности двигаться? Они команд не понимают. Видите: на ходу стрелять учатся...

Сохатский прижал бинокль к глазам, вгляделся в неприятельские ряды. По цепи побежало оживление: вспомнилось, какими беспомощными были мы сами пару месяцев назад. Правда, в отличие от этих, громко поющих людей, мы обожали оружие, умели стрелять: почти каждый дома имел охотничье ружье или малокалиберную винтовку «монте-кристо».

Позади нас, параллельно цепи, тянется полевая дорога с жухлой травой меж колеями. Сохатский приказал роте быстро отойти за дорогу. Там мы залегли. Дорога перед нами шагах в ста пятидесяти. Приказ: целиться в линию травы. Поднимаю рамку прицела. По позвоночнику, от затылка к копчику, протек холодок. А что, если Шерапенков лжет? Может, эти люди идут стеной не от неуменья? Они опьянены ненавистью настолько, что им наплевать на смерть. Остановит ли их ружейный огонь одной некомплектной роты? Наш отход растравил их — катятся на нас валом. Различаю крики: «Сдавайсь!» Нет и попытки обойти нас.

Слева от меня лежит Шерапенков. Он угрюм и от этого выглядит еще смешнее в огромной наползающей на брови папахе. Левее его растянулся на земле Санёк, жует корочку хлеба.

— Ой, сымут они с тя шапку, Алексей...

— Смолкни! — Алексей кривыми зубами грызет соломинку.

По цепи передают:

— Частым... начинай!

Вал красных накатился на дорогу. Справа от меня шарахнула винтовка Вячки Билетова. Через секунду нажимаю на спусковой крючок, выстрел почти сливается с выстрелом Шерапенкова. Слева и справа — резкий сухой треск, словно досками, плашмя, с невероятной силой бьют по доскам.

Вместо сплошного ряда атакующих оказываются разрозненные кучки и отдельные фигуры. Бегут на нас. За ними возникают новые, новые группы. Тут и там несколько красных — впереди остальных: видимо, командиры. Слышны крики: «Товарищи, бей гадов! Их мало!»

Ах, мало? Посылаю пулю за пулей, то и дело замечаю падающих. Приближается человек в пальто, за ним — довольно плотная кучка красных. Он оборачивается к ним, подбадривает, размахивая рукой с пистолетом. До человека — шагов семьдесят. Прицеливаюсь, но слева хлестнула винтовка: командир подскочил, упал. Шерапенков, дернув затвор, выбросил дымящуюся гильзу.

Бежавшие за командиром легли. Не боясь бестолковой стрельбы красных, ведем огонь с колена. Доносится: «Товарищи, вперед!», «В атаку, товарищи!», «Ура!» — пуля обрывает призыв. Бегут прочь. Многие побросали винтовки. Продолжаем прицельный огонь. Преследовать их значило бы далеко оторваться от полка, атакующего хутор Боровский, оставить своих без прикрытия. Поэтому ротный приказывает только собрать трофеи.

Вячка первым подоспел к убитому командиру в пальто, выдернул из его руки пистолет.

— Ого, браунинг прямого боя, десять зарядов!

— Его выстрел, — я кивнул на Шерапенкова, — трофей его.

— Продай, а? — Вячка просит Алексея. — Мне скоро деньги пришлют.

Тот молча взял у Билетова браунинг, сунул в карман шинели.

— Одно мне интересно, — сказал Санёк, наклоняясь над убитым, одетым в телогрейку, и отстегивая от его пояса гранату, — откуда наш мил-друг узнал, что это идут рабочие?

— Догадался, — обронил Шерапенков, спокойно объяснил: — Ког-

да я насчет разведки сообщал красным, к ним в аккурат — пополнение: рабочие одни. Говорят: два полка из самарских мастеровых собрано. Беда, мол: ничему не обучены... Оно и видно, — добавил он. — А не умешь, так и не наглей!

К сумеркам неприятель был выбит из хутора Боровского. Наша рота заночевала в нем, выслав дозор к деревне Кирюшкино, откуда противник, получив подкрепление, мог угрожать нам заходом в тыл. В дозоре: я, Шерапенков и еще четверо. Командует Санёк. Мы залегли в лесной полосе между полями, видя вдали перед собой редкие огоньки Кирюшкино.

Ночь нехолодная; сижу на земле, подстелив под себя сухую траву. Возле меня оказывается Шерапенков.

— Бери, а? — протянул браунинг рукояткой вперед.

Я чуть не привстал от изумления: в его голосе — просительность.

— Ну, возьми, не злосья...

— Зачем?

— Дарю вроде как...

Сегодня он здорово помог, у меня уже нет к нему ненависти. Но не может быть и дружелюбия. Для меня он — непостижимо темная, опасная фигура. Как бесстыдно-невозмутимо объяснил, почему ему стало известно, что на нас идет рабочие.

Отказываюсь от подарка. Он отошел, сел под дерево, слившись с ним. Меня позвал Санёк, спросил шепотом:

— Подкатывается?

Я рассказал. Санёк разбил о колено вареное яйцо, сковыривает с него скорлупу.

— Ну, скажи! Будто из Кутьковской слободы!

Объяснил: недалеко от его родной деревни находится слобода Кутьковская. В давние времена это было село. Когда отменяли крепостное право, жители села потребовали лучшие помещичьи земли. Получив отказ, «встали в претензию» — свою землю не пашут. Отправили кругом посыльных с подводами, чтобы выдавали себя за погорельцев и собирали подаянье. Становились ямщиками, лесорубами, шли по деревням плотничать, класть печки, отправлялись бурлачить, а то и коней красть, разбойничать.

— С голодухи, зверюги, иной раз загинались, но поле пахать — не-е! Так и доселе: кто шорник, кто жестянщик, кто торговлишкой пробав-

ляется. Зато гордости в каждом — во-о! — Санёк, привстав с земли, поднял руку, показывая, сколько гордости в каждом кутьковском жителе. — Скажешь ему: тебе ль гордиться, голяк? Чего не пашешь? А он важно, чисто купец: «Почему я должен на плохой земле сидеть, когда столько хорошей в дурацких руках плачет?»

— Уваженья требуют не по своему месту, — рассуждает Санёк.

— Коли нет путевого хозяйства, ты в жизни бултыхаешься, как котях в луже. С какой стати я должен перед тобой шапку сымать? А они полагают — должен. И любой вред могут засобачить исподтишка.

Санёк говорит шепотом, к нашему разговору никто не прислушивается. Вячка влез на клен — будто б лучше следить за местностью, а сам, наверно, дремлет. Другие: кто прохаживается, кто прилег на траву.

— Трое кутьковских служили со мной в Персии, — шепчет Санёк.

— Ну, чисто враги для остальных! Уж как их учили, а все без толку. Наверняка они за обиду — того... Постреливали в спину во время боя. Но никто их на месте не поймал. — Помолчав, продолжил совсем тихо: — твой дручок в шапке — чисто таковский! Не гляди, что выручил. Завтра может также и под монастырь подвести. Эдак он свой нрав тешит: представляет себя как бы над всем миром.

Похоже, Санёк прав. Я думаю о том, какой странный, загадочный зловещий человек оказался рядом с нами. Маленький, неказистый, а из-за него погиб сильный умный красивый Павел. А давеча сколько здоровых краснюков отправилось на тот свет из-за него же! К чему он стремится? Откуда в нем способность так независимо, так гордо держаться? Простой крестьянин, «бобыль», как сказал о нем брат. Видимо, и избы-то своей нет.

— И ведь бесстрашный до чего! — шепчу я.

— Так ему дано, — объясняет Санёк. — За шкуру возьми, об стенку кинь — готов. Не мужик, а насмешка. Зато самовольства — поболее, чем у графьёв. Ему, что красные, что белые — он всех ненавидит. Почему? Потому что ни те, ни другие его генералом не ставят.

— Неужели у него такие требования?

— А то нет? — Подумав, Санёк сказал: — Я гляжу, он к тебе подкатывается. Оно, может, и неплохо. Про кутьковских я слышал: вдруг им кто-то стал по душе — так они за него на раскалёно железо сядут.

Молчим.

— Щас сядут, — говорит Санёк, — а через час зарежут. Самовольство!

За шесть дней наступления наша дивизия отбросила красных на сорок верст. Противник понес потери, но не был разгромлен, как рассчитывал генерал Цюматт. В то время как мы наступали на северо-запад, группа красных войск, в ста верстах к северу, двигалась на восток. У командования Народной армии не было сил защитить наш тыл. Мы получили приказ отступить.

Бузулук оставлен. Отходим к Оренбургу, не расставаясь с надеждой завтра же ударить вспять. Месим грязь проселков, но чувство подъема не покидает. Господи, как верится в победу! Дважды перед нами показывались разьезды неприятеля. В нашем тылу уже действуют его отдельные отряды.

Ночью был морозец, и ноги не тонут в грязи. С рассвета мы протопали верст двадцать. Пасмурный ноябрьский день, мелькают снежинки. Вытянувшийся в колонну батальон приближается к деревне. Мы знаем: на батальон получены деньги от командования, и для нас будет куплен бык. Мы останемся в деревне до утра, вдоволь наедемся убоины. Мысли об этом подгоняют.

Поднялись на взлобок: вот и деревня, верстах в двух. Из нее вправо, на юг, выезжает обоз: подвод двадцать. Вереницей идут коровы, овцы. — Жители смываются, скотину угоняют? — предположил Вячка.

Ротный посмотрел в бинокль. Люди в обозе вооружены винтовками, и ни у кого нет погон. Это красные. Удаляются под углом к линии нашего движения. Если пуститься за ними напрямую, полем, их можно догнать. Нас бесит: они забрали скот, чтобы вынудить нас взять у крестьян последнее. Тот жирный бык, который должен быть куплен на пропитание батальона: они уводят его!

Вызвались желающие нагнать обоз; среди них я, Шерапенков. Нас десятка три с лишним. Старшим — Санёк. Идем вспаханном на зиму подмерзшим полем, что раскинулось по изволоку. Деревня осталась слева. В отдаленье перед нами гребень, за который перевалил обоз. На гребне, поодаль от дороги, висится скирда соломы. Когда до скирды осталось сажень двести, застрочил пулемет. Шедший левее и немного впереди

меня пензенский парень Пегин будто споткнулся: без звука упал ничком. Двое ранены. Лежим, вжимаясь в начинающую оттаивать пашню.

— Ушлые! — произносит Санёк с восхищением, стреляет по верхушке скирды. — Будут нас держать, пока обоз не сбежит.

Несколько минут ведем огонь по скирде. Пулемет молчит. Попали? Санёк считает, что нет.

— За верхом прячутся. А пойдем — еще пару наших срежут.

— Пегин бедный, — говорит Чернобровкин. — У него сегодня — день рождения.

— Поели говядины! — разносится по залегшей цепи. Стоят раненые; их волоком потащили к деревне, куда уже вступает наш батальон.

— Чего уж, сами напросились, — слышится рассудительный голос Санька. — Ни с чем возвращаться не с руки. Будем окружать.

Понимаем: пока ползком обогнем скирду, обоз окажется так далеко, что его уже не догонишь. Может, удастся хотя бы захватить пулемет. Пригодился бы он нам здорово: в батальоне нет пулемета.

— Гляди вон туда, — Шерапенков вдруг показал мне пальцем на гребень, вправо от скирды. — Замечаешь водороину?

Всмотревшись, я увидел промытую весенними водами рытвину: она тянулась с бугра и пропадала.

— Сообрази уклон местности, — сказал Шерапенков, — водороина должна заворачивать влево и проходить между нами и пулеметом. Если б ты сидел на лошади, ты б ее видел.

Не понимаю, куда он клонит.

— До водороины добегу, — говорит он, — по ней, по ней... и буду у пулеметчика за спиной.

— Да, может, она не доходит так далеко вниз, промоина твоя?

— А куда вода девается? — спрашивает грубо, насмешливо. — В дыру под землю уходит?

Я не сдаюсь: а, может, рытвина не заворачивает влево, а проходит где-то справа от нас?

На его лице — презрение. Отвернулся, ползет к Саньку. Тот задумывается. — А сколь до нее бежать, до канавы? Срежет он тя.

— Мое дело!

Санёк повернулся ко мне, на лице — вопрос. У меня вырвалось: — Я с ним...

Пулеметчик, заметив наше оживление, открыл огонь. Вскрик, ругательства. У нас еще один раненый.

Бьем из винтовок по верху скирды. Пулемет опять смолк.

— Я пошел! — Шерапенков вскочил, побежал вперед. Несуразный в шинели, в сапогах, которые ему велики, в огромной папаче. «Одна шапка, — как говорит Санька, — пол-его роста».

— Хочет к красным, — сказал Вячка. — Ой, уйдет!

— Если только они его раньше не срежут, — замечает Санёк.

Бегу за Алексеем, изнемогая от сосущего, невыразимо унылого ожидания: сейчас ударит в грудь. В живот... За спиной — густой треск выстрелов: наши стараются прикрыть нас. Однако пулемет заговорил. Режущий свист пуль — распластываюсь на земле. А Шерапенков бежит, клонясь вперед: маленький человек, словно для смеха обряженный солдатом. Заставляю себя вскочить, несусь вдогонку, наклоняюсь как можно ниже; зубы клацают. Впереди, в самом деле, — рывтина. Пулемет строчит; замечаю, как на пашне перед Алексеем в нескольких точках что-то едва уловимо двинулось. Это в землю ударили пули.

Я бросился на сторону, упал. Въедливо свистнуло, кажется, над самой макушкой. Последняя перебежка: и я в канаве. Шерапенков встречает мрачно-спокойной фразой: — Когда знающий учит, надо язык в ж... и слушать, а не вякать! — Пополз по водороине, которая, подтверждая его догадку, заворачивала на бугор. В ней тающий ледок, местами стоит вода. Я промок и вывозился в грязи так, как мне еще не случалось; кажется, даже кости отсырели.

— Долго еще?

Он, не отвечая, выглянул из рывтины, нехорошо рассмеялся. Осторожно высовываюсь. Скирда от нас слева и по угорью немного выше. До нее сажений тридцать. Пригибаясь, от нее спешат уйти за гребень двое; задний несет ручной пулемет.

— Это они от нас с тобой бегут, — посмеивается Алексей. — Видали, что мы из-под их пуль в водороину проскочили: не желают спинку-то подставлять. Но припоздали маненько... — прицеливаясь, бросил мне: — В заднего!

Стреляем одновременно — упал. Другой побежал, не оглянувшись.

Мы погнались, часто стреляя с колена. Алексей третьим выстрелом уложил и его. Торопимся к пулемету — «льюис» с магазином-тарелкой.

— Замечательная вещь! — тоном знатока произносит Алексей; с трудом подняв, осматривает «льюис», поглаживает сталь.

Подбежали наши. Санёк жадно глядит на пулемет.

— Себе берешь? — спрашивает на удивление уважительно, даже ласково. Шерапенков опустил «льюис» наземь, повернулся к Саньку спиной, снисходительно-высокомерно, не передать словами, уронил:

— Ладно. Я себе еще достану.

На угорье выехали конники: человек пятнадцать. То, что осталось после наступления от приданных дивизии двух эскадронов. Отступая, кавалеристы нагнали наш полк. Узнав об уходящем обозе красных, вызвались его настигнуть, если со скирды будет «снят» пулемет. Теперь они пустились за обозом ходкой рысью.

Редкое счастье: хозяйева, в чей двор мы вошли, топили баньку, собираясь париться. Я, вымокнув в канаве, до дрожи окоченев, попросился в баню. Алексей, который трясся от холода, как и я, пошел париться только после приглашения, повторенного мной дважды.

А Санька баня интересовала во вторую очередь.

— Мать! — кинулся к хозяйке, — у нас деньги есть, всё оплатим! Даешь лучший харч?

Крестьянка поставила на стол чугуны вареной картошки, горшок гороховой каши с подсолнечным маслом, положила каравай хлеба, связку вяленых лещей. Билетов и Чернобровкин, собравшиеся было с нами париться, не стерпели и набросились на еду.

Банька плохонькая, топится по-черному, но я блаженствую. Алексей же моется основательно и бесстрастно, точно делая важную, но не радующую работу. Я думал: раздевшись, он окажется совсем тщедушным. Но нет: у него мускулистые, отнюдь не тонкие ноги, и в теле чувствуется здоровье. В пару бани язвы на спине стали буро-пунцовыми, словно бы увеличились и углубились. Когда Алексей окатывается водой, спина розовеет.

— Саднят раны? — спросил я.

— Рубаха присыхает. Рвать надо, а неохота. Так и ходишь: по неде-

ле и больше, — он не к месту рассмеялся. — Наконец-то дернешь: кэ-эк гной брызнет! А там уже чистая кровушка пойдет.

Я сказал, что ему, наверно, нужно постоянно делать перевязки.

— А кто будет? Нюрка мне стирать не хотела и не велела Лизке.

Нюрка, оказалось, — жена брата. Лизка — старшая дочка. По словам Алексея, он однажды даже избил золовку «за злобство». А «после брат сзади прыг и оглушил». Вспомнив нехилого брата, я подумал, что ему, конечно, вовсе не требовалось прыгать на Алексея сзади. Но я промолчал. Спросил, из-за чего у них рознь.

— Потому что я, — надменно сказал Шерапенков, — в моем праве! И если б не они, у меня могла бы жизнь быть.

Он рассказал, что окончил церковноприходскую школу с похвальным листом и отец решил: не надо ему крестьянствовать. Отвез в Самару к известному мастеру Логинову: учиться делать дамские ридикюли и другую галантерею. В ученье Алексей показал дарованье. Отец, умирая, оставил всю землю — пятнадцать десятин — старшему брату с условием «доставить Алешку до дела». Началась германская война; он уже работал помощником Логинова. Попросился на войну. Когда вернулся с фронта после ранений, захотел открыть собственную мастерскую, но требовалась известная сумма. Брат в то время «имел двух лишних бычков». Денег от их продажи Алексею хватило бы.

— Я ему говорю: уважь мое право! Наказал отец меня до дела довести, так доводи!

Но брат, а «особливо Нюрка», напирала, что он «уже доведен до дела» — работал у Логинова, пусть и дале работает.

— Я говорю: это было поддела. Дело — когда оно мое!

Не дали денег брат с женой. Тогда он пришел к ним в отцовскую избу: «Буду вовсе без дела жить. Я в моем праве!» Брат не выгнал, терпел; золовка «злбилась, выживала». Тут случился Октябрьский переворот, вскоре в деревню нагрянула красногвардейская дружина — «и двоих быков свели, и еще и кабана!»

Вспоминая это, он трет безволосую грудь мочалкой, удовлетворенно посмеивается.

Я спросил, что он думает о большевиках.

— Выжиги! Читал я их листки: всеобщее счастье, мол, дадим. Разве ж счастье может быть всеобщее? Ты погляди, сколь горемык кругом:

тьма-тьмушая! Куда они денутся? А несчастные рождаются, што ль, перестанут? Одни дураки в это счастье и верят, но, скажи, как много их! Тот отец-покойник говорил: дураков в пашню не сеют, они сами плодятся.

— И как же ты, — сказал я, — это понимал и побежал к красным нашу разведку выдавать?

Он глядит на меня в упор. Глаза ледяные.

— Я на рыбалку собирался: сижу под сараем, ляжу верши, а твой брат по нашему двору туда-сюда, ляжками играет, распоряжается. Иди, мне говорит, напои мою кобылу! Я говорю: разве вы, господин поручик, меня слугой наняли? А он... — глаза Алексея подернулись влагой, — он как сунет мне кулаком в спину, в больное место. Здоров, сволочь. Я от боли упал. Ну, думаю, я тя обласкаю...

Помолчал, потупившись. Поднял на меня горящий взгляд.

— Если б можно было: мне трехлинейку — и ему! По два патрона в магазин, и с двадцати саженой — цельсь! — голос стал яростным, в уголках рта — пена. — По счету три... Я б его сшиб! И нисколь бы не жалел, и хер бы с ним!

Последние слова меня резнули по нутру, точно глотнул чего-то кипящего. Я поспешно окатился водой, стал одеваться.

У кавалеристов один убитый, трое тяжелораненых, но скот возвращен в деревню. Командир батальона уплатил хозяину за быка-трехлетка, и наутро следующего дня мы ели наваристый мясной суп, густо приправленный картофелем и крупой. Каждому досталось почти по два фунта говядины. Наевшись, мы присолили оставшиеся куски и спрятали в вещевые мешки.

День облачный, с морозцем; вот-вот посыплет снег. До чего не хочется покидать натопленные избы! Но трубят сбор. Командир батальона, невысокий шуплый прапорщик, пройдясь перед строем, вдруг называет фамилии: Шерапенкова и мою.

— За вчерашнее дело объявляю благодарность и всем ставлю в пример! — обеими руками пожимает руку Алексею, потом мне, обдает душком самогона.

— Р-рад стараться! — Шерапенков произнес это грубо, высокомерно, точно выругал подчиненного.

Командир уставился в замешательстве. Я вытягиваюсь, с пылом выкрикиваю положенные слова: вызываю довольную улыбку немолодого

прапорщика. Запоздало осознаю, что меня подхлестнул страх за Алексея.

Когда вернулись в строй, Вячка спросил его:

— Извиняюсь... не изволишь сказать, зачем ты вчера больше всех старался?

— Если я пошел воевать, — проговорил Шерапенков, не удаивая Вячку взглядом, — то я воюю! — Это был тон повелителя. Билетов аж икнул, встав на месте. Глядя на него, Санёк загоготал.

Батальон походной колонной выступил из деревни, держа на восток. В поле разошелся обжигающий ветер. Запорхал снежок, скоро по лицу стала стегать колкая крупа. От командира полка прискакал верховой. Позже мы узнали: привез сообщение, что неприятель пытается отсечь нашу дивизию, соединяясь с краснопартизанскими отрядами и образуя заслоны у нас на пути.

После трехчасового марша по безлюдной равнине показалось село. На подступах к нему видны тут и там стога сена. Хотя крупа метет довольно густая, было замечено, как с одного из стогов скатилась и исчезла фигурка.

Командир остановил движение, выслал на разведку в село десяток конников, отступавших с батальоном. Ждем в поле, подняв воротники шинелей, горбясь, поворачиваясь спинами к ветру. Санёк достал из вещмешка бычье ребро и с удовольствием его обгладывает.

— Дотерпел бы до избы! — бросил Чернобровкин.

— А коли ее не будет? — рассудительно говорит Санёк.

И тут от села понеслась трескотня выстрелов. Разведка во весь опор скачет назад. Блеснули огоньки на стогах и возле. Стоявший рядом со мной доброволец рухнул на колени, смотрит на вывернувшуюся ступню, хватает ртом воздух — пуля перебила голень. Команда: рассредоточиться! Не успели мы растянуться во фронт, как от стогов пошли цепями красные. Санёк прилег наземь с «лююсом», пулемет заработал.

Двигаясь на нас с востока, противник стремится зайти на севере за наш левый фланг. Санёк сосредоточил огонь «лююса» на этой группе. Я и Шерапенков оказались на правом фланге. Верстах в полутора к югу от него темнеет перелесок на горке. Передали приказ занять горку, чтобы обеспечить батальону безопасность с этой стороны. Нас человек двадцать пять, бегущих по отлогому подъему к перелеску. Командует нами вчерашний учитель труда начального училища. Вдруг из-под шапки у меня

хлынул пот, круто останавливаюсь: на высоте — конники.

Выезжают, выезжают из редкого леса. Вся вершина покрылась массой кавалерии. С нею мы еще ни разу не имели дела. У меня винтовка заходила в трясущихся руках. Ужас стиснул грудь.

— Что делать, братцы? — вскрикнул кто-то из наших.

Учитель закричал: «Бегом назад к своим, под прикрытие пулемета!»

— Не-ет!! — стегнул свирепый громкий, неожиданно низкий для его роста, голос Шерапенкова. Набежав на учителя, подпрыгнул — ударил того прикладом по лопатке.

— Куда гонишь, срань?! Порубят, как курят. — Потряс винтовкой:

— Стоять! Ни с места! — Скомандовал встать тесно в ряд, изготовиться к стрельбе: — Иначе не спастись! Они ж догонят легко!

Человек пятнадцать послушались его, остальные побежали. Темный сплошной оружий вал конницы хлынул на нас с горки. Ноги уловили дрожь земли и будто отнялись. Сейчас в безумье зажмурюсь, повалюсь ничком, прикрывая голову руками.

— Их бить — легче легкого! — с каким-то заразительным торжеством, с неумолимой властью в голосе кричит Шерапенков. — Огонь!

Чувствую, как у меня под шапкой волосы шевелятся, но руки подчинились команде. Бью, бью из винтовки в ужасающе близкую, стремительно вырастающую лавину людских, конских тел. Слева от меня Шерапенков, безостановочно стреляя, заключил невозмутимо, как отрубил:

— Стой — и никакая конница ты не возьмет!

Никогда еще я не видел, как на всем скаку валяются, летят кувырком лошади, всадники. В порыве неистового кошмара торопишься целиться и разить, разить, прижимаясь щекой к ложу полновесно отдающей в плечо послушной родной трехлинейки. Мучительное конское ржанье, людские вопли. Кажется, даже слышен треск костей. А справа, слева резко и часто хлопают, гремят, оглушительно шарахают винтовки.

В шумной огромной мятущейся волне, что вот-вот поглотит нас, вдруг открылись просветы, они быстро ширятся. Конница рассыпается, обтекая нашу недлинную, непрерывно стреляющую стенку. Поворачиваемся, ловим на мушку цели. Те из наших, кто побежал, теперь тоже ведут огонь по разрозненным кавалеристам. Как они спешат ускакать за горку!

— Ур-ра пехтуре! — поощрительно, тоном владыки, провозгласил Шерапенков.

Еле сдерживаюсь, чтобы не обхватить, не поднять его, восторженно тормоша.

Бой с красной пехотой продолжался до темноты, в село мы не пробились. От командира полка поступил приказ двигаться на север. Там два наших батальона в упорном бою отбросили неприятельский заслон. Мы соединились с ними, вошли в начинающийся на востоке лес, тут и заночевали.

Палаток на всех не хватило. Устроив подстилки из нарубленных веток, добровольцы спят у костров. Ночь промозглая, тает снег, с деревьев сыпятся капли. Я и Шерапенков пристроились возле двух положенных рядом лесин. Огонь медленно ползет по ним, обдавая спасительным жаром. Алексей разулся, протягивает к пламени ступни. Я лежу на боку, расстегнув шинель, гимнастерку и подставляя жару грудь.

— Про счастье треплются, — рассуждает Шерапенков о красных. Ненавижу, когда с этим словом балуют. Это меня прям по больному месту, как шилом в пупок.

Чувствуется, он хочет поговорить. Слушаю с интересом.

— Ты из каких будешь? Из капиталистских?

— Нет, — ответил я, — мы небогатые. Отец был инженером, мосты строил, раньше мы имели состояние. Потом вошли в долги. А после смерти отца и вовсе в долгах.

— Ага. Значит, красных победите, чего ты выиграешь? Взысканье долгов?

— Ну, если так глядеть — получается... — я улыбнулся.

— Получается! — повторил он. — Ты не смейся. Смеху тут нет. Это ты сейчас не задумываешься, а после поймешь... когда сильно полюбишь... — последние слова он произнес едва слышно и словно бы забылся. Потом спросил: — У тебя любовь была?

Отвечаю, что вроде бы, а вообще — не по-настоящему.

— У меня была. Возьми пойми, кто мое счастье скомкал... — уставился в огонь, на худом заостренном лице — болезненная гримаса. — Где я по галантерее учился, у Логинова... дочка — ну, что она из себя? А так легла к ней душа! И Логинов был не против за меня ее отдать. Ты, —

мне говорит, — по мастерству далеко пойдешь, богатым станешь. А она, Варька-то, ерепенится: больно маленький! Сачком тя ловить? Вот с того я и пошел на германский фронт. Разве ж я не могу себя выказать?

Он сел, пристально смотрит на меня, опасаясь усмешки. Убедился, что я слушаю с сочувствием.

— С войны я ей верные письма слал, от сердца. Вернулся: она уж ко мне по-другому. «А что, — говорит, — Алеша, и выйду!» Но теперь Логинов крутит. Оказывается, к Варьке сватается зеленщик — с малым, но с капиталцем. Я Логинову: «Что ж вы, Иван Михалыч, сами сулили...» А он: «Не кори, Леша, не могу я свою выгоду упускать. Сноровистый ты человек, но все ж таки нужна надбавка. Даю тебе полгода сроку: открой свое дело — завтра за тя Варьку отдам!»

Шерапенков прилег головой ко мне:

— Зато я и рвался свое дело открыть, а брат и его баба не дали... знаешь уже. Вижу — раз так, не стану я полгода тянуть! — голос зазвучал сумрачно-гордо. — Отписал из деревни Логинову: не будет у меня своего дела. Ну, вскоре знакомец из Самары мне пишет: отдана Варька за зеленщика. Теперь ответь, — спросил Шерапенков, — кому я за мою радость должен? Брату с золовкой? Логинову?

Не знаю, что сказать, чувствую горячую жалость к Алексею.

— А средь вас мне лучше, — тихо говорит он. — Я тебе по чести: я на войну пошел за Варьку, за любовь. Чтоб свое дело открыть — тоже пошел бы. Ну, а вы-то, молодняк, я гляжу, ни за то, ни за другое воюете. А за что?

— За то, чтобы никто не обманывал народ, — отвечаю, вспомнив разговоры моих старших братьев с друзьями. — Чтобы народ сам по каждому уезду, волости, по каждой деревне себе власть выбирал!

— Ну, а вам-то с того какая прибыль? Он по себе выберет, а тебе, скажем, от этого ничего хорошего?

Я в замешательстве. Подумав, говорю:

— Если народ станет свободным, хорошо будет всем!

— Ты веришь? — не сводит с меня горящих глаз. — За это себя кладете?! — Молчит минуты две, шепчет: — Божьи вы люди...

Заслоны красных нам больше не встречаются, но неприятель настойчиво наступает на пятки. Сегодня спозаранку наш батальон удержи-

вает позицию на опушке осинника, обеспечивая отход основных сил. После неудавшейся атаки красные залегли в поле, постреливают в нас с расстояния около двух верст.

Я пристроился за упавшей трухлявой осиной. Рядом — Санёк с «лююисом». Шерапенков влез на дерево в десяти шагах поодаль: хочет подстрелить командира красных.

— Старается, — говорит Санёк об Алексее, достает из-за пазухи сушеную краснопёрку, колотит ею о ствол пулемета, чтобы легче отстала чешуя. — Об чем он тебе калякает?

Зная, что Санёк ехидно посмеется, скажи я ему о любви Алексея, молчу об этом. Уклончиво отвечаю: говорит, мол, ему хорошо среди нас.

— Хорошо? Ему?!

— Ну да! Раз мы воюем за свободу народа, свою жизнь кладем... И вообще, мы — божьи люди.

— Чего-о-о? — у Санька тревожно-изумленное, растерянное лицо.

Над нами одна за другой свистнули пули. Я спрятался за гнилую колоду. Санёк не шелохнулся, держа голову над ней, как и держал. Обглядывая спинку красноперки, задумчиво произносит:

— А я надеялся — он человек. У-у, гадственный сучонок! — Рассудительно доказывает лживость Шерапенкова: — Хорошо ему говорить, что мы за народ! А разве не видит: мы для народа — одна тягота? Харч забираем, а то и лошадей. Правда, начальство, бывает, платит, но чего теперь деньги стоят? — Это раз! А как я ему в ухо дал? Как мы его к стенке ставили? Тоже Божье дело али семечки? Но даже, окромя всего этого, ты погляди сам на нас, — наставительно толкует мне Санёк, — мы-то — божьи люди? — Заходится едким мелким смехом. — За круглого дурака считает тя.

Не могу не смеяться вместе с ним. Быть дураком не хочется. Вспоминаю пыл, горящие глаза Алексея, когда он прошептал: «Божьи вы люди...» В самом деле, как тут удержаться от хохота?

Несколько дней назад мы проходили деревней. Вячка забежал в избу, в этот момент она оказалась пустой, в печи стоял горшок с теплыми сливками. Вячка вынес его, и мы стали ложками поедать сливки, хотя прибежала хозяйка и кричала на нас. А как-то я пообещал крестьянке заплатить за шерстяные носки и не заплатил: денег не было. Теплые носки сейчас на мне. И ведь Шерапенков все это знает. Божьи люди...

— Пошто он врет? — Санёк поглядывает на осину, на которой сидит Шерапенков. — Красного командира высматривает... Окрестность он высматривает! Задумал чего-то.

Если Алексей неискренен, то почему? Не хочется верить, ну, а вдруг он и впрямь хитрый, вероломный человек? Несколько раз выручив нас, попросту нами играет: ублажает свое самолюбие. И ждет случая...

Отходим редким чернолесьем. Красные не отстают, стреляют. Гнеуще посвистывают пули, с щелканьем отбивают от деревьев куски коры, сшибают сучья.

Открылась река в пологих берегах; за ней — шелестящая сухим камышом, осокой низина, а саженой через полтора — крутой каменистый кряж. Дивизия уже форсировала реку и ушла, уничтожив средства переправы, оставив нам одну лодку.

Больше часа отгоняем красных ружейным, пулеметным огнем, пока батальон, ходка за ходкой, перебирается на другой берег. Наконец Санёк, я, Шерапенков, Вячка и еще человек семь последними набиваемся в лодку. Гребцы во всю мочь налегают на весла: скорей, скорей переплыть реку! Выпрыгиваем на отмель, ноги вязнут в иле. Вот-вот на покинутом берегу появятся красные: примутся расстреливать нас, тяжело бегущих по топкой низине.

— Лёнька, гляди-и! — Санёк рванул меня за плечо.

Оборачиваюсь. Шерапенков остался у лодки. Упираясь в ее нос руками, скользя сапогами по илу, пытается столкнуть ее назад в реку. Санёк поднимает «люйс».

— Не-ет! — жму книзу ствол пулемета.

— Давай сам! — обдал меня брызгами слюны. — Щас в лодку запрыгнет, на дно ляжет: не достанем...

Шерапенков — предатель. Улучил момент — перебегает к красным. Надо успеть убить его, но я колеблюсь. Сейчас его застрелит Санёк. Почему-то не могу этого допустить, я должен — я... Вскидываю винтовку, стреляю. Он упал боком, поднялся на колени, столкнул лодку в реку. На четвереньках развернулся к нам, выползая из воды.

В смутном непонятном порыве я побежал к нему. Папаха с него свалилась, он медленно ложится животом в грязь.

— Они ж... — говорит прерывисто, — могли б пловца... за лодкой... и переплыли б удобно. А так — хрен!

Лодку уносит течением. Вымазанной илом рукой он пытается растегнуть ворот шинели.

— Вы... стрелять скорей...

Приподнимаю его за плечи. Подбежали наши: слушают мой крик — объясняю, в чем дело. Санёк, я, Вячка, Чернобровкин несем Алексея. На его покрытом грязью лице блестят глаза; улыбается:

— Убили меня... чудаки...

Санёк остервенело матерится: — А ты крикнуть не мог, а?! У ты го-лоса не было, а?!

Мы втащили Алексея на кряж, несем по косогору к ожидающему батальону. Ощущаю, как Алексей потягивается, словно вяло пробует вырваться из наших рук. Кричу:

— Санитары!!!

— Умер он, слышь, — говорит Вячка.

Известие, что я убил Шерапенкова, мгновенно всколыхнуло батальон. Нашу историю в подробностях знают все. Встречаю осуждающие, возмущенные, враждебные взгляды. В них чудится мысль: «Ишь, не вынесла душонка, что он таким молодцом показал себя!» Меня колотит нервная дрожь, пытаюсь разъяснить, доказать, что я не нарочно.

— Извольте помолчать! — кричит мне в лицо учитель труда начального училища, снимает шапку над телом Алексея.

Подошел Сохатский, резко назвал мою фамилию. Встаю перед ним навытяжку. У него негодующее лицо.

— Кто вам дал право стрелять в своих?!

Меня качнуло.

— Не при чем он, господин прапорщик! — вступился Санёк. — Я виноват.

— И я, — говорит Вячка, — я тоже. Мы... мы... эх! — потупился.

— Очень странно... — Сохатский всматривается в нас поочередно, склоняется над телом Шерапенкова: — Лучший солдат у меня был.

Мы несли Алексея до ближайшей деревни. Там и похоронили. Собрали в батальоне денег, сколько у кого нашлось, отдали священнику, чтобы отслужил не один раз.

Названье деревни — Мышки. От Оренбурга в ста пяти верстах.

ВИКТОР ШНЕЙДЕР

Письмо Онегина в деревню
другу-помещику
Ивану Петровичу Б.

Ироническая поэзия

Пишу, как выдалась минутка.
Дела такие, милый Jean,
Что Пушкин обещает в шутку
Состряпать обо мне роман.

Должно, ты помнишь: о соседке
я вёл тогда поел в беседке,
А воротившись в Петербург,
Её замужней встретил вдруг.

Что буду долго говорить я?
Мои cher ami, ты в курсе дел.
Меня, естественно, задел
Подобный оборот событий,

И оскорбленный а tout rigore*
Меня не свел чуть было в гроб.

К Татьяне прежде равнодушный,
В ней видя только образец
Занятный менее, чем скучный,
как оперяется птенец,

Тогда я, ежели угодно,
Повел себя с ней благородно,,
За что хвалил себя не раз.
(К тому же свёлся мой рассказ

В твоём саду. Поверь, он был
Правдив и даже объективен).
И вот — я сам себе противен
За это слово — любил

Всё то же “сельское дитя”
И стал томиться не шутя.

Не говори мне, будто “то же
Дитя” давно уже не то:
Ни поведение не похоже,
Ни положение — что мне в том?

Прошел от силы, может, год.
Движение времени вперед,
Замечу а ргоров, для дам
На пользу не идет, как нам.

Седины, что меж кудрей блещут,
И рыбы глаз в сетях морщин
Лишь украшение мужчин,
Но просто приговор для женщин...

А впрочем, это только к слову.
Татьяне долго до такого.

Сим отступлением про внешность
Я только показать хотел,
Что изменения, конечно, .
Произошли в ней, но предел

Их ограничен и предсказан
Был (или мог быть) мною сразу,
И не они играли роль,
А слово “ЗАМУЖ”, как пароль,

И я, услышав эту весть,
Ещё саму её не видя,
Влюбился ли, возненавидел...
Похожа страсть моя на месть.

Как разобраться, unbewusst**
Что в основании наших чувств

К психоанализу такому
Я склонен временами сам:
Всё удалось одно к другому —
Моя тоска по тем местам,

Давнишнее знакомство с мужем,
Который моего не хуже
(Чтоб не сказать — наоборот),
Толк знает в женщинах, и вот

Он демонстрирует на деле
Мне, безголовому ослу,
Почти что произносит вслух:
“А вы, топ шег, и проглядели”...

Я матом чуть себя не крыл,
Что сам Татьяну не открыл...

Я ей писал, пылая страстью,
Но так и не пришел ответ,
А муж вернувшийся, к несчастью
прервал наш первый tet-a-tet.

Признаться, я подозреваю,
Читаешь ты, уже зевая.
Не Байрон я. Не выжмут слез
Мои a'tours'ы molheureuses***

И описанья rendez-vous****
Смешно — так смейся, мне не жалко.
Но пишет тайнописью Парка
Судьбы десятую главу,

И оборвать на этом речь —
Её стараний не беречь.

К тому же (не скрываю это)
Мне нужен, Белкин, твой совет,
Какой дадут лишь люди света,
Да растрезвонят на весь свет,

А то, по скудному уму,
Саму проблему не поймут.
И только тот, кто в свете был,
Да позже из него отбыл,

Усвоил лучшие понятия,
Кому, однако же, знаком
Его неписанный закон,
Того совета буду ждать я.

Ты морщишься: какая лесть!
Ну что же, друг мой, так и есть.

Однако же, вернусь к Татьяне.
На чем прервал я свой рассказ?
Ах да, свидание. Хоть я не
Добился своего, отказ

Звучал её настолько нежно,
Что более вселял надежду,
Чем отнимал её, а муж
Был такта светского не чужд:

Меня завидев на коленях,
Всё мило в шутку обратил
Однако скоро укатил
С женою вместе — не в именье,

А в часть военную в Крыму.
(Так может, и не потому).

Конечно, объяснять одними
Соображеньями карьеры
Решенье, принятое ими,
Наивно свыше всякой меры.

Мотив, однако, выше грязи:
Он — в умонастроеньях князя,
Если учесть, что в том же месте
Тогда служил и Павел П....

.....
.....
..... * * * * *

Однако, так ли важно это?
Татьяну письмами штурмуя,
Строкой последней ему я
Просил передавать приветы,

Символизируя лишь так,
Что признаю церковный брак.

Ответы мне писались тут же,
Благодару, но не хуже.
Татьяна призывала к дружбе,
Пыталась мне писать о муже.

Ничем, однако, не рискуя,
Поскольку даже поцелуя
Я требовать не мог, потом
Она переменяла тон.

С тех пор я чтение писем длю,
Следя, как чувство обернулось
То обреченным "Я люблю Вас",
То нежным "Я тебя люблю".

И тем нежнее эти речи,
Что нет возможности для встречи.

За время больше года страсть
И без учета расстояний
Давно должна была пропасть,
А я всё длил эпистолярый.

Я знал, что для неё мученье,
А не простое увлечение
Любить кого-то, кроме мужа,
Несчастливым делая к тому же

Предмет и собственной любви,
Но роль крушительницы судеб
В душе всегда была и будет
Мила для женщин, c'est la vie*****

И значит, в моих письмах есть
Лесть в той же мере, что и месть,

Тоски причина и веселья...
Но исключительно пролог
Всё то, что я писал доселе.
Теперь же близится итог,

Который рад не торопить я,
Да не подвластны мне события:
Как знаешь сам, П.П. повешен,
А муж Татьяны был замешан

В его сомнительных делах.
Естественно, не знаю — как.
Должно, какой-нибудь пустяк,
Но шепчутся на всех углах

Что плачет по нему Сибирь
Иль Соловецкий монастырь.

Известно, Государь всем женам
Бунтовщиков дает развод.
Вопрос практически решенный —
Согласье дал уже Синод,

(Ужо мы критику оставим
Его с позиций православья.
Речь не о том). Всё, что угодно
Я ожидал... Она — свободна!

И свежее письмо Татьяны
(Казалось бы, в тот час, когда
Над мужем грянула беда!)
Нежнее прочих, как ни странно.

Я ж в каждом слове врал, как Пушкин,
И вот — загнал себя в ловушку.

Ведь после стольких клятв в любви
И стольких самоунижений,
Всего, что ей наговорил,
Смешно не сделать предложенья.

Как выбраться из переделки,
Не знаю. Посоветуй, Белкин!

Пока он пишет эти строки,
Вдали, на северо-востоке,

Где, как позорная прореха,
Клочок зари светлеет куцый,
Татьяна — в городе Иркутске —
Ждет дозволенья к мужу ехать.

Её прощальное письмо
Евгений оценить не смог.

28–29 января 1994

* a tout propos (а мор проп) — самолюбие

** unbewusst (унбевуст) — бессознательно

*** malheureuses (а мор молярёз) — несчастная любовь

**** rendez-vous — (рандеву) — свидание

***** пропущенные строки предположительно расшифровываются как:

Тогда служил и Павел Пестель

Читал свои ноэли Пушкин,

Меланхолический Якушкин,

Казалось, молча обнажал

Цареубийственный кинжал...

etc

*****c'est la vie (се ля ви) — такова жизнь

СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ

Ритмы

Совершенно нет времени писать произведения. Дай Бог только успеть схватить ритм. Но с другой стороны — ритм это ведь сама структура. Не так ли? Дорогой случайный читатель! Доверяю тебе на пробу кусочки из большого месива разных ритмов.

Ритмы большого застолья

...уже много выпито, съедено и сказано. Встает очередной солидный гость.

Это было в сорок седьмом году... Вру! В начале сорок восьмого. Зимой. Парень был я тогда молодой, непоседливый, — вот, Ссый Оганезович не даст соврать. И работал он тогда в прокуратуре Буяквинского района. И я с ним. Он меня туда взял, он меня оттуда и выгнал. И за дело! По гроб жизни ему обязан. Да, Ссый Оганезович?

(Старый армянин кивает головой и фризит пальцем)

Ну, вот! А у predisполкома была дочь — Кадрия, татарка... Нет, вру! Кадрия — это была у меня медсестра в госпитале. Глаза как блюдца, зубы ровные, волосы... но это — отдельная история. А эту звали Идрыс. Да... так вот. Вызывают меня на ковер к Самому. Не буду входить в подробности, но деваться было некуда. Или партбилет на стол, или пошел на хер! Выбирай! Извините за выражение, но тут все замужние и к тому же выпивши... *(отхлебывает лимонад)* Да... Ну, а в те времена, сам понимаешь, положить партбилет это как в солярке купаться. Значит значит, поехал я по всем директорам, по предприятиям... Ну, едем. Мороз страшный. Ночь уже. И вдруг чувствую... начинает... зуб ныть. Тут все

замужние, так что я без обиняков. Начинает ныть... (*пьет лимонад*) зуб. Нижний слева. Нет, вру! Справа. Точно, справа. И пошел, пошел — никакой мочи нет. Вот. Как будто, знаешь, геморрой во рту... То есть наоборот... ну, ты понимаешь. Все, говорю, не могу больше сидеть. Стоп, машина! А тут как раз поселок Дымшино. Там совминовский санаторий, маслозавод, станция железнодорожная — Хлябино. Ну, все путем. Начальник станции, кстати, Бурятин Иван Михайлович, все в интеллигента играл, там теософия, покаяние общества, а сам такой жлоб, что от него до самой Тулы все дистанции стонут. Ну, это другая история.

Так вот. Ночь. Я к дежурному. Вынимаю свою красную книжку. Ну, тот, понятно, сразу затрясся — пальцем в телефон не попадает. «Не могу-у, - хрипит, - наберите вы сами, - говорит, - номер 31». Вот сколько лет прошло, а как сейчас помню - номер, говорит, 31. Набираю тройку и единицу... Вру! 37 был номер! Тридцать семь! Тройка, а потом семерка. 37! Даю ему трубку, и он как гаркнет: «Идрыс, твою мать, чтоб через полминуты, тут человек из органов». — А меня, понимаешь, во все стороны корячит, боль такая. Вот — Ссый Оганезович помнит. Он для меня в этом деле как крестный отец был. — (*старый армянин кивает головой, фризит пальцем и улыбается.*) — Он всегда говорил: «Прихватит, прихватит и тебя когда-нибудь, никакая свечка не поможет, кроме свечки Господу Богу». Во, как! Это при двадцатилетнем партстаже. И лектором был по научному коммунизму. — (*старый армянин кивает головой, но не улыбается.*) — Но тут... полный рот больных зубов, но только, извиняюсь, не к столу будь сказано, в заднице. А она, Идрыс эта, еще в тамбуре, пальто снимая, валенки там обивая: «К столу! — кричит... то есть нет, вру: «На стол! — кричит. — На стол!» Поднимаю я со стоном глаза, и глазам своим не верю. Входит, знаешь, Доротея! Ну, просто Доротея! Богиня любви — очки, белый халат, рот громадный, покрашенный, ресницы длинные синие, щеки ровные круглые, коса густая до пояса, но заплетена на макушке... ну,... Доротея! То есть. Афродита! Богиня любви. И лет ей 25. Ну, от силы 28. Это от большой силы.

— Раздевайтесь! — говорит, и голос такой, ну, как будто поет, знаешь, так: «Разде-е-ева-а-айтесь!» Я туда-сюда. — Мне, — говорю, — зубной врач требуется. — Она как вспыхнет! А я тогда молодой был, правду скажу, без хвастовства, бабам нравился... и женщинам тоже. «Как, — спрашиваю, — вас, доктор, зовут?»

А она: «Идрыс Абдуллаевна Бехта».

Сердце ёкнуло у меня и вниз упало, как будто сырое яйцо со стола скатилось. Вы, — говорю, — не дочь Абдуллы Гиевича?»

— Как это не дочь? — говорит она. — Как раз дочь, и отец ко мне в гости приехал. Сидят с моим мужем, пельменей ждут. А меня к вам по срочной вызвали.

Я говорю: «Ну, и что ж мы теперь делать будем?» А сам трясусь весь, потому что Бехта у нас полгорода пересажал.

А она так певуче говорит: «Снимайте, — говорит, — снимайте ваши ботинки, шнурки и всё, что внизу, а я пока przygotowуюсь, а то у меня пельмени в холодильнике».

Ну, вот, чтобы долго не тянуть, лежу я на столе и вымазан весь до пояса зелёной... такая, вроде бриллиантина, что ли... Вместо йода. У нас тогда йода во всей области не было. Вот, Сый Оганезович помнит. Даже в Совмине не было. А уж в простой поликлинике даже кабинетов никаких не осталось, кроме приемного покоя, всё под склады пошло, перевоз пиломатериалов был... Но это — другая история. Ходит Идрыс, шприцы проверяет, а я, не к столу будь сказано, лежу перед ней на столе, и весь низ зелёный. Всадила она мне иголку обезболивающую. Лицо белой марлей закрыто, очки и длинные такие синие ресницы торчат. Чувствую — в сон поклонило. А внутри голос бурчит: «Не спи, дурак, ты что, сдурел, что ли?» И во рту, помню, сухо. Я губы облизал и говорю: «Идрыс, а, Идрыска! Лежу я пред тобой посреди стола как салат с редиской».

Тут она как захоочет. Слезы из глаз как брызнут от смеха. Рука ее со шприцем дрогнула — прямо в глубь мне... И я отключился. Больше не помню.

И, что интересно, — сколько лет с тех пор прошло: и в область меня перевели, и под следствием два раза был, и посидел немного, в номенклатуру потом прошел, два года на Мадагаскаре военным атташе был, и сейчас — вот уж сколько, в коммерческой структуре, и никогда, верите ли, никогда я ее больше не встречал...

(За столом задумчиво молчали. Седой армянин кивал головой.) —

И не слышал о ней... И даже не вспоминал... вот до сегодняшнего случая... Так что... давайте выпьем снова... за любовь! За женщин и за красоту! Ну, за всё, что здесь уже много говорили.

(Все поднимают рюмки. Некоторые даже встают.)

Ритмы соцреализма

МОЛОДОСТЬ

(от Крелина, Германа...)

Писатель Масютин (да не только писатель — журналист, педагог, одно время — член партбюро, другое — секретарь Союза, участник ВОВ) действительно воевал, по тылам не прятался. Но воевал, по собственным его словам, как-то не особенно удачно. Тяжело воевал.

Карельский фронт в сорок четвертом стоял и не двигался. Обжились на месте. В землянках появился быт и даже удобства — свет и прочее. Зима стояла холодная. Ну, пили, конечно, крепко. Младший комсостав не уступал старшему. А солдаты, ну, уж кто как устроится. Боев не было, но служба — то была отработка, разведка, инженерные укрепления. Ну, и — доклады, оперативки, разносы... Шел Масютин к себе в землянку с большого разноса. Шел не один. Был с ним некто капитан Кривобачко. Масютин (впоследствии писатель, журналист, педагог) живо описывал Кривобачке разнос во всей его силе и несправедливости. Кривобачко кряхтел и понимал. Это сближало. Несколько раз останавливались в разных известных точках и выпивали. В последней точке — рота старшего лейтенанта Пантелеева — явно перебрали. Вылезли на ночной мороз под звездное небо, сказали: «Ну, последний бросок!» — и двинулись. Но бросок вышел какой-то петлистый. И в сугробы проваливались, и на деревья налетали, и вовсе направление теряли. С трудом нашли землянку, а тут — новое дело! — свет отключили. Потыркались в темноте и холоде и, не раздеваясь, примостились кое-как. Кривобачко упал на нары, а Масютин присел на что-то, к стене привалился и отошел ко сну. Не было даже сил туп расстегнуть.

Писатель Масютин (в будущем, конечно, писатель) видел, по его собственным словам, удивительные сны в ту ночь. А потому никакие внешние проявления жизни до него как бы не доходили. А электричество под утро врубили. Загорелась лампочка под потолком. Зарумянилась электроплитка, почему-то включенная в сеть. Но ничего этого не видел и

не чуял писатель Масютин. А надо бы, по всем законам природы, надо бы чують, ибо сидел он как раз на этой самой плитке. Красные железки не сразу, думается, но в конце концов прожгли дыру в тяжелом писательском тулупе и принялись за самое старшелейтенантское тело.

Вторгаться в чужие сны нам не по силам, да и не по вкусу — так что, что уж там видел с закрытыми глазами будущий писатель, журналист и педагог, это исключительно его личное дело. Но проснулся он от собственного крика. Этот факт самим писателем и сообщенный. Зад не дымился, а именно горел, полыхал.. Только нерасторопность капитана Кривобачко была причиной продолжения пожара за да и на снегу, возле землянки. Помутненное сознание будущего писателя Масютина заставило его вместо того, чтобы упасть в сугроб, бежать с замечательной скоростью в направлении КП старшего лейтенанта Пантелеева. Искры и пламя вылетали из бегущего писателя, и он был похож на ракету. Безнадежно отставший капитан Кривобачко не нашел лучшего, как доложить о случившемся по телефону начальству.

Неординарность повреждений потребовала столь же неординарных методов лечения. И лечение было долгим. Терпение, мужество, присутствие духа, помогавшие сносить постоянные насмешки окружающих, были проявлены старшим лейтенантом Масютиним и положительно отмечены всем персоналом госпиталя.

В январе 45-го капитан Масютин находился в боевом охранении артиллерийского полка. Обстановка была неустойчивая. Личный состав укомплектован два наполовину. И к тому же морозы свирепые. Двое суток будущий педагог и журналист без минуты сна мотался между передовыми постами и спецгруппой маскировщиков.

Ночным часом возвращался капитан Масютин к себе на квартиру, на окраину села Глобино. До вожделенного тепла оставалось еще километра два-три с половиной. В целях дезориентации противника и маскировки движение транспорта было сведено к минимуму, и капитан двигался пешком. Остановился и отхлебнул из фляжки. Потеплело внутри, прояснилось. Но ноги как-то сразу заметно ослабли. Дело происходило в краях довольно южных, мороз был там случайностью, а потому одеты все, и капитан Масютин в том числе, были легко. Спасались больше внутренним прогревом. Писатель снова отхлебнул из фляжки. Хорошо прожгло, прямо до дна достало. Но ноги... ноги плохие. Устали ноги. Капитан Масютин сел на пенек и решил перекурить. Пенек был какой-то особенно холодный, но искать дру-

гой сил не было. И стоять не мог — ноги не держат. «Пару минут курю и пошел», — планировал писатель. Но вышло иначе.

Тяжелая усталость и чисто художественная натура Масютина, обеспечивавшая ему всегда необыкновенно увлекательные, противоположные реальности сны, полностью отключили капитана от действительности. Папироска давно погасла и выпала из ослабевших пальцев. Подбородок лег в ладонь, и не задремал, а заснул он мертвым, как говорится, сном. Ему снилось, что у него горит зад. Но Масютина это не особо беспокоило — последний год такие сны посещали его нередко, и он привык. Зад болел нестерпимо, но капитан терпел, ибо твердо знал, что это сон, и скоро станет легче. Однако, на этот раз боль не прошла и после того, как он проснулся. Кривясь и постанывая, кряхтя и матерясь, капитан Масютин встал с пенька. Но, к его ужасу, пенек встал вместе с ним как приклеенный, а на самом деле — впоследствии выяснилось — вмёрзший намертво в зад капитана Масютина.

Это не сказка и не водевильчик для смеху. Это натуральная реальность серых будней войны. Пенек оказался не пеньком, а жестяным ведром, стоявшим кверху доньшком и припорошенным снегом. Так что чуда никакого не было. а все произошло по законам элементарной физики: особо пониженная температура металла, подтаивание от человеческого тепла верхнего слоя снега и последующее примерзание уже намертво.

Полковник медицинской службы Бляхер впоследствии сказал: «На войне бывают не только боевые подвиги. Двухкилометровый путь капитана Масютина до окраины села Глобина с вмёрзшим в жопу ведром боевым подвигом назвать нельзя. Но подвигом терпения, преодоления невыносимых мук и желания исполнить свой долг — назвать можно». Полковник Бляхер был известным насмешником, но в данном случае, кажется, говорил серьезно.

Шрамы ложились на шрамы, и лечение было деликатным и не быстрым. Однако, когда грянули последние дни войны, капитан Масютин снова был в строю. День 9 мая застал его в недавно освобожденном чешском городе Наход. Город радовался и расслаблялся. Их всех видов оружия салютовали победе. Солдаты и офицеры утопали в цветах. Яркие глаза чешских красавиц источали восторги и обещания.

Вечером капитан Масютин, майор Поднебесный и младший лейтенант Игорь Раш (фантастический смельчак и Дон Жуан) были приглашены домой к некоей Мартинке Бартовой. В гостях у нее оказались

еще две девушки — яркие, разные, прелестные. Домик на задворках небольшого костела был хорош. Глаза офицеров радовали забытые за войну (а, может, никогда и неизвестные) глупые мелочи — салфеточки, статуэточки, коврички, зеркальные шкафчики, горочки. Чешский хрусталь за чисто вымытым чешским же стеклом. Рюмочки разных размеров, чашечки, кружечки. Принесенные офицерами с собой продукты и выпивка имели совсем другой, непривычный, нарядный вид на белой скатерти среди всего этого граненого стеклянного рая.

Выпили. Помянули. Потом живых прославили. Потом девушек обняли. Завели патефон и пошел фокстротный пляс незабываемых сороковых. Красавиц Игорь Раш был, конечно, центром внимания, но, когда начались танцы, никто иной, как капитан Масютин оказался на недостижимой высоте. Он, несмотря на недавние госпитальные муки, такие коленца выкидывал, такие проходочки выделывал, то с Мартинкой, то с Иткой, то с Аленкой, что все только ахали и аплодировали. Будущий писатель разгорячился, похватил Итку на руки, как пушинку, вертанулся под музыку — два оборота вправо, два влево, отступил, быстро семеня ногами, прыгнул и..., как штопор, врезался задом в самую большую горку со стеклом и хрусталем.

Чешское стекло, вообще говоря, в мире ценится. Оно грубовато, но своеобразно. Среди многих его индивидуальных особенностей есть и такая — когда чешское стекло (хрусталь) бьется, оно разлетается на необыкновенное количество мелких и микроскопических осколков, а крупные куски обладают феноменально острыми гранями. Свойство ли это чешского песка или влтавской воды, не знаю. Но факт есть факт.

Грохот, произведенный задним прыжком капитана Масютина с Иткой в руках, был подобен взрыву. Кровища — поверхностная, неопасная, но на вид жуткая, хлынула из тысяч порезов тысячью ручейков. Марек Поводил, костельский служака, выскочивший из соседнего домика, признавался потом, что был уверен — взорвали целую связку гранат. Он же — Марек Поводил — из сочувствия к освободителям и доставил капитана Масютина на своем мотоцикле в ближайший медсанбат.

Когда военврач Марго Харазьян развернула кровавые простыни, срезала ножницами остатки галифе и взглянула на задницу будущего писателя, она только и могла воскликнуть: «Боже мой, что же вы ей дела ли?»

Если кто читал во второй половине 50-х газету «Красная звезда», помнит скромные, но тем не менее занимательные заметки о жизни и

быте военнослужащих в отдаленных гарнизонах. Подписывались заметки — В.М. Это и был Владлен Масютин, майор в отставке, начинающий писатель и журналист.

Потом... потом была долгая, интересная, успешная в целом жизнь. Большая семья — дети, внуки. Сложные внутрисемейные дразги... да чего только не было! Однако, молодые военные годы никогда не забывались. О них вспоминали, за них поднимали бокалы и, зажмурившись, пели задушевные военные песни.

Москва, 15 июня 1995

Ритмы Хармса

ОТЦЫ И ДЕТИ

«Мы правнуки дедов

Наших отцов»

УИЛЬЯМ ГРИБСОН

Сын Гоголя от первого брака писал гораздо хуже своего отца. По свидетельству современников, писал он просто чудовищно. Но зато, в отличие от отца, был веселым общительным человеком, много занимался гипнозом, отлично готовил. Когда вышла книга его рассказов «Рим город», читающая публика была потрясена тем, что за два года был раскуплен всего один экземпляр. Его купил сын Белинского — Иосиф. Он написал сыну Гоголя письмо:

«Вадим Николаевич! — писал он. — Опомнитесь, наконец! Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя же так жутко писать! Вы что, в самом деле, думаете, люди ничего не замечают? Поставьте себя на мое место, и Вы просто обалдеете! Ведь только еле-еле не дошло до дуэли. Я даже собирался просить сына Пушкина быть моим секундантом.

Дорогой Вадим Николаевич! Если Вы напишете еще хоть одну строчку — это конец всему — мечтам, надеждам, гордой славе да и самой России как государственному образованию.

Всегда Ваш И.Белинский.

Сын Гоголя ответил немедленно. В известном письме от 11 февраля он писал из Флоренции:

«Дорогой Иосиф Виссарионович! Да хибя ж цэ нэ було так нецелоко, когда, и не пообедавши, жматэ любую мелкопоместную пастораль?»

Даже из этого небольшого отрывка виден уровень этого, с позволения сказать, литератора. И притом он прожил долгие годы (умер много после русско-японской войны), оставаясь и душою общества, и очень умелым, удачливым фабрикантом.

Сын Тургенева, напротив, писал гораздо лучше своего отца. Отсюда нередко возникала путаница. Так как Тургенев (имеется ввиду старик Тургенев) еще при жизни, даже уже в самые молодые годы, стал классиком, и его изучали в гимназиях, то ученики смешивали отцов и детей. Интересно, что второй сын Тургенева тоже писал гораздо лучше своего отца, но, правда, не так хорошо, как его старший брат.

Простой пример: роман «Рудин» написан стариком Тургеневым. А вот роман «Дудин» никакого отношения к нему не имеет и написан уже сыном старика Тургенева. Но есть еще роман «Хазин» (который, кстати, ученики всегда читали тайком, под партами). Однако он совсем уже не связан ни с кем из Тургеневых и является скрытой пародией на «Дудина» и принадлежит перу сына Набокова.

Вообще так или иначе — новое поколение наступает. И это совершенно естественно.

Так сын Ройтмана — некто Перфильев — далеко обошел в известности своего отца, хотя ни тот, ни другой пальцем о палец для этого не ударили.

Напротив, у Филиппа Белазье дети были один бездарнее другого. Но внуки оказались еще безнадежнее. А так как Филипп Белазье жил в XVI веке (1511–1593), то к сегодняшнему дню уже народилось множество поколений одно хуже другого. Потомки разъехались по разным странам, сменили фамилии, заняли большие государственные посты, и в результате целые нации оказались на грани полной деградации. Это касается не только Венгрии, Ирландии, но, к сожалению, и России.

Каждый следующий хуже предыдущего!

Надо признать, что и такое развитие присутствует в нашем современном мире.

Ритмы сентимента

В самой просторной стране мира люди почему-то называют предметы в уменьшительной форме. Может, они действительно кажутся маленькими по сравнению с безмерным пространством?

В магазине:

— Завесьте мне колбаски три батончика, сырку килограммчик, ну, и водочки бутылочку. Никогда не скажет — колбасы! Сыру!

В столовой:

— Значит, так: два салатика... с помидорчиком... и лучку побольше. Редисочку... и чесночку немного.

А, может, это неиспользованная где-то нежность из нутра наружу выходит?

— Я бы чайку выпил чашечку. И водочки рюмочку.

— А коньячку?

— А сигареточки не найдется? А папиросочки? Спасибо. А огонек есть? Зажигалочка? Вот, спасибочко!

— О-о! Костюмчик, что надо!

— Сейчас я вам все запишу — листочек бумажечки бы... и ручечку... (Или это вежливость? — Дескать, не беспокоить бы вас излишне. Или лакейская приниженность, вроде старинного «пожалуйста-с ручку-с»? Или маленькая хитрость: дескать, просьба-то пустячная?)

Снимаем кино. Режиссер говорит:

— Давайте почитаем сценочку. Текстик немножечко посмотрели? Я там помарал две реплички. Значит, вот что я думаю: мы стульчик поставим в уголок, королева сядет на диванчик, а Рене на ступенечке возле креслица. Так. А потом, когда поедем на крупный планчик, надо бы немножечко подворовать — два шажочка сделать вперед — на ковричек. Люся, отметьте местечко. Сейчас подождем несколько минуточек — грибочек закончат. Ну, в общем, в финальчике надо будет немного наклонить головочку, чтобы в кадр как-то вписаться. А она делает движеньице, и кинжалчик... войдет прямо ему в грудочку. Кстати, Люся, пусть приготовят запасную рубашечку и побольше кровушки.

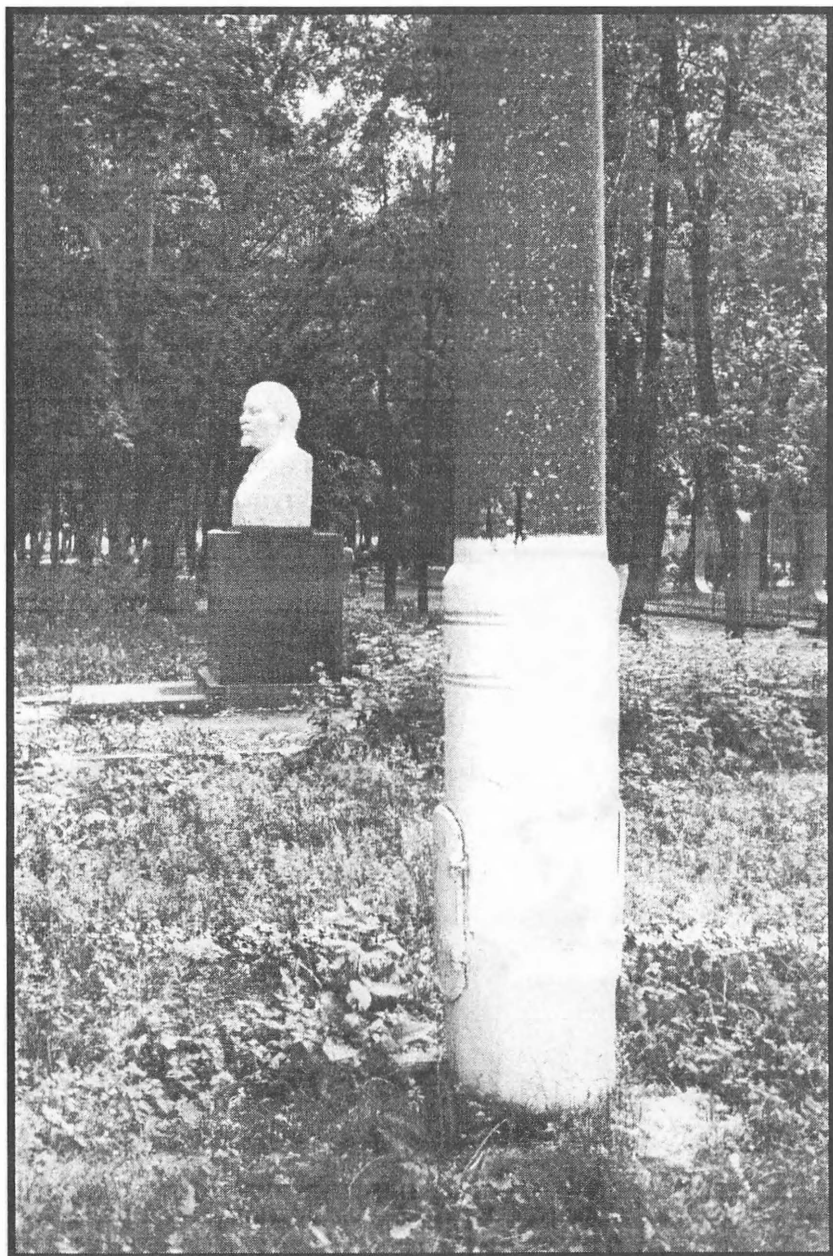
Эту темочку поднял давным-давно Васенька Аксёнов, а я только продолжил.

ВИЛЬЯМ МЕЙЛАНД

„Вот и молот, вот и серп...“

В застойном 82-м году в Доме художников на Кузнецком мосту состоялся довольно странный для того времени вечер двух клубов — клуба скульпторов и клуба искусствоведов. Доклад, с которым я выступил на этом вечере, назывался «Что делать с плохими памятниками?». Глядя на работы «свободного фотографа» Игоря Мухина, я получаю сегодня не только эстетическо-ностальгическое удовольствие, но и ответ на свой давний риторический вопрос — памятники нужно, как минимум, *ф о т о - з р а ф и р о в а т ь*. Даже самые убогие и бездарные, они несут в себе концентрированную убогость и бездарность ушедшей, а местами все еще длящейся совковой эпохи. Низверженные и побитые или все еще торчащие на площадях, они передают уникальность нашей особой среды обитания «с южных гор до северных морей».

Художники и так называемые комбинаты монументального искусства славно поработали в разные годы, обеспечив нас самым передовым идеологически выверенным искусством на многие годы. Впрочем, Игоря Мухина все больше привлекают не бодро стоящие истуканы, а их распадающиеся на глазах бетонные и гипсовые собратья. Растворение памятника в природе — вечный и закономерный процесс. Я лично всегда радовался, когда вокруг того или иного колосса на глиняных, бетонных или металлических ногах разрастались кусты и деревья, когда нечувствительные к идеологии и качеству пластики голуби и прочие чирикающие создания наносили на головы и плечи энергичных вождей и задумчивых деятелей науки



Москва, 1992

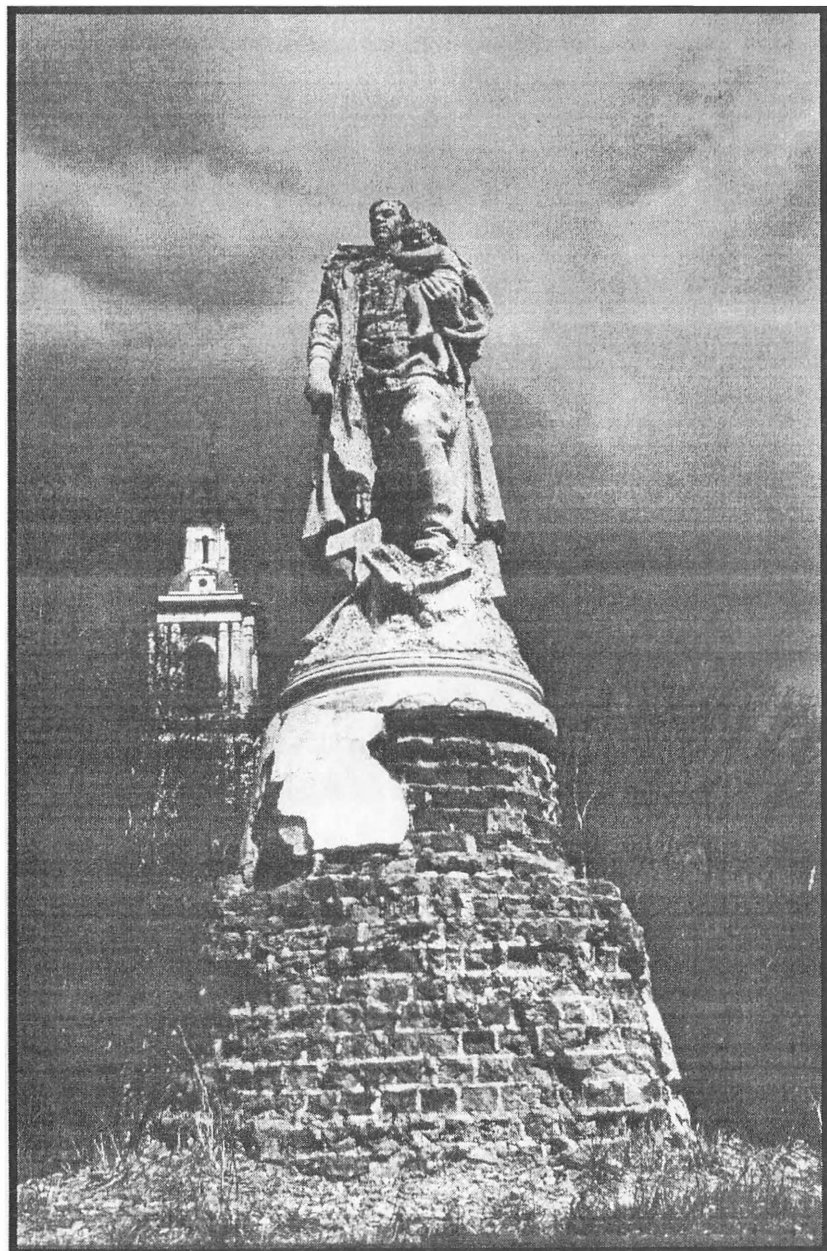
и культуры свои птичьи уточнения. Бодрый «Гоголь» Томского, например, от этого только выигрывает и даже начинает напоминать сзади Зою Космодемьянскую с рюкзаком...

Мухина явно интересует не статика, а процесс существования памятников и ветшающей на глазах «ненаглядной агитации». Он, разумеется, прав в своем охранительском стремлении остановить мгновения нашей неповторимой жизни. По словам фотографа, его пока что мало интересует новая городская вещественность, украшенная рекламой «Марса», «Сникерса» и «Тампакса».

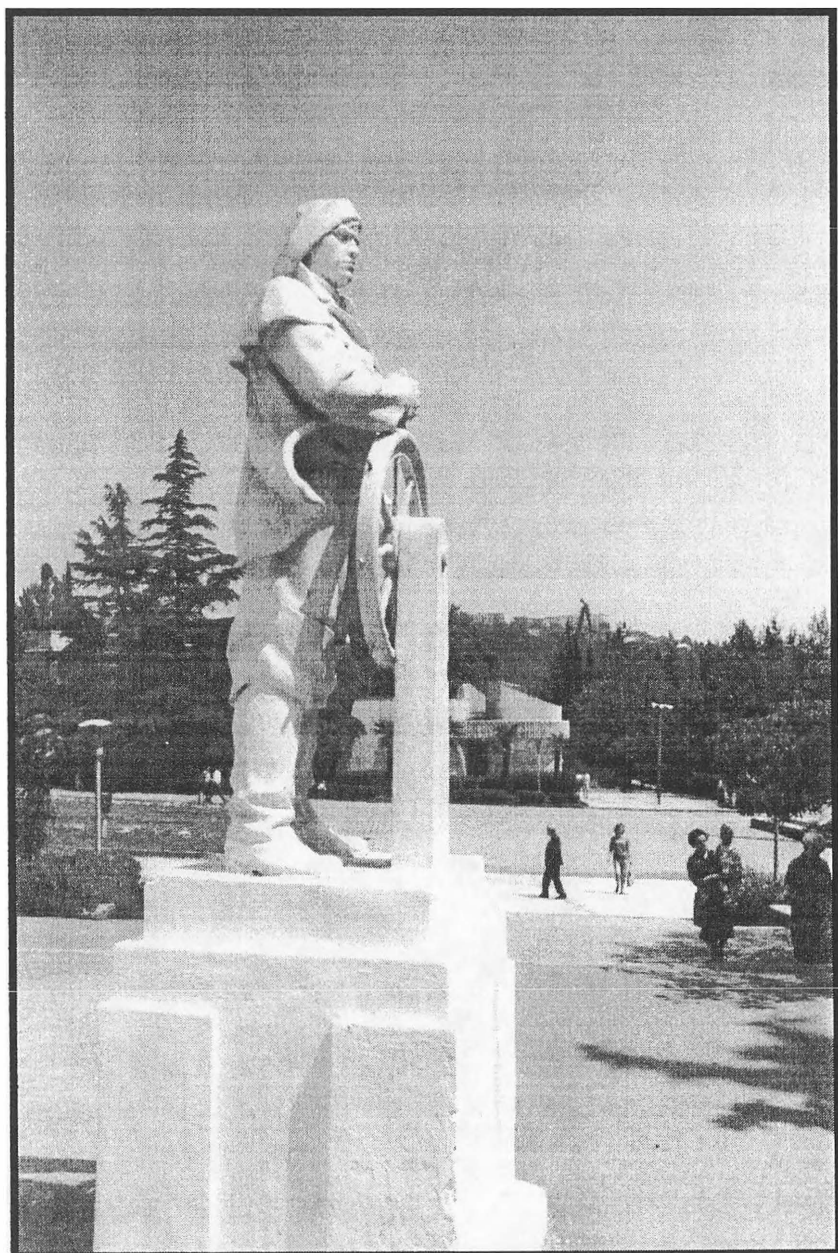
Иногда, просматривая фотографии Мухина, я ловлю себя на том, что он примиряет меня с существованием даже таких пластических уродов, как «Эрнст Тельман», стоящий близ метро «Аэропорт». Маэстро снял его сзади и издалека, а «утро туманное» довершило общую



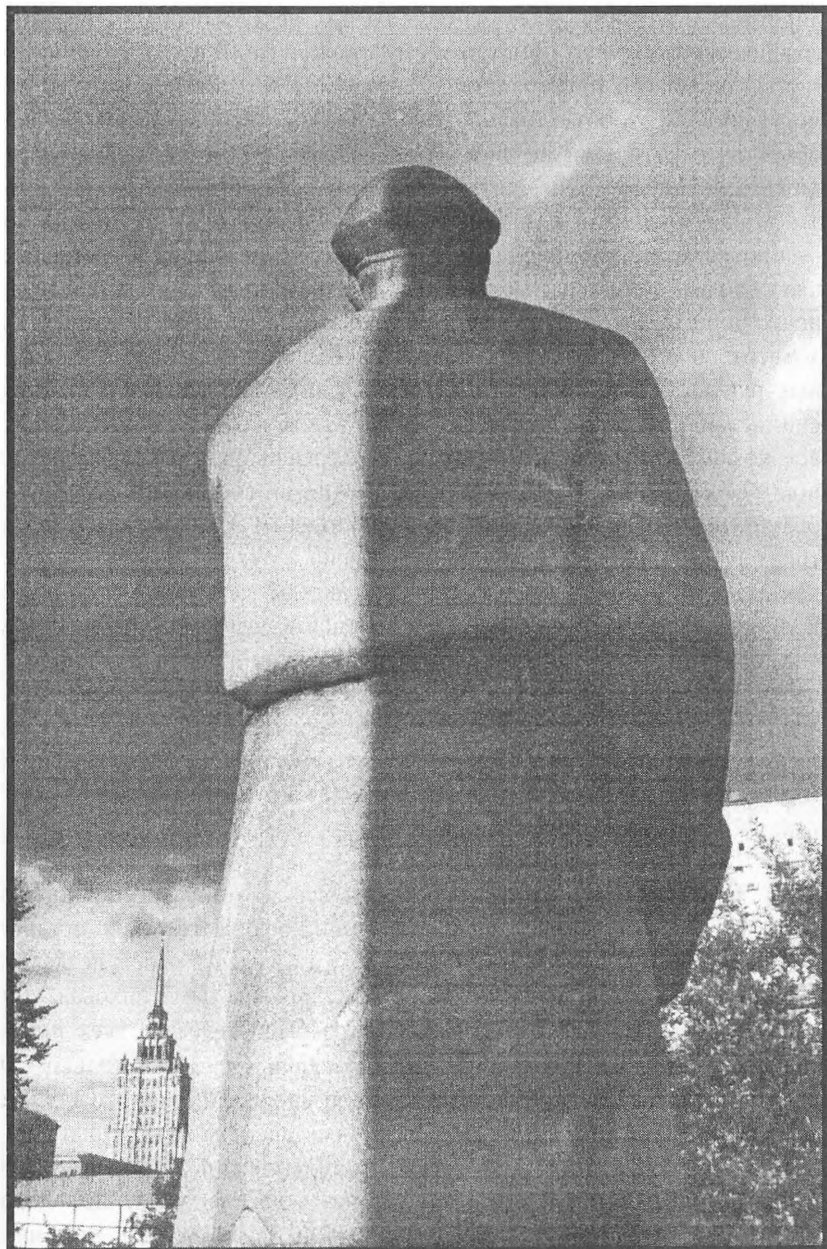
Кременец, 1992



Веря, 1994



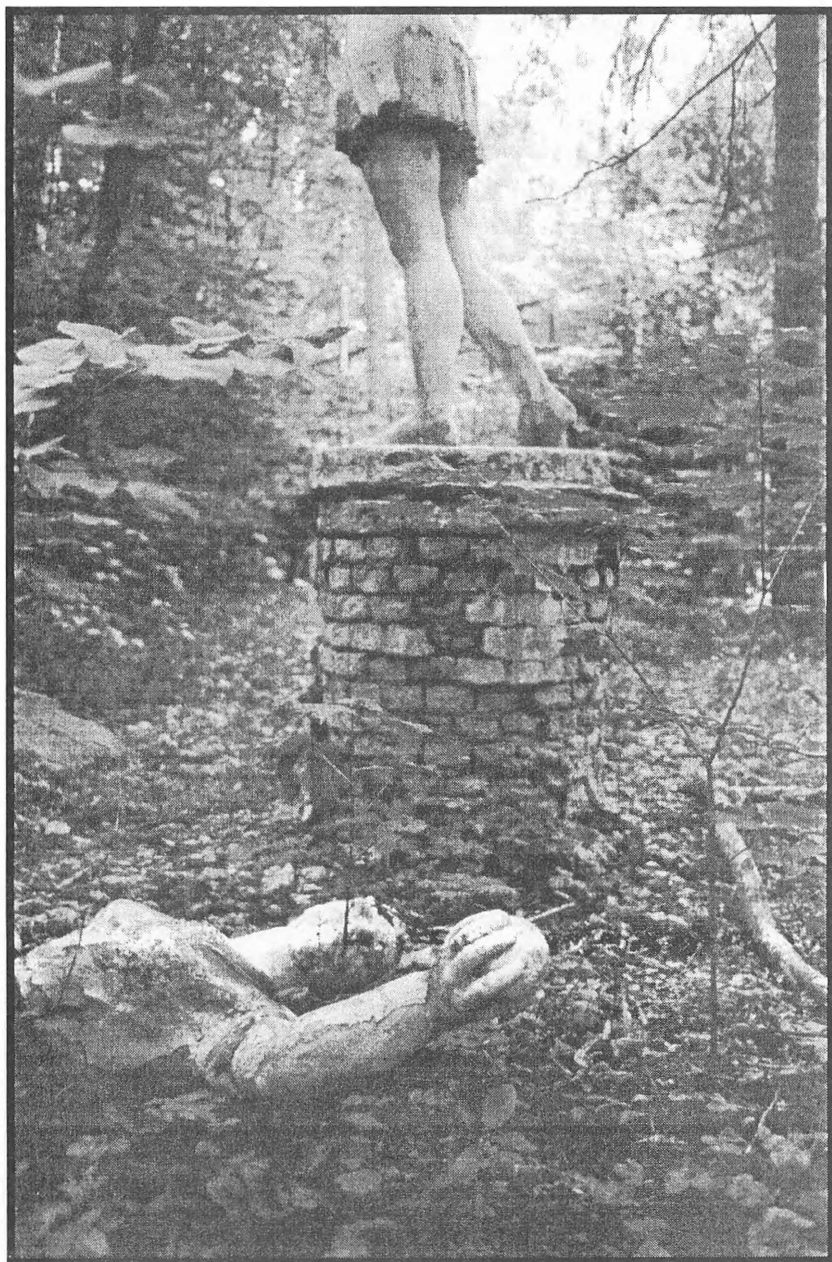
Туапсе, 1993



Москва, 1991

лирическую картину. «Тельман», конечно, не «Джоконда», но фотографическое sfumato помогло и ему стать чуть ли не загадочной фигурой городского пространства. В принципе я готов поверить во всемогущество фотообъектива в руках Мухина. Хотя, наверняка, есть объекты, с которыми не справиться и этому памятникулюбивому художнику. Например, я считаю, что гигантский «вертикальный шашлык» на Тишинской площади абсолютно непобедим. Как говорится, — против лома нет приема. И «Гагарин», вознесшийся и светящийся над городом с его тысячью мелочей, также пугающе застыл как тать в ночи, победоносно блестя своими тевтонскими гранями. Редкая птица долетит до его головы и по-солдатски или по-пингвински напряженных рук-ласт. Видимо, поэтому Мухин с особым тщанием и любовью снимает малую городскую и сельскую пластику, наше ВСХВеВДНХовое хозяйство огромной потемкинской деревни, раскинувшейся на одной шестой Земли. И впрямь, разве можно не сострадать разбитым и облупленным, как пасхальные яички, пионерам и спортсменам в кустиках и на полянках? Даже опостылевший «Лукич» иногда выглядит как «самый человечный человек» за сельским заборчиком или на какой-нибудь трогательной клумбе с увядшими цветами. Это не Христос, конечно, как на обочине дорог в Германии или Польше, но тоже нечто, способное вызвать сострадание к материалу, к напрасно затраченному человеческому труду и к нам самим, вынужденным все это наблюдать годы и годы. Мухин все это чувствует и фотографирует своим гуманным фотоаппаратом, объектив которого не застилают, к счастью, невидимые миру слезы.

Похоже, что он готов проследить все до конца, до полного растворения памятникowych и художественно-оформительских останков в земле и траве. Вообще он весьма последователен в своем исследовательском пафосе. Любая жизнь, в том числе и памятникочная, того заслуживает. Человек из мрамора, человек из железа и всех прочих прочных и вечных материалов весьма любопытен. И не только нам, живущим в начале очередной переходной эпохи. Он будет любопытен и нашим потомкам в более благополучные времена. Стало быть, Мухин — художник не только быстро отшумевшего соцарта, но художник будущего... Чего именно? Термина я не придумал, но, может быть, для черно-белого свидетельствующего искусства это и не



Москва, 1993

обязательно. Термины ветшают еще быстрее памятников, только нет на них сегодня своего прозорливого и вездесущего Мухина.

Удивительно, что наш фотограф работает даже с *тенью* памятников и с оставленными почти нематериальными следами и пятнами от них и окружающих лозунгов и прочего художественного оформления. Тени оказываются не менее информативными, чем «бронзы многопудье» и «мраморная слизь». А уж то, что они намного художественнее самих объектов, сомневаться не приходится. Я не исключаю, что вся наша славная «монументалка» — это вообще только тень, намертво приросшая к лысо-усато-бровастому лицу эпохи развитого социализма, которое исследует Игорь Мухин.

Этому мастеру нужны сегодня не только страницы газет, журналов и каталогов. Серии или «проекты» Мухина лучше всего было бы рассматривать в альбомах и книгах соответствующей толщины, формата и полиграфического качества, а на все это нужен немалый капитал.

С кем вы сегодня, меценаты-спонсоры? Мастера культуры ждут вас...

На этом бы и кончить. Но фигура художника или искусствоведа с протянутой рукой — не мой символ. Работящий и целеустремленный фотограф Мухин тоже не из породы просителей. Даст Бог, народившиеся или нарождающиеся капиталовладельцы сами обнаружат свой культурный интерес. А не обнаружат — что ж, стало быть, оному в их организме пока нет места. Подождем. До XXI века немного осталось.

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

Речь
на церемонии вручения
Пушкинской премии
фонда Альфреда Тепфера

26 мая 1994 года, Москва, МХАТ

У меня есть основания и есть возможность подумать о том, как причудлив и как в общем отраден путь человека. Даже само мое пребывание на этой сцене, оно как бы нечаянно, даже величественно совпадает со всеми зигзагами моего жизненного, житейского сюжета. Да, сцена знаменитого театра, да, когда-то, давным-давно, в незапамятные времена я могла в раннем детстве из публики смотреть сюда на «Синюю птицу» Метерлинка. И сейчас, соотносясь с залом, хорошо различая лица в зале, я могу думать, что волшебный, туманный, синеватый сюжет еще не исчерпан.

Но я уже привадилась к этой премии задолго до того, как мне ее сейчас вручили драгоценные руки Андрея Георгиевича Битова. Дело в том, что для начала я поздравляла тех, кто получил ее до меня, и когда сейчас вспоминаю мои светлые, разные ощущения, я могу причислить их к своим, пусть немногим, но все-таки заметным достоинствам: мне была совершенно присуща черта восхищаться талантами других людей, радоваться их успехам, тем более, что не так часто это случается. И мне кажется, что пусть не главный, но все-таки обязательный признак человеческой одаренности — это любовь к таланту других людей, умение

ликовать по поводу этого счастливого события: восхитительного таланта кого-то другого.

Надо сказать, что Андрей Георгиевич Битов первый получил эту премию, и я вижу в этом высокое счастливое начало. Время было не так к нему благосклонно, и даже вручение этой премии вызвало недовольство официальных кругов. То ли дело сейчас. Я получаю премию, я вижу в зале дорогие для меня лица людей. Со многими, если не со всеми из тех, кто почтил меня своим присутствием, связана вся моя жизнь, ее взлеты и провалы. Вижу всех и благодарю.

Так же хорошо я вижу во втором ряду господина Хельмута Тепфера и еще раз, как и прежде за других, с таким же чувством гордости и радости я благодарю Германию, благодарю Фонд Альфреда Тепфера, радуюсь длящемуся уделу этого человека, который умер в прошлом году на сотом году жизни. Но пока будут лауреаты, пока милость этой премии будет с ними соотноситься, имя Альфреда Тепфера будет длиться, будет действовать во славу Германии и России, во славу их постоянного единения. А что касается этого единения, оно, несомненно, очень ярко, живо, выпукло, потому что великие русские поэты имели пристрастие крови, жизни, сердечной тоски к Германии. Марина Цветаева утверждала, что именно Германия есть родина музыки и поэзии. К ней относилась она наивысшее слияние этих двух музык: музыки и музыки поэзии. По ней всегда она тосковала, ее горю сочувствовала, когда в трагические для Германии и для нее годы, в тридцатые, она заслоняла своим бедственным, сиротским силуэтом образ Германии и говорила, что над всем и всегда образ Германии — «профиль Гёте над водами Рейна», а все остальное — лишь мимолетное несчастье.

Пастернак в юности был взлелеян Марбургом и не однажды это сумрачное и неотъемлемое переплетение культур будет напоминать нам о себе, и хорошо, что и мой скромный опыт так или иначе относится к этому.

Пожалуй, наибольшее слияние этих душ: душ поэзии и поэзии, музыки и музыки являет нам совпадение, столь величественное, столь трагическое: Цветаева и Рильке, Пастернак и Рильке. И если Марина Цветаева с ее попирающей, пугающей силой любви, обожания к корреспонденту, к

собеседнику иногда принимала в руки некую пустоту, потому что собеседник уклонялся, искал укрытия, боясь быть сметенным столь могучей силой чувства, Рильке, с которым она так и не встретилась, один протянул ей ответные руки. И эти руки поэта и поэта, навсегда протянутые друг к другу и не встретившиеся в пространстве, может быть, они и означают союз, который всегда будет занимать наши умы. Вослед великим поэтам, великим людям, и я когда-то написала по поводу музыки, музыкантов «Германия моя, гармония моя...» Это созвучие, непере译имое на немецкий язык, тоже относится к тому, что ощущаю я вместе со всяким слухом, вместе со всяким сердцем, обращенным к искусству и культуре Германии.

Сегодня обстоятельства как бы для меня наиболее благоприятны. Я уже сказала, как я ценю лица, светлое выражение лиц в зале, хорошо различимые в полумраке. Но само собрание вот здесь, на сцене, должно быть исчерпывающе утешительным. Я имею удобный случай поздравить Ольгу Постникову и Зуфара Гареева, моих младших молодых коллег, поздравить их, пожелать им счастливого пребывания в Германии и многих успехов в творчестве. Я радуюсь за их возраст. Не будем думать, что все—таки обязательно поэту, писателю, художнику следует начинать жизнь с гонений, непризнания и со всяких испытаний, подчас неприятных.

Благородная духовная инициатива Германии, Фонда, который называем Фондом Тепфера, особенно драгоценна для нас, потому что мы совсем не избалованы приязнью к судьбе художника, особенно в его молодости. Будем надеяться, что это продлится.

Здесь Олег Чухонцев. Он член жюри, но для меня он, несомненно, соучастник души моей и обитатель моего сердца. Всем известна изысканность и неколебимая чистота его поэзии. И мой друг, дорогой Фазиль Искандер, которого я поздравляла прежде, чем он меня... Андрей Битов... Чего же мне еще желать? Пожалуй, более нечего. Мне остается доказать и вам, досточтимая публика, и вам, мои досточтимые коллеги, что я, надеюсь, по мере жизни не так уж провинилась пред именем Пушкина. Мы все соотнесены с ним, мы все знаем, что каждый говорит, имеет право говорить: «мой Пушкин». Недаром Пушкин вызывает такие живые,

такие страстные чувства: ревности и всяких других сердечных признаний. Вот Андрей Георгиевич утверждает, и я уверена: он не ошибается, что ему однажды довелось видеть, как Александр Сергеевич усмехнулся в его сторону, усмехнулся с приязнью и с несомненной благосклонностью. Булат Шалвович Окуджава видел, как Александр Сергеевич прогуливается... И вот ко всем этим замечательным обстоятельствам прибавляется то обстоятельство, может быть, главное, что 26-е мая по прежнему стилю, но все-таки так, 26 мая — это день рождения Пушкина и что может быть лучше, чем этот день. Наша жизнь, хотя бы в течение года и во все годы нашего житья-бытья так и делится: то мы ужасаемся его гибели в феврале по новому стилю и потом как-то оправляемся от этого страшного несчастья и уже можно готовиться к ослепительному дню его рождения. Так что всегда есть утешение: страдания в феврале и ликование в мае или 6-го июня по новому стилю.

Мне, как и всем, доводилось соотносить себя с Пушкиным. И в моих сочинениях, в моих размышлениях так или иначе присутствует он. Все так и измеряется степенью этой опрятности, опрятности, на которую способен организм, увенчанный умом, какой уж есть. Да вот лишь бы как-то не поступиться этой честью, не посрамить себя не только перед премией, которую все-таки, что и говорить, приятно принять в ладони, но и перед именем, заглавным в нашем сознании, перед именем Пушкина.

Я выбрала кое-что, чтобы прочесть, и Андрей Георгиевич несколько облегчил мою задачу: он прочел несколько моих стихотворений. Поэтому я могу меньше утруждать ваш слух, ваше внимание. Вот стихотворение, которое Андрей Георгиевич Битов упомянул, называется «Сад-всадник». Я его и собиралась прочесть, рада, что я еще раз попробую угодить Битову, но также есть и другие причины, потому что это стихотворение совпадает с темой, которая и сама по себе здесь живет, и мною объявлена: тема музыкального совпадения Германии и России, России и Германии.

Я скажу лишь несколько слов о происхождении этого стихотворения. Оно написано в тарусском уединении, как раз на том, приблизительно на том месте, где желала быть похоронена Марина Ивановна Цветаева. Мне довелось там какое-то время жизни снимать дом, дом, расположенный на месте бывшего кладбища. Там есть сад, впадающий в

Оку, и обстоятельства природы, погоды, мысли о Цветаевой, о Цветаевых — пестовали и понукали это стихотворение к рождению. Оно имеет эпиграф из Марины Цветаевой и, несомненно, связано с нею, и даже не вообще с ее образом, а с одним ее сочинением, сочинением изумительным. Это эссе, посвященное «Лесному царю» Гёте. Сочинение так и называется «Два Лесных царя Гёте». Марина Цветаева сравнивает всем известный с детства перевод Жуковского и немецкий подлинник, и этот анализ кружит голову, он поражает чувством языка, немецкой речи и русской речи, и все это доходит до сгущения и смешения такой силы, что нечего удивляться, если какой-то отзвук появляется и какое-то стихотворение является всего лишь последствием этого чтения. Это мое стихотворение, которое называется «Сад-всадник», робкое и подобострастное посвящение Гёте, чье имя, чей «профиль над водами Рейна» и воплощают для нас величие и бессмертие культуры и истории Германии. «Das wahrhaftig Schöne sich dadurch auszeichnet, daß der ganzen Menschheit angehört» в переводе на русский «истинно прекрасное принадлежит всему человечеству». Гёте. Стихотворение таково:

САД-ВСАДНИК

*За этот ад,
за этот бред
пошли мне сад
на старость лет.*

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Сад-всадник летит по отвесному склону.
Какое сверканье и буря какая!
В плаще его черном лицо мое скрою,
к защите его старшинства приникая.

Я помню, я знаю, что дело нечисто.
Вовек не бывало столь позднего часа,
в котором сквозь бурю он скачет и мчится,
в котором сквозь бурю один уже мчался.

Но что происходит? Кто мчится, кто скачет?
Где конь отыскался для всадника сада?
И нет никого, но приходится с каждым
о том толковать, чего знать им не надо.

Сад-всадник свои покидает уголья
и гриву коня в него ветер бросает.
Одною рукою он держит поводья,
другую мой страх на груди упасает.

О, сад-охранитель! Невиданно львиный
чей хвост так разгневан? Чья блещет корона?
— Не бойся! То — длинный туман над равниной,
то — желтый заглавный огонь Ориона.

Но слышу я голос насмешки всевластной:
— Презренный младенец за пазухой отчей!
Короткая гибель под царскою лаской —
навечнее пагубы денной и ночной.

О, всадник родитель, дай тьмы и теплыни!
Вернемся в отчизну обрыва-отшиба!
С хвостом и в короне смеется: — Толпы ли,
твои ли то речи, избранник-ошибка?

Другим не бывает столь позднего часа.
Он впору тебе. Уж не будет так поздно.
Гнушаюсь тобою! Со мной не прощайся!
Сад-всадник мне шепчет: — Не слушай, не бойся.

Живую меня он приносит в обитель
на тихой вершине отвесного склона.
О, сад мой, заботливый мой погубитель!
Зачем от Царя мы бежали Лесного?

Сад делает вид, что он — сад, а не всадник,
что слово Лесного Царя отвратимо.
И нет никого, но склоняюсь пред всяким:
все было дано, а судьбы не хватило.

Сад дважды играет с обрывом родимым:
с откоса в Оку, как пристало изгою,
летит он нырятьщиком необратимым
и увальнем вымокшим тащится в гору.

Мы оба притворщики. Полночью черной,
в завремение позднем, сад-всадник несется.
Ребенок, Лесному Царю обреченный,
да не убоится, да не упасется.

Я держу в руках маленькую книжку, она усилиями опытного питерского подвижника, любителя словесности только что вышла в Ленинграде, в Петербурге. Книжка невелика, изящно издана, называется «Ларец и ключ». Когда на нее гляжу вчуже, я думаю, что расхожее присловье «а ларчик просто открывался» навряд ли применимо к этому ларчику смугло-зеленого цвета. Дело в том, что стихотворения, собранные в этом маленьком сборнике усилиями, как я сказала, доброжелателя, искупают провинность моей молодости. Я много времени проводила на эстраде, и это известно. Я знаю многих людей, скучающих по тому времени, которое принято величать «шестидесятые годы». Я не разделяю этой печали, этой тоски. Я понимаю, что люди скорее скучают по своей молодости, по видимости единства, когда публика в больших количествах собиралась для слушания поэтов. На самом деле понятно, что поэзия не есть способ завораживать множество людей своей пусть даже пригожей, пусть даже благородной интонацией. Все-таки другое соотношение писателя и читателя наиболее правильно. Эти стихи уместнее, если их читать не вслух, а если их читать глазами. Но тут есть одно небольшое стихотворение. И я его прочту, тем более, что я знаю, что и так милостивый ко мне Андрей Битов к этому стихотворению тоже относится с симпатией.

ОДЕВАНИЕ РЕБЕНКА

Ребенка одевают. Он стоит
и сносит — недвижимый, величавый —
угодливость приспешников своих,
наскучив лестью челяди и славой.

У вешалки, где церемониал
свершается, мы вместе провисаем,
отсутствуем. Зеницы минерал
до-первобытен, свеж, непроницаем.

Он смотрит вдаль, поверх услуг людских.
В разъятый пух продеты кисти, локти.
Побыть бы им. Недолго погостить
в обители его лилейной плоти.

Предаться воле и опеке сил
лелеющих. Их укачаться зыбкой.
Сокрыться в нем. Перемешаться с ним.
Стать крапинкой под рисовой присыпкой.

Эй, няньки, мамки, кумушки, вы что
разнюнились? Быстрее одевайте!
Не дайте, чтоб измыслие вошло
поганым войском в млечный мир дитяти.

Для посягательств прыткого ума
возбранны створки замкнутой вселенной.
Прочь, самозванец, званный, как чума,
тем, что сияло и звалось Сиеной.

Влекут рабы ребенка паланкин.
Журчит зурна. Порхает опахало.
Меня — набег недуга полонил.

Всю ночь во лбу несло и полыхало.

Прикрыть глаза. Сна гобелен соткать.
Разглядывать, не нагляжусь покамест,
палаццо Пикколомини в закат
водвинутость и вогнутость, покатость,

объяття нежно-каменный зажим
вкруг зрелища: резвится мимолетность
внутри, и Дева-Вечность возлежит,
изгибом плавным опершись на локоть.

Сиены площадь так нарек мой жар,
это его наречья идиома.

Оставим площадь — вечно возлежать
прелестной девой возле водоема.

Врач смущена: — О чем вы? — Ни о чем.
В раззор весны ступаю я с порога
не сведущим в хожденьи новичком.
— Но что дитя? — Дитя? Дитя здорово.

И в завершение моего благодарственного выступления, невятный смысл которого и есть всего лишь признательность всем, кто причастен этому радостному для меня событию. Но чтобы порадовать вас и себя, я буду следовать своей же, мною придуманной традиции: на торжестве такого рода, а именно на вручении Пушкинской премии, я всегда читала не свои стихи, а стихи Александра Сергеевича Пушкина. Пожалуй, всего угоднее мне читать стихи, написанные Пушкиным в последнее время жизни, стихи, которые всегда поражают и волнуют нас, стихи, состоящие из мысли о смерти, столь робкой, столь прозорливой, столь величественной, столь достаточной для того, чтобы и мы имели какую-то прыть размышлять о смерти. У меня где-то было в стихах: «Еще спросить возможно: Пушкин, милый, зачем непостижимость пустоты ужасною воображать могилой, не проще ль думать: это там — где ты?» Действительно, жаль в конце жизни, расставшись с Пушкиным, стать к нему ближе, может быть, так и есть?

Хочу прочесть столь любимое мной стихотворение. Я, по правде говоря, никогда не слышала, чтобы его читали вслух другие люди, артисты. Я не слышала, но зато я знаю, какие замечательные люди, мои друзья и коллеги, любили это стихотворение. И, может быть, это и будет как раз то место, где я должна вспомнить тех замечательных людей, тех замечательных писателей, которые не так давно или не вполне известны публике, но я их знаю, помню и люблю. Они не получали Пушкинской премии. Эти имена столь важны для меня, никакая милость судьбы, кроме значительной, Божьей милости, на них не распространилась. Я назову три имени: Веничка Ерофеев, Владимир Кормер, Евгений Харитонов. Я видела, с какой доблестью сносили они все, что выпало на их долю, с какой доблестью и с какой усмешкой. Чудное выражение этого смеха, смеха в обстоятельствах, совсем не поощряющих уста к улыбке или усмешке. С любовью к этому стихотворению и с любовью к этим писателям — прочту. Я знаю, как Владимир Кормер любил это стихотворение. Сама всегда наслаждаюсь, когда его читаю про себя, а сейчас попробую прочесть вслух. Я уже говорила, что Пушкина на всех достанет, и разного Пушкина: и думающего о смерти, и Пушкина прозрачно-веселого, смешливого, игривого, столь желанного для нас, чтобы улыбаться, чтобы ликовать. Стихотворение называется «Гусар», 1833-го года.

(Читает стихотворение «Гусар».)

ВЯЧЕСЛАВ СЫСОЕВ

К 78-ой годовщине Великого Октября

Советскую власть можно сравнить с человеком, который прожил долгую, тяжелую, мучительно бессмысленную жизнь и скончался в возрасте 74 лет, оставив наследство, которое тут же стало разворовываться родственниками-мародерами.

Кажется, что тут нового? Ну, умер больной в августе 91-го года, похоронили покойного и все. Хотелось бы верить, что это так, но не получается. Не получается, потому что все знают: вчерашние товарищи стали господами и пересели из «волг» и «чаек» в роскошные «иномарки». Это не значит, конечно, что в стране ничего не изменилось. Например, раньше было опасно высказывать вслух свои мысли, а теперь — не опасно. Или — не всегда опасно. Не было раньше «сникерсов», челночников, «МММ». И оружия в частном пользовании. И такой крови. Все государственные структуры развалились. Впрочем, нет. Есть одна структура, силовая, которая осталась, сменив название. Ее сегодня называют ФСБ, совсем недавно она называлась ФСК, перед этим — МБР, а еще перед этим — КГБ.

С семантической точки зрения интересно:

ФСБ (Федеральная Служба Безопасности) — женского рода.

ФСК (Федеральная Служба Контрразведки) — женского рода.

МБР (Министерство Безопасности России) — среднего рода.

КГБ (Комитет Государственной Безопасности) — мужского рода.

Значит ли это, что органы стали более женственными?

Не стоит думать, что на Лубянке ничего не изменилось. Музей КГБ открылся для широкого посещения. Как тонко шутят сотрудники-гиды, «раньше вопросы в этих стенах задавали мы, а теперь можете задавать вы». Посетители этой кунсткамеры с изумлением узнают, что чекисты, оказывается, были главными жертвами «необоснованных репрессий времен культа личности».

Чекисты выступают по телевидению. Правда, отношения у них с журналистами какие-то странные. Последние хотят разоблачить козни работников щита и меча. Те на прямые вопросы не отвечают и грозят:

— Мы на вас в суд за клевету подадим

В Москве все здания любимой Организации, расплзшиеся от Лубянской площади до Садового кольца, стоят на месте и принадлежат прежним хозяевам. Несмотря на объявленное сокращение штатов, никто не собирается оттуда выселяться. Руководство ФСБ заявляет, что ведет контрразведывательную работу, борется с организованной преступностью и терроризмом и занимается другими полезными для народа делами. Но вот в очередной раз злобедная пресса поднимает шум — опять беззаконие, опять КГБ! Что произошло?

11 мая 1995 года был арестован в Москве бывший капитан КГБ Виктор Орехов. В брежневские годы он провел восемь лет в лагерях за то, что помогал диссидентам. Вторично он был арестован за хранение неисправного пистолета. Причем, в деле



Виктор Орехов. Фото из газеты «Экспресс-хроника».

сначала фигурировал пистолет с двумя номерными знаками, запакванный в пластиковый пакет, а позже — пистолет с одним номерным знаком и конверт другого цвета. Показания Орехова о неисправности оружия к делу приобщены не были. В середине сентября этого года Орехов был приговорен к трем годам лагеря строгого режима по статье 218 УК РФ (хранение огнестрельного оружия). Орехов находится в Краснопресненской пересыльной тюрьме, недавно был избит охранником и сейчас лежит в санчасти с обострением язвы и болезни печени. Условия содержания в санчасти просто санаторные — 6 коек на 8 человек. Перед этим он содержался с 45-ю заключенными в камере, рассчитанной на 20 человек. Журналисты, наблюдавшие за процессом, адвокаты и правозащитники считают, что весь процесс — повторная месть КГБ Орехову за его прошлую деятельность. Касационный суд всего лишь снизил срок заключения — год вместо трех.

16 октября прошлого года молодая поэтесса Алина Витухновская (22 года) была арестована в Москве, на станции метро «Речной вокзал». Свидетелями ее преступления явились два наркомана, которые дали показания в милиции, что именно у нее они купили четыре дозы наркотика ЛСД (на сумму в 7 долларов). После этого свидетели были отпущены. В комнате Алины во время обыска (в ее отсутствие) были обнаружены еще два пузырька с наркотиками. Все это время она находилась в женском отделении Бутырской тюрьмы. Суд неоднократно откладывался и переносился. Когда же он начался, стало ясно всем присутствующим, что «дело» разваливается. Тут в зале суда и появился начальник отдела ФСБ РФ по борьбе с наркотиками полковник Воронков. Оказалось, что его отдел задолго до ареста интересовался Алиной Витухновской. Обеспечивал наружное наблюдение, прослушивал телефонные разговоры. Спрашивается, какой интерес представляет молодая, красивая и талантливая, по утверждению тех, кто читал ее стихи, поэтесса для органов безопасности?

Ответ дает она сама. Вот текст записки, сделанной в тюрьме, и оглашенной на процессе: «...Когда они приходили ко мне в тюрьму, они постоянно делали упор на то, что весь процесс управляется ими от начала до конца, что судьи, прокуроры, вся эта система — полностью подвластная им структура... Когда эти двое «милосердно» уговаривали меня дать



Алина Витухновская перед залом суда.

информацию о злоупотребляющих наркотиками детях влиятельных лиц — политических деятелей, финансистов, людях искусства, богемы, так называемого «высшего света», — я долго не могла понять, зачем все это.

Они уже привычно посмеялись и буквально говорили следующее: «Подобного рода информация — всегда готовая бомба для уничтожения

или устранения любого папы или мамы посредством компромата на их детей... Ведь скоро выборы...»

За день до годовщины заключения Алина Витухновская выпущена под подписку о невыезде — до начала нового судебного разбирательства. Немалую роль в ее освобождении сыграл, несомненно, Русский ПЕН-Центр, выдвинувший четырех общественных защитников, и журналисты, многократно писавшие о деле поэтессы.

Ширали Нурмурадов — известный туркменский поэт, правозащитник. Когда началась перестройка, туркменское КГБ арестовало Нурмурадова. Два года он отсидел в российском лагере, в Мордовии. После освобождения он остался в России, поскольку узнал, что будет арестован снова, если вернется домой.

Он почетный член Русского ПЕН-Центра. Получил в 1995 году литературную премию имени Тухольского за свои стихи, от Шведского ПЕН-Клуба. 21-го сентября 1995 года он был арестован мытищинским ОМОНОм. Милиция ворвалась в дом, который он снимал, через 15 минут после того, как оттуда буквально бежал некий знакомый Шурали Нурмурадова, посланец из солнечного Туркменистана, оставивший на кухне хозяина несколько пакетов с наркотиками. Сам поэт убежден, что это провокация туркменской службы безопасности, охотящейся за диссидентом с ведома и согласия ФСК РФ. В следственном изоляторе Ш.Нурмурадову было предъявлено обвинение по ст. 224 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели реализации).

Следователь милиции позднее сообщил адвокату, что его посетил майор туркменской госбезопасности, потребовавший выдать Нурмурадова, против которого на Родине возбуждено уголовное дело — по факту распространения наркотиков.

После вмешательства Русского ПЕН-Центра, кампании в российской и западной прессе в защиту Нурмурадова, он освобожден от суда за недостаточностью улик.

Небезинтересен и случай с известным журналистом из «Московского комсомольца» Александром Минкиным. 24 сентября поздно вечером он был избит у подъезда своего дома. По его словам, он не может сказать, чьих это рук дело. Конечно, не случайных хулиганов. «Если бы я

я писал только о Ельцине, Грачеве, Жириновском, ФСБ, МВД — я мог бы вычислить, кто это сделал. Но поскольку я писал Бог знает про кого — совершенно не могу определить «источник». Сдается, что и тут не обошлось без неких силовых структур. Возможно, что ФСБ в данном случае никак не замешана, но остается вопрос: чем же в действительности занимается эта могущественная структура? Год назад, после убийства другого журналиста «МК» Дмитрия Холодова, президент заявил, что берет его дело «под контроль». Преступление до сих пор не раскрыто. А ФСБ помогла президенту, вывела его на какой-то след?

С каким чувством, хочется спросить с ностальгической ноткой волнения, встречаем мы 78-ую годовщину Октября?

И выражаясь тем же ностальгическим языком, ответим — с чувством глубокого неудовлетворения, обиды за Державу, с чувством неуверенности в ее завтрашнем дне. Особенно в преддверии выборов.

И если уж говорить серьезно, мало надежд, что ФСБ поможет державе.

Но изменения, действительно, произошли. КГБ раньше никогда не выпускало своих жертв. Теперь ФСБ действует с оглядкой, вынужденно отступая иногда под напором средств массовой информации.

Кажется, что только свобода печати и осталась от августовской революции 1991 года.

Мы помним, что почти 80 лет назад произошел октябрьский переворот. Вспомнят ли наши внуки об августовской революции? Впрочем, пусть лучше вырастут, ничего не зная обо всей этой жизни. Не придется краснеть за своих дедов, творивших такое...

АНОНИМ

Анатомия Лжи

Журналистское расследование

ОТ РЕДАКЦИИ

Эта вещь попала в наш почтовый ящик неизвестным способом. Как и в старые добрые времена, автор ее предпочел не открывать своего лица. Ознакомившись с предлагаемым текстом, редакция признает его право на такой поступок.

Война в Чечне вызвала массу мнений, суждений и толкований. Она выявила несовершенство многих механизмов принятия важнейших решений и способствовала расколу нашего общества. Сегодня сложно предсказать ее последствия — экономические, военные, внешнеполитические, но они, безусловно, будут. Возможно, будут и уголовные. Ведь не напрасно сегодня создаются комиссии и заводятся уголовные дела.

В этих условиях немаловажное значение имеет подготовка общественного мнения. Она уже началась. Появились любители не только подсудачить на эту тему, но и обвинить того или иного гражданина нашей страны.

Таким обвинителям стоит напомнить статью 49 нашей Конституции:

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.»

Не лишним будет изучить и статьи 130, 180 и 181 Уголовного кодекса, в которых предупреждается, что клевета, ложный донос и ложное показание наказываются лишением свободы на срок от одного до семи лет, в зависимости от формы и метода этого деяния.

Теперь о конкретике. Зададимся вопросом: а почему с 1991 года российские структуры власти и правоохранительные органы не занимались серьезно и настойчиво решением чеченской проблемы?

Гипотетических ответов может быть несколько:

а) Признали суверенитет Чечни? Нет, не признали!

б) Пытались не замечать Дудаева? Возможно. Но почему в этом случае наши власти решили не замечать полуторамиллионного населения в этом субъекте России?

в) Кому-то было выгодно иметь такое положение «неопределенности», чтобы, паразитируя на нем, решать собственные проблемы — нефть, фальшивые авизо и т.п.

г) Пытались организовать оппозицию? Накачать ее мускулами и ее же силами свергнуть Дудаева? Вероятнее всего!

Ибо к концу 1993 года оппозиция и появилась, и окрепла. В 1994 году она вооружилась и начала вести боевые действия против Дудаева. Пролилась кровь.

В сентябре 1994 года ряд граждан обращаются к Президенту России.

ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Б.Н.ЕЛЬЦИНУ
ОБРАЩЕНИЕ

Глубокоуважаемый Борис Николаевич!

Будучи чрезвычайно обеспокоенными развитием событий в Чечне, гибелью наших соотечественников, мы призываем Вас сделать решительный политический шаг, который может сделать только Президент России

— пригласить Президента Чеченской Республики Д.М.Дудаева для переговоров.

Мы с тревогой наблюдаем акции тех сил, которые поощряют линию на усиление конфронтации. Сегодня нет таких политических целей, которые оправдали бы кровопролитие на Северном Кавказе. Народы России, прежде всего чеченский народ — будут благодарны Вам за миротворческую инициативу.

Пономарев Л.А.
Попов Г.Х.
Старовойтова Г.В.
Шапошников Е.И.
сентябрь 1994 года

Очевидно, эти люди рассуждали так: если бы Президент России договорился с Дудаевым по статусу Чечни в составе Российской Федерации, то выиграл бы Ельцин, если бы не договорился, то у него были бы развязаны руки.

Реакции на это обращение не последовало. Ельцин слушал других советчиков. Конфликт разгорался.

Необходимо было всеми силами остановить эту кровь. Отсушить руки от рукопожатий на переговорах, износить не одну пару обуви, потратить силы и нервы, но не допустить бойни.

Но кому хочется тратить свои силы и свои нервы во имя людей в наше время? Лучше потратить чужие.

Кульминация наступила 26 ноября 1994 года, когда была организована танковая атака на Грозный, закончившаяся полным провалом. Нам стало известно, что в боевые порядки оппозиции были внедрены десятки наших военнослужащих. Часть из них отступила, другая погибла, третья пленена. Получился конфуз.

Как вели себя руководители некоторых силовых ведомств? Мягко говоря — позорно.

Приведем «исторические» заявления по этому поводу одного из них — Министра обороны Российской Федерации:

«Я вообще не интересуюсь тем, что происходит в Чечне!»
«Наших военнослужащих там нет».

«Российские самолеты Чечню не бомбят».

Резюме — бойкое отрицание всего и вся, переходящее в критическую оценку происходящего: «Вводить танки в город — верх непрофессионализма».

После чего ничем не обоснованная бравада: «Если бы надо было взять Грозный, то одним парашютно-десантным полком эта задача была бы решена за два часа».

По мере того, как пробуждалось общественное сознание, менялся и смысл «исторических» заявлений:

«Там нет наших военнослужащих — это наемники».

«Возможно, кто-то и был, ведь Вооруженные Силы это не взвод!»

Постепенно характеристика участников ноябрьской драмы сменилась на добровольцев.

Таким образом, налицо была незаконная передача не только техники и вооружений, но и военнослужащих Российской армии.

Нужно было принимать меры к виновникам провала. Но Россия — страна непредсказуемая. Все эти вопросы заглушил грохот орудий.

Мы впоследствии узнали, что 29 ноября Совет Безопасности Российской Федерации принимает решение разрешить все проблемы военным путем.

Создается группировка войск. Нам всем известно, что на 12 декабря были назначены переговоры во Владикавказе, что срок ультиматума о сложении оружия конфликтующими сторонами истекал 15 декабря.

Но что-то где-то, а может быть, и у кого-то не сработало, и 11 декабря войска вводятся на территорию Чечни с трех направлений.

Президента укладывают в больницу, очевидно, с заверениями, что победа будет обеспечена в течение одной недели. Очень похоже на ГКЧП-2.

В России начинается война, но блицкрига не получилось.

В дело были введены десятки полков, обещанные два часа истекли сотни раз, а потери наших войск стали серьезно беспокоить страну.

Необходимо было отвлечь внимание общественности от первоначальных неудач чем-то другим. Ей преподносится вопрос о том, кто же вооружил Дудаева, где же этот злодей? Среди кандидатов на эту роль несколько раз был назван маршал Е. Шапошников, который, будучи Министром обороны СССР, а затем и Главкомом Объединенными Вооруженными Силами СНГ, якобы не уберег оружие и передал его Дудаеву.

Разберем эту ситуацию подробней.

Маршал Е.Шапошников молчал до 8 января 1995 года, пока в средствах массовой информации прямо или косвенно не было названо его имя. 8 января он выступил в программе «Вести» и приоткрыл ход событий по оружию. В своем выступлении он, сославшись на номер и дату документа, сказал, что окончательную точку в передаче оружия Дудаеву поставил П.С.Грачев 28.05.92 будучи Министром обороны России. Вот текст этого документа:

«КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СКВО
(ЛИЧНО)

На № 3/495ш от 20.05.92 года

Разрешаю передать Чеченской Республике из наличия 173 гв. оуц боевую технику, вооружение, имущество и запасы материальных средств в размерах:

- боевую технику и вооружение — 50%
- боеприпасы — 2 бк,
- инженерные боеприпасы — 1-2%

Автомобильную, специальную технику, имущество и запасы материальных средств реализовать по остаточной стоимости на месте.

П.Грачев

28.05.92 года

№316/1/0308ш»

Пресс-служба ФСК на третий день дает пояснение, что вопрос об оружии не является важным и первоочередным. В то же время на квартире у Шапошникова отключаются телефоны Правительственной связи.

Министерство обороны России ровно через 10 дней в газете «Красная Звезда» делает заявление, в котором признает, что такой документ действительно был, но это вынужденная мера и является свидетельством бездействия союзного, а затем российского правительства и лично бывшего Министра обороны СССР, впоследствии Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами СНГ.

Вернемся к хронологии. П.С.Грачев не только был первым заместителем Министра обороны СССР, но с октября 1991 года он был и Председателем Государственного Комитета Российской Федерации по обороне. (Указ Президента России №164 от 29.10.91 г.)

Следовательно, он имел ранг члена Правительства Российской Федерации и, очевидно, именно поэтому он и вел переговоры с чеченской стороной. Грачев выезжал в Чечню в декабре 1991 года и в феврале 1992 года. Шапошников ни разу там не был.

После декабрьской поездки Грачева в Чечню (еще в условиях СССР) Шапошников дает в войска директиву следующего содержания:

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ СУХОПУТНЫМИ ВОЙСКАМИ,
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Прошу совместно с правительством Чечено-Ингушской республики определить перечень первоочередных взаимоприемлемых мер, направленных на разрешение проблемных вопросов жизни и деятельности войск на территории республики, а также о призыве граждан чеченской национальности на действительную военную службу в другие регионы страны.

Главнокомандующему Сухопутными войсками дать указание об изъятии запасов оружия и боеприпасов, хранящихся на складах воинских частей, расположенных на территории республики, и вывода их на центральные арсеналы и базы.

О принятых мерах доложить.

Е.Шапошников

13.12.91 г.

№312/1/0307ш»

Других указаний маршала по поводу оружия в Чечне мы не видели. Да и вряд ли они существуют.

Очевидно «забыв» о принадлежности Грачева к Правительству России или желая насолить своему Министру, Министерство обороны Российской Федерации обвиняет Правительство России в бездействии в своем заявлении.

Нам известно, что Государственный комитет России по обороне осенью 1991 года далеко не бездействовал и всячески стремился «укрепить обороноспособность» России за счет придания себе собственного веса. Шапошников, как мог, боролся против подобного сепаратизма, но после Беловежского соглашения он потерял юридическое право управлять и командовать Вооруженными Силами. Об этом красноречиво свидетельствует Алма-Атинская декларация Совета глав государств СНГ

от 21.12.91: «Содружество не является ни государством, ни надгосударственным образованием».

Следовательно, если оружие разворовывалось в 1992 году, то это один из субъектов России воровал у России. Здесь опять есть вопросы к Правительству России, членом которого был и остается П.С.Грачев.

30 декабря на Совете Глав Государств Содружества в Минске был поставлен вопрос о разделе Вооруженных Сил бывшего Союза. Из всех военачальников Шапошников протестует один и, не получив поддержки, подает рапорт об отставке.

«Главам Независимых Государств
РАПОРТ

В связи с тем, что Союз ССР прекратил свое существование, принимая во внимание, что после упразднения Министерства обороны СССР нет единого подхода в строительстве коллективной обороны и безопасности СНГ, учитывая, что отсутствует переходный период в решении вопросов создания Вооруженных Сил некоторыми государствами СНГ, что может вызвать взрыв в среде военнослужащих, страдания членов их семей, прошу снять с меня полномочия ГК ОВС СНГ и уволить из рядов Вооруженных Сил установленным порядком. Участвовать в этом не желаю.

30.12.91 г.

Е.Шапошников»

Другие, мечтавшие о министерских креслах, промолчали. Ситуация повторяется на офицерском собрании в январе 1992 года. Тогда офицеры требовали сохранить СССР, оставить едиными Вооруженные Силы, а всех президентов СНГ приглашали на это собрание в ультимативной форме. Они также потребовали отставки Шапошникова.

Шапошников понимал, что президенты государств Содружества избраны народом. Эти избранники, возможно и неправильно, но, действуя от имени своих избирателей, упразднили СССР. Другие избранники — депутаты Верховных Советов СНГ и прежде всего России ратифицировали (то есть утвердили) эти соглашения и денонсировали Союзный договор 1922 года. Президент СССР М.Горбачев согласился с этими решениями и 25 декабря ушел в отставку.

Понимая, насколько была взрывоопасной ситуация, Шапошников уберег армию от кровопролития, а такие и намеки, и требования были.

Не случись этого, неизвестно, сколько бы мы пролили крови, борясь за единую страну и единые Вооруженные Силы при помощи тех же Вооруженных Сил. Не предсказуемым был бы и результат. Общеизвестные эпизоды в Баку, Тбилиси, Вильнюсе могут свидетельствовать о безумии таких шагов. Гипотетически к этому можно добавить Ригу, Таллин, Киев и т.д.

Не испугавшись требований об отставке, Шапошников выдвигает и отстаивает идею объединенных Вооруженных Сил СНГ. Он верит в Содружество и не хочет признавать, что нас можно разделить границами, присягами, что можно разрушить единую систему ПВО, ПРО и многое другое. Нам известны многие его и заверения и обращения по этим вопросам.

Российским структурам становится понятно, что Шапошников им не подходит. По их мнению, СНГ ему было дороже России.

Начинаются поиски Министра обороны России. 16 марта 1992 года Президент России возлагает эти функции на себя (Указ Президента № 252).

П.С. Грачев, оставаясь в должности Председателя Государственного комитета России по обороне, 3 апреля 1992 года становится и Первым заместителем Министра обороны Российской Федерации (Указ Президента № 356). Известно, что Дудаев издал свой указ о переводе под юрисдикцию Чечни вооруженных формирований России 31 марта 1992 года.

В начале апреля 1992 года на Шестом съезде народных депутатов России маршал Шапошников сделал доклад о проблемах Вооруженных Сил и СНГ, и России. Очевидно, что некоторые увидели в этом выступлении заявку на министерский пост. Наверное поэтому в период работы съезда программа «Вести» с чьей-то подачи заявила о том, что над российскими гарнизонами в Чечне вывешены государственные флаги Чеченской Республики по указанию маршала Шапошникова. Из доклада начальника Грозненского гарнизона генерала Соколова, с которым в ту же минуту связался маршал Шапошников, следовало, что это ложь и провокация.

Вопрос — кому это выгодно, остался открытым. Шапошникову никто не пояснил, кто был инициатором этой лжи.

Другие лженосители и лжераспространители, забыв о своей роли в утверждении Беловежских соглашений, не устают обвинять Шапошникова в причастности к развалу СССР. Поднимите итоги голосования Верховного Совета России по этому вопросу от 13 декабря 1991 года и

станет ясно, кто утверждал этот развал. Некоторые из них до сих пор заседают в Госдуме России и выставляют себя в роли величайших патриотов.

Сегодня много говорится о том, что к весне 1992 года все оружие, хранящееся на складах в Чечне, было разворовано.

Приведем свидетельские показания бывших военнослужащих, проходивших в то время службу на территории Чечни.

Рассказывает подполковник Николай П., ныне пенсионер: «Сейчас мы слышим по радио и телевидению, что, мол, основная часть вооружения захвачена Дудаевым осенью 1991 года. Враки это!.. именно в июне 1992 года и вооружились дудаевцы нашим оружием».

Свидетельствует старший прапорщик Михаил М.: «Свидетельствую, что всю весну 1992 года все склады стояли опечатанными. Ни завоза, ни вывоза оружия не было. Это сейчас некоторые политики шумят: мол, там и охранять было нечего. Было! Да еще сколько!»

А вот выдержки из официального письма, представленного Верховному Совету России во второй половине 1992 года Генеральным прокурором России В.Г.Степанковым, о положении в Чеченской Республике: «...С разрешения Министра Обороны Российской Федерации П.С. Грачева командованием СКВО был подписан с Дудаевым договор о выводе войск и распределении имущества, согласно которому Чечне передавалась половина боевой техники и вооружения.

...В результате на территории Чечни осталось вооружения, техники и военного имущества на сумму 1 миллиард 110 миллионов рублей (это в тех ценах).

По изложенному вопросу Министр обороны П.С.Грачев пояснил, что передача оружия и военной техники была согласована с Президентом России.»

Вспомним дело о мерседесах. Там тоже П.С.Грачев говорил, что они приобретались с разрешения Президента. Что должен еще заявить Министр обороны, чтобы Президент наконец-то понял, кто такой Грачев?!

Сейчас возникло еще одно дело, связанное с многомиллионными счетами Министерства обороны России за рубежами нашей страны.

В соответствии с документами, которыми мы располагаем, президент не разрешал Министерству обороны иметь валютные счета в

иностранным государстве. Неужели и по этим вопросам Грачев будет ссылаться на Президента?! Или изречет еще раз свою знаменитую фразу: «Я удивлен на Ваш вопрос». Но это к слову.

Вернемся к оружию.

Что еще здесь расследовать. Как говорится, комментарии излишни. Г.Попов пишет в «Известиях», что сегодня у дудаевцев имеется оружие 1993 года и даже 1994 года выпуска.

Даже господин Проханов, которого нельзя заметить в симпатиях к Шапошникову, пишет о том, что русских солдат в Чечне, посылаемых в бой Грачевым, он же (Грачев) и убивает оружием, которое передал Дудаеву.

Можете почитать и более свежие показания, приведенные А.Масхадовым в «Московском комсомольце» от 28 февраля и М.Темишевым в «Комсомольской правде» от 4 марта 1995 года.

Но находятся люди, которые продолжают все толковать по-своему: они выходят на трибуну Госдумы, пишут обращения и заявления, которые публикует только «Красная Звезда».

Так господин Зюганов с трибуны Госдумы говорит о том, что Шапошников сам себя разоблачил, сославшись на номер документа, оканчивающегося буквой «Ш». Наличие буквы в номере документа, по Зюганову, означает начальную букву фамилии автора документа. Но это по Зюганову.

Но что о нем говорить, если 9 мая он, поработав на альтернативном митинге, прибыл в Кремль на прием, чтобы выпить и закусить.

Возможно и по этой причине КПСС оказалась несостоятельной, и вся ее политика провалилась. Там главным было найти врага и организовать партийное информирование общественности.

А ведь информация общества служит тому, чтобы доводить до народа правду. Дезинформация, как правило, применяется в военном деле с целью ввода противника в заблуждение. Интересно знать, за кого принимают дезинформаторы наш народ. Неужели за врагов?

Сегодня Шапошникову приписывают развал Вооруженных Сил СССР. Нам известно, что 19 февраля 1992 года он обращался к главам государств СНГ с просьбой воздержаться от создания собственных Вооруженных Сил, особенно на территориях тех государств, где имеются вооруженные конфликты.

В том же документе он предлагает сформировать межгосударствен-

ные миротворческие силы СНГ с целью стабилизации обстановки в горячих точках.

Реакция со стороны глав государств была нулевой. Тогда он идет по пути перевода под юрисдикцию России воинских формирований, расположенных вне ее территории. С его подачи указами Президента России под ее юрисдикцию переводятся Западная группа войск (Германия), Северная группа войск (Польша), Северо-западная группа войск (Прибалтийский регион), войска Закавказского военного округа на территории трех закавказских республик, войска 14-й армии, расположенные на левом берегу Днестра, и весь Черноморский флот. Указ по флоту был впоследствии отменен. Вот чем занимался Главком ОВС СНГ. Грачев же в это время втирался в доверие руководству России — Руцкому, Скокову и уже считал себя Министром обороны.

Примечательно, что в мае 1992 года, после назначения Грачева Министром обороны России, на вопрос журналистов о том, в каком состоянии он обнаружил Вооруженные Силы, Грачев заявит: «Как в полуразрушенном доме». Интересно знать, в каком доме пребывает сегодня Грачев, через три года после образования Вооруженных Сил России?

Но мы теперь знаем, чего стоят слова Грачева: «Здесь восемнадцатилетние мальчишки умирают за Родину с улыбкой на устах, а этот гаденьш...»

Жаль, что он не продекламировал известные стихи:

*«Если ты настоящий солдат,
Если ты со смертью на «ты»,
Улыбнись, отпавляясь в ад,
Сапогом растопчи цветы».*

После гибели Дмитрия Холодова Грачев заявит, что, по его данным, Дима привез взрывное устройство с Кавказа. Хочется знать, допрошен ли Грачев в качестве свидетеля по этому делу.

На Седьмом съезде народных депутатов, уже будучи Министром обороны России, в ответ на вопросы одного из депутатов о финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности в Вооруженных Силах П.Грачев заявил: «Я свою работу в должности Министра обороны начал с того, что запретил всякую финансово-хозяйственную и коммерческую деятельность в Вооруженных Силах».

Однако нам известно, что эту деятельность и породил по причине отсутствия финансирования Вооруженных Сил (осенью 1991 года), и убил

по признакам увлечения коммерцией некоторыми командирами на местах (весной 1992 года) Е. Шапошников. Его директива о запрете этой деятельности вызвала восторг у Президента России.

Ну, а сегодня вы, читатель, можете уточнить кому и кем передан Военторг на Калининском проспекте и спортивный комплекс Вооруженных Сил в районе метро «Динамо». Кто и что с этого имеет?

Сейчас много ведется разговоров об интеграции СНГ, в том числе и военной. Такие разговоры сегодня ведет и П.Грачев.

Мы приводим выдержку из доклада П.Грачева Совету Безопасности России, сделанного в начале 1993 года по поводу его отношения к Объединенным Вооруженным Силам СНГ, то есть к военной интеграции: «Необходимо вести дело к тому, чтобы исключить из повестки дня очередного заседания Совета глав государств Содружества вопрос об Объединенных Вооруженных силах... Необходимо предусмотреть меры по реорганизации Главного командования ОВС СНГ.

В целях политического сопровождения такой инициативы предусмотреть комплекс пропагандистских мер, направленных на формирование общественного мнения о целесообразности создания ОВС СНГ».

Возможно, поэтому газета «Правда» в апреле 1993 года растиражировала очередную клевету на маршала Е.Шапошникова, в соответствии с которой он якобы сговорился с генералом Д.Шаликашвили (Главком ОВС НАТО в Европе) о совместных бомбардировках сербских городов. Статья была опубликована за подписью «Соб. инф.» — фактически без подписи.

Очевидно не случайно, что практически в это же самое время вице-президент Руцкой выступает в Верховном Совете России, где, раскрывая содержимое одиннадцати чемоданов, опять же клеветает на Шапошникова, который, по его словам, одним росчерком пера передал сомнительной фирме 12 первоклассных аэродромов.

Цель одна — опорочить Шапошникова, упразднить Главное командование Объединенных Вооруженных Сил СНГ путем пропагандистского обеспечения определенных политических инициатив.

Задача — лишить Шапошникова ядерной кнопки, которая кроме него была и у Б.Ельцина. Грачев этого пережить не мог. Когда же он добился своего, то можно присоединиться и к тезису о военной интеграции.

Шапошников боролся за ОВС СНГ, как говорится, до последнего патрона. Это всем известно. Однако сразу после его вытеснения с этой

должности одна из газет помещает статью «Шапошников — маршал-разрушитель».

Сейчас еще имеют место быть как задающий генератор все тех же политических инициатив, так и приверженцы их пропагандистского обеспечения.

Нам известно, что в конце 1994 года, проверяя Государственную компанию по экспорту и импорту вооружений и военной техники «Росвооружение», Шапошников и другие члены комиссии получили угрозы и предупреждения с предложением «глубоко не копать». Но он копал. Результат — смена руководства «Росвооружения» и возбуждение уголовного дела по факту нарушений валютно-финансовой дисциплины.

26 января 1995 года депутаты Государственной Думы В.Устинов, В.Журавлев и другие пишут заявление, публикуемое опять же в «Красной Звезде». В нем утверждается: «...уже сейчас непреложен, бесспорен факт, что оперившийся хищник Дудаев вылетел из-под крыла авиационного маршала У.Шапошникова, длительное время пользовался его содействием, в том числе военно-техническим».

Помните анекдот про логику:

« — У тебя спички есть?

— Есть.

— Значит, ты бабник».

Так и здесь: если Шапошников и Дудаев — летчики, значит они и хищники, и сообщники.

Депутатское заявление заканчивается такими словами: «Опозориться перед Россией — худшая судьба, которая может ниспослана человеку и гражданину, тем более политикам, которые пока еще облечены доверием людей».

Неужто ложь и клевета, с точки зрения авторов заявления, не являются позором?

Сегодня нам известно и то, что некоторые приверженцы пропагандистского обеспечения политических инициатив блуждают по издательствам некоторых газет и, не называя себя, предлагают опубликовать очередной «компромат» на Шапошникова.

Мы часто видим маршала, но в основном в гражданской одежде. На наш вопрос, почему он не надевает новую российскую, маршал коротко ответил: «Из-за несоответствия».

Мы долго искали смысл этого несоответствия, пока не выяснили

того факта, что в Вооруженных Силах Российской Федерации нет воинского звания «маршал авиации». «Генерал армии» — есть, «адмирал флота» — есть, а равноценного им «маршала авиации» — нет. При этом живые маршалы авиации есть, а таких воинских званий нет.

Мы перечислим лишь некоторые несоответствия, с которыми столкнулся маршал авиации Е. Шапошников за последние три года.

Адресат всех этих несоответствий один — сволочизм отдельных чиновников, которым не соответствует позиция маршала.

И когда всем давно все ясно, некоторые газеты продолжают «порочить» маршала, приписывая ему теперь дружбу с Дудаевым или еще какую-либо чушь.

Ну, а что же Грачев?

Он продолжает удивлять мир своими «судьбоносными» заявлениями: «Меня атакуют те силы, которые хотят сместить Президента. А я — им препятствую».

Нам не понятно, из чего строит Грачев препятствия на путях смещения Президента: из рядов военнослужащих, проголосовавших за партию Жириновского, из тех несчастных, которые превращены в «груз 200», из обездоленных матерей, из разрушенных городов и сел, из армии, в которой авторитет Грачева равен нулю?

Зачем все это ему? Нам представляется, затем, чтобы удержаться на плаву путем жесткой привязки себя к Президенту. А Президент не замечает, что такая привязка притапливает его самого. Он стал заложником Грачева.

Рассуждая о потерях в войне нашей бронетанковой техники, Грачев откроет секрет, что у нас есть средства ее защиты. На вопрос о том, почему же нашу технику не оснастили этими средствами, Грачев, не думая, ответит: «Не успели». Как будто бы Чечня вероломно напала на Россию 11 декабря 1994 года.

Согласитесь, что такое бездумное объяснение звучит из уст «лучшего» министра не только странно, но и чудовищно по своему цинизму на фоне так и не уточненных человеческих потерь нашей армии.

И эту чудовищность видят десятки миллионов людей и не только в России. Почему не замечают единицы?

Таким образом, прав был Шапошников, который 8 января 1995 года заявил, что необходимо провести тщательное расследование всех сторон чеченского кризиса, включая его главные этапы:

- приход к власти Дудаева;
- вопрос об оружии;
- нефтяные деньги;
- фальшивые авизо;
- вооружение дудаевской оппозиции и передача ей российских военнослужащих с отказом от них высоких должностных лиц;
- решение на войну в Чечне.

Главное негативное последствие чеченского кризиса, на наш взгляд, заключается в том, что эта война уже заразила русский народ национализмом, а народы Кавказа — антирусским синдромом. За это тоже надо отвечать.

Вполне может быть, что адреса, фамилии, имена и отчества виновников могут совпасть.

Сегодня Грачев настроил против себя не только общественность России, но и вызывает огонь критики со стороны спецслужб, назвав операцию по освобождению заложников в Буденновске бездарной.

Очень хочется спросить, а сколько еще месяцев наша армия, руководимая Грачевым, будет воевать в Чечне? Когда она наконец покончит с дудаевыми, басаевыми и прочими?

И последний вопрос: почему российская общественность, солдатские матери, депутаты, правозащитники и все те, кто выступает против войны в Чечне (а таких более 50% населения), не смогли убедить Российское руководство в необходимости сесть за стол переговоров, а Басаев смог?

Радиовещание на русском языке

В центральной Европе можно принимать следующие радиостанции на русском языке:

„Голос России“ (Москва): 6045, 7125, 7310, 7440, 9450, 11800, 15200, 15305 КГц;

„Радио-1 Останкино“ (Москва): 171, 6195 КГц;

„Радио России“ (Москва): 261 КГц

„Радио Маяк“ (Москва): 549, 11785 КГц

„Радио Свобода“ сократило время передач, и теперь в эфире с 4 до 10, с 12 до 15, с 16 до 19 и с 21 до 3-х часов ночи по средневропейскому времени на частотах:

6060, 6105, 7155, 7220, 7245, 9520,
9625, 11725, 11885, 15215, 15290 КГц.

В остальное время на этих частотах (+ частота 5955 КГц) работает радиостанция **„Голос Америки“ (Вашингтон)** ;

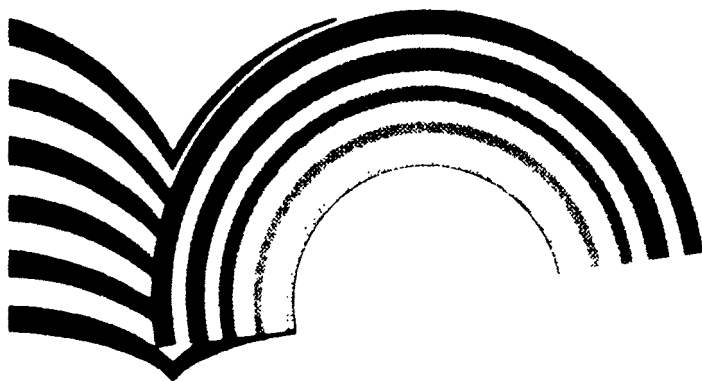
„Немецкая волна“ (Кёльн): 5980, 7325, 9800 КГц;

ВВС (Лондон): 7120, 7130, 9635, 9825, 11845, 12040 КГц

К сожалению, прием многих радиостанций зачастую нестабилен, поэтому мы в большинстве случаев сознательно не указываем точное время вещания

**В Берлине на частоте 106,8 МГц
работает радиостанция SFB-4.
С понедельника по пятницу с 16.00 до 16.20
слушайте программу на русском языке.**

Buchhandlung RADUGA



Книги на русском языке

Friedrichstraße 176-179 • 10117 Berlin
Fon/Fax (030) 20 30 23 21

Montag bis Freitag von 11.00 bis 18.30 Uhr
Samstag von 12.00 bis 16.00 Uhr
U-Bhf. Französische Straße oder U-Bhf. Stadtmitte



**Принимается подписка
на альманах «Остров»**

NEUES LEBEN

Курьер

Aktuell - Wirtschaft und Soziales - Praktische Tips und Alltag - Prominente - Kultur - bundesweite Veranstaltungen - Funk- und Fernsehprogramm - Unterhaltung
Актуально - экономика и общество - Практические советы и повседневное - Знаменитости - Культура - Программа концертов русских артистов, выставок, Русского театра в ФРГ, телепередач о России - Занимательное

Die erste deutsch - russische Monatszeitschrift in Deutschland (2. Jahr)
Первый в Германии ежемесячный русско-немецкий журнал (2 год выпуска)

с параллельными
текстами
на русском и немецком

parallele Texte
in deutsch
und russisch



für Leute aus dem russischen Sprachraum und sonstige Interessierte
для всех говорящих по-русски и интересующихся

Einzelpreis
4.- DM
Abonnement 1 Jahr

Цена
Подписки на 1 год
36.- DM

Wirtschaftsingenieurbüro R. Schütt, Giselherplatz 67, 67069 Ludwigshafen
Allbank Mannheim BLZ: 250 206 00 Kto.: 232 321 605-7
Tel. + Fax: 0621 / 66 82 13

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Издается в Париже с 19 апреля 1947 года.

Единственная русская еженедельная газета в Западной Европе.

Желаю оформить подписку

на 1 год

на 6 месяцев

имя и фамилия

адрес

| | | | | Страна.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком

почтовым переводом (прилагаю фотокопию перевода)

La Source. Ste Nouvelle Presse libre. 23, avenue de Wagram. 75017 Paris.

ÉTABLISSEMENT 20041	GUICHET 01012	NUMÉRO DE COMPTE 3722970X033	CLÉ 23
------------------------	------------------	---------------------------------	-----------

Платеж и заполненный талон просим направлять на адрес редакции в отдел подписки. При продлении подписки подписной талон не заполнять. Написать фамилию и приложить один экземпляр фактуры или номер абонемента.

ПОДПИСКА НА «РУССКУЮ МЫСЛЬ»

(В указанные цены входят
почтовые расходы)

Обычной почтой:

6 мес. 1 год

Франция	280 F	458 F
Другие страны:	450 F	700 F
	(90 \$)	(140 \$)

Авиапочтой:

Европа и Северная Африка	500 F	800 F
	(100 \$)	(160 \$)
Израиль, Иран	580 F	850 F
	(116 \$)	(170 \$)
Америка, Южная Африка	620 F	950 F
	(124 \$)	(190 \$)
Австралия, Япония	720 F	1000 F
	(144 \$)	(200 \$)

Адрес редакции:

La Pensée Russe

217, rue de Faubourg St. Honoré
75008 Paris.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Alles für Computer und Menschen

KOSTENGÜNSTIG — LEISTUNGSSTARK — WERTBESTÄNDIG

**ACM
COMPUTER**

**КОМПЬЮТЕРНОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БЮРО**

ПРЕДЛАГАЕМ:

- принтеры с русским шрифтом;
- программное обеспечение на русском языке;
- факсы, компьютерные сети, модемы;
- копировальную технику;
- многое другое...

Оказываем помощь при подключении и настройке.
При оптовых закупках предоставляем скидку.

ACM Computer Handels GmbH
Augsburgerstraße 27,
10789 Berlin
Verkauf: Fr. Bul / Hr. Galius

fon: (030) 211 27 40
fax: (030) 211 90 11

Наши авторы

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Драматург. Ее пьесы ставят ведущие московские театры. В России вышло два сборника пьес и две книги прозы. Переведена на многие языки и широко печатается за рубежом.

ВАСИЛИЙ А. ДИМОВ родился в 1957 году. В 1978 году защитил диплом на кафедре литературной критики факультета журналистики МГУ. В 1991 году вышел сборник его повестей «Профиль в склеенном зеркале».

МИХАИЛ СУХОТИН родился в 1957 году. Москвич. Филолог. С конца 80-х годов печатается в российских и зарубежных журналах, в коллективных сборниках. В 1995 году в издательстве «Даблус» опубликовал книгу «Великаны».

АЛЕКСЕЙ МИЛЮКОВ родился в 1959 году в Москве. Окончил Театральное художественно-техническое училище. С 1978 года работал в Большом театре, с 1982 — в Театре классического балета в составе технической группы. Ранее не печатался.

ВЛАДИМИР САЛИМОН — известный поэт, автор многочисленных публикаций, главный редактор элитарного журнала «Золотой век». Живет в Москве.

АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВ — один из самых заметных прозаиков «новой волны». Живет во Владимире. Несмотря на известность (публикации в престижных литературных журналах, книги в Москве и Владимире, переводы в Италии, Германии, Финляндии и др. странах), продолжает работать почтальоном.

АЛЕКСАНДР ШАРЫПОВ, обративший на себя внимание читающей публики яркой публикацией в журнале «Соло» несколько лет назад, стал в этом году стипендиатом немецкой Пушкинской премии фонда Альфреда Тейфера (Гамбург), совершил поездку по Германии и вернулся в город Владимир, где он живет и пишет.

ОЛЬГА ЗАВАДОВСКАЯ родилась во Львове. По профессии — преподаватель музыки. Пишет музыку на свои стихи. Автор двух поэтических сборников. Живет и работает в Берлине.

ЮЛИЯ МИХЕЕВА. Двадцать лет. Живет в Челябинске. Закончила челябинское художественное училище. Поступила в Литературный институт им. Горького. Многие из ее стихов — песни.

ЮРИЙ КУДАЧ родился в 1944 году в Ташкенте. Закончил Одесскую консерваторию и считает себя потомственным одесситом. Преподавал в разных консерваториях, концертировал по Союзу. С 1992 года живет в Ганновере. Как беллетрист дебютировал в московском журнале «Столица».

ТАИСИЯ ЧАЙКО родилась в восточном Казахстане в Усть-Каменогорске. Живет и работает в Берлине.

ЯНА ЛЕШЕРТ родилась в Москве. Закончила школу при Академии Художеств и Строгановское московское высшее художественно-промышленное училище. Переехала в Германию через полтора года после окончания института. Живет в Потсдаме.

ШНЕЙДЕР ВИКТОР МИРОНОВИЧ родился 11.10.1971; Отечество нам Царское Село. В четыре года научился писать. Тогда же написал первую сказку. В пятнадцать лет научился играть на гитаре. Тогда же написал первую песню-стих. В 1991 году по стилистическим соображениям эмигрировал в Германию. В память о Владимире Ленском поступил в Геттингенский университет, где и изучаю биологию. (*Автор о себе*).

ЮРСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — замечательный русский актер и режиссер. Автор книг «Кто держит паузу» (1985) и «В безвременье» (1990).

**Главный редактор:
Вячеслав Сысоев**

**Редакторы-составители:
Евгений Попов, Лариса Сысоева**

**Оформление и макет © Дмитрий Сорокин
В оформлении использована графика
Вячеслава Сысоева**

Корректор: Лариса Соколовская

Адрес редакции:

**«OSTROV»,
Danziger Str. 4,
10435 Berlin,
Germany**

Telefon: +49 030 / 442 58 30

СТРОВ

**Независимый публицистический
и литературно-художественный альманах**

Выходит с июня 1994 года

**Редакция не вступает в переписку по поводу присланных материалов.
Рукописи не возвращаются.**

Точки зрения редакции и авторов публикуемых материалов совпадают не всегда.

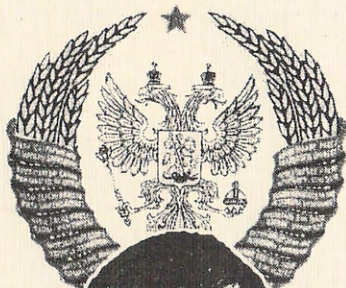
новое поколение **выбирает**
панков!

ЕЛЫЦИНА - НА ПОВТОРНЫЙ СРОК !



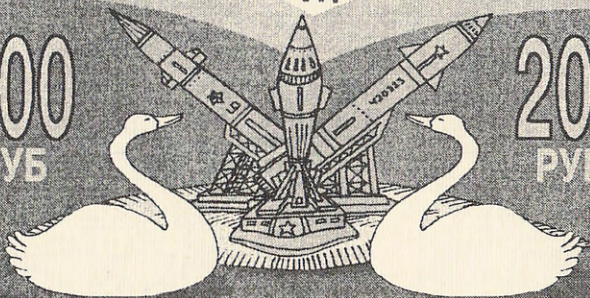
ВЫБОРЫ
95 - 96

РОССИЯ



А.И.ЛЕБЕДЯ-В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ!

200
РУБ



200
РУБ

ПОЧТА
РОССИИ
95-96
МА